

«АЛЬБОМ»  
„XX ВЕК“»

*Малая серия*

*Валерий  
Попов*

*Праздник  
ахинеи*



«АЛЬБОМ»  
„XX ВЕК”»

*Малая серия*



Валерий  
Попов

Праздник  
ахинеи



Москва  
«Юридическая  
литература»  
1991



**ББК 84 (2Р)**

**П-58**

Издание подготовлено Ленинградским  
представительством РПК «Текст» по заказу  
издательства «Юридическая литература»

Часть средств от реализации книги  
передается в Фонд возрождения Ленинграда

Художник серии  
Д. Плаксин

Оформление и иллюстрации  
С. Плаксина

П  $\frac{4702010200-102}{012(01)-93}$  без объявл.

ISBN 5-7260-0596-1

© Валерий Попов, 1991

© Давид Плаксин, Сергей Плаксин —  
художественное оформление, 1991

© Издательство «Юридическая литература», 1991

## *Вместо предисловия*

В жизни гражданина каждого государства есть свои страницы ирреальности и абсурда. Обычно эти страницы не попадают в учебники истории, ибо небогаты собственно историческими событиями.

Откровенно говоря, таких вот, по-настоящему исторических, событий на этих страницах нет вовсе. Тем более, о том, как приходит гражданин в баню (на дворе — эпоха повальной индустриализации), а ему говорят, что помыться у него сегодня не выйдет, поскольку он не уплатил членских взносов, например, в профсоюз.

Или, скажем, приходит он опять же в баню (а на дворе уже эра зрелой перестройки), но помыться у него опять же не получается, потому что баня перешла на хозрасчет и на арендный подряд и теперь по вечерам работает как обмывочный пункт для усопших.

Или еще что-нибудь в этом же роде.

Скажем, уже не баня, а (раз уж мы упомянули усопших) — приемный покой, у гражданина инфаркт, ему плохо, на стене же — красочное объявление в четыре краски: «Выдача трупов с шести до восьми».

Или уже и вовсе столовая, тьма на дворе, есть хочется, а повар говорит гражданину: «Все. Все уже съели. Остались только макароны с лапшой...»

Зоценко, Михаил Михайлович, был большим знатоком и умельцем такого вот рода бытописания эпохи сплошной индустриализации, повальной коллективизации, а также эры победившего всех и вся социализма.

Валерий Попов это Зоценко сегодня. И вчера.

В эпоху вновь победившего и теперь уже развитого социализма. В эпоху надвигающейся перестройки... Зре-

лой перестройки... Побеждающей перестройки, плавно переходящей в демократический гуманный социализм с регулируемой рыночной экономикой и человеческим лицом...

Наша история богата эрами и эпохами. Не успевает кончиться одна, как тут же, не теряя ни секунды драгоценного времени, начинается следующая, еще покруче предыдущей. И надо успевать поворачиваться...

Все, о чем пишет Валерий Попов, — это жизнь и приключения советского гражданина на улицах, площадях, в магазинах, питейных заведениях, поликлиниках, трамваях, коммунальных квартирах, пунктах питания, а также при посещении бани. Жизнь, исполненная увлекательнейших приключений. Приключения, исполненные яростной борьбы за жизнь и собственное достоинство в условиях непрекращающейся «пытки пренебрежением».

Валерий Попов пишет о нас с вами. И ни о ком больше.

И он доказывает, что мы с вами непостижимы, непотопляемы и неостановимы.

В старом анекдоте Никсон озабоченно спрашивает Брежнева: «А дустом вы их не пробовали?» Валерий Попов отвечает: пробовали. Не получилось и дустом. И не получится, надо понимать. Потому что — сметка, закалка, привычка и природный оптимизм. Потому что с народом, пересекшим наискосок эру Конституции, в коей ему гарантированы были: СВОБОДА (приветственного) СЛОВА; СВОБОДА (круглой) ПЕЧАТИ; СВОБОДА (первомайских) МИТИНГОВ И ДЕМОНСТРАЦИЙ, — с этим народом ничего нового уже сделать невозможно. Разве что — начать все с начала.

И когда осатанелый повар говорит нам, что ничего для нас больше не осталось, кроме экзотического блюда под названием «макароны с лапшой», мы бодренько отвечаем ему: «Вот и прекрасно! Теперь еще только сверху вермишельчиком присыпать — и будет самое то!» И на это ему

уже нечего ответить. Разве что вызвать вооруженную охрану, а это мы уже проходили.

Мы с вами уже, кажется, все проходили, — непостижимы, непотопляемы, неостановимы. Спасибо Валерию Попову за то, что он нас любит такими, какие мы есть, и восхищается нами, и воспевает нас, и надеется на нас.

Потому что надеяться нам всем больше не на что и не на кого.

*Б. Стругацкий*



# 1

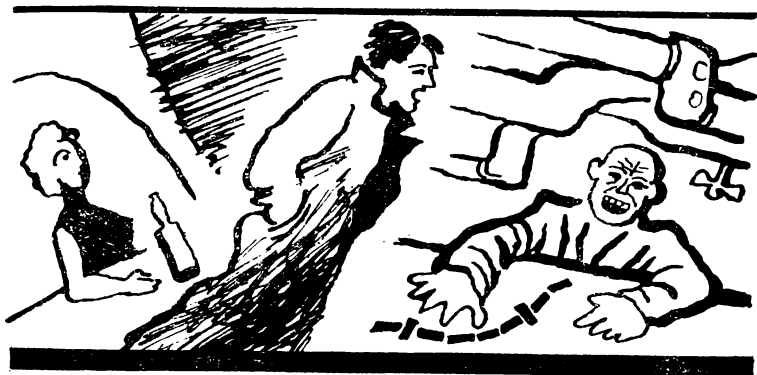
---



*Сон, похожий  
на жизнь*







## *Ошибка, которая нас погубит*

**В**се дни в командировке я был занят до упора и только перед самым отъездом успел зайти в знаменитое местное кафе. Оно называлось «Молочное», однако, когда я спустился вниз, в полированный темноватый прохладный зал, оказалось, что здесь продают и джин, горьковатый, пахнувший хвоей, и зеленый итальянский вермут и чешское пиво.

Такая трактовка названия, не скрою, порадовала меня.

Я сел на прохладную деревянную скамейку, стал приглядываться в полутьме. Сначала я моргал, ничего не видя, но уже через несколько минут был поражен обилием

прекрасных, молодых, скромных, серьезных девушек, тихо сидящих над глиняными кружками, в которых подавалось, как я выяснил, кофе со сливками.

Если не сделать сразу — то не сделаешь уже никогда, и я, не дав себе опомниться, пересел за соседний столик, где сидела прекрасная тоненькая девушка с большим, толстым портфелем под боком. Как она таскала этот портфель, такая тоненькая?

Никогда в жизни я еще не говорил так складно. Незнакомый город, новое место — все это действовало на меня, взвинчивало. Сомнения мои, печальный опыт, — этого здесь не было, я не взял этого с собой, как выяснилось.

Больше всего я люблю таких девушек — серьезных и грустных (хотя среди знакомых моих никогда таких не было), и вот эта девушка была именно такой.

Кривляки, кокетки, — пропади они пропадом!

— ...Знаете, — уже через час, волнуясь, говорила она. — Я не могу побороть ощущения, что, если вы уйдете, это будет какой-то потерей в жизни.

Ее лицо неясно розовело в полутьме, рядом со мной была только ее рука — тонкая, с синеватыми прожилками на запястьях, с тоненьким кольцом на безымянном пальце. Ее голос — чистый, дрожащий, иногда вдруг, с усилием, насмешливый.

— Каждый человек, который уходит, — потеря, — говорил я, дрожа. — Но сейчас я тоже чувствую что-то необыкновенное...

Мы взялись вдруг за руки, испуганно посмотрели друг на друга. ...Сидящий за нашим столом румяный, яркоглазый человек вдруг повернулся ко мне.

— Простите, — чуть встревоженно сказал он, — вы...

Он назвал мою незатейливую фамилию.

— Да! — удивленно сказал я. — А что?

— Простите, что вмешиваюсь, — сказал он. — Но я не могу не сказать: я читал ваши статьи, и они меня восхищают!

Это был единственный человек в мире, который читал мои статьи!

Я почти не верил. Я держал за руку самую прекрасную девушку, во всяком случае одну из самых прекрасных, — другую такую я не найду никогда (ее ладонь от неподвижности чуть вспотела, и она, рассеянно улыбнув-

пись, перевернула руку в моем кулаке на спинку). И тут же сидел единственный человек, который читал мои статьи!

И тут почему-то я испугался.

— Знаете, мне нужно ехать! — сказал я морщась, глядя на часы.

— Ой! — испуганно сказала она. — Правда? А остаться не можете? Ну хотя бы на час?

Но я был уже во власти приступа идиотизма.

— Да нет, — тупо бормотал я. — Билет, понимаете, куплен...

Она грустно смотрела на меня.

— Ну все! — я с ужасом слышал свой голос. — Еще надо в камеру хранения забежать. Два узла, сундучок такой, небольшой...

Я бормотал, пятился задом, мелко кланялся.

Яркий свет на улице ослепил меня.

Я стоял, покачиваясь, тяжело дыша.

«Что это было, а?»

Я хотел вернуться, — но возвращаться не положено почему-то.

Дальше все понеслось, как в фильме, в котором все знаешь наперед и поэтому ничего уже не чувствуешь.

Ну, что полагается делать в поезде? Пить чай? Ну, я и выпил, восемнадцать стаканов. Выбегать на станциях? Я выбегал, хотя не мог точно объяснить — зачем?

С поезда я ринулся прямо на работу.

— Что, приехал? — почему-то удивленно говорили мне все.

— Приехал! — злобно говорил я. — Прекрасно ведь знаете, что сегодня я и должен приехать!

— Ну, это понятно... — говорили все с непонятым разочарованием, словно ждали от меня какого-то чуда, а его не случилось.

— Не понимаю, чего вы ждали-то? — в ярости спрашивал я. — Обычная командировка. Суточные — два шестьдесят. Вы что?!

— Ничего... — со вздохом раздавалось в ответ.

В полной прострации я пошел на прием к директору. Он-то похвалит меня за точность, тут-то я пойму, что счастье, конечно, счастьем...

— Приехал? — удивленно воскликнул директор.

— Приехал! — закричал я. — Представьте! На что вы намекаете, все тут? Вы хотите сказать, что я дурак?

— Нет, ну почему же? — ответил он. — Все правильно. Я просто...

— Что просто?! — вцепился я.

— Ну просто... мало ли что?

— Что мало? Что — мало ли что? Вы же сами велели мне приехать во вторник!

— Ну... мало ли что я велел, — сказал он, окончательно добывая меня.

Вечером я пошел в театр, на спектакль, на который все тогда рвались. Стиснутый со всех сторон толпой, я медленно продвигался вперед. Все двигались туда, один только рвался оттуда, крича:

— Ну пропустите же! Вы что?! Семь часов уже, магазин закрывается!

Я посмотрел на него и тоже стал проталкиваться обратно.

Я приехал на вокзал. Я даже сделал попытку пролезть без очереди, но при первом же окрике: «Граждане! Все хотят ехать!» — вернулся назад.

Ночь в поезде я провел обычно.

И вот я вышел на вокзальную площадь, сел в трамвай.

Показалась та улица, черные обрезанные ветки на белом небе.

Я был холоден абсолютно. Я знал уже — момент тот канул безвозвратно (хотя я мог его и не отпускать).

Я вошел в здание, начал спускаться по лестнице. Лестница была та. Я открыл дверь...

Подвал. Капают капли. Толстые трубы, обмотанные стекловатой. Два человека в серых робах играли на деревянном верстаке в домино.

— Забьем? — поворачиваясь ко мне, предложил крайний.



## Наконец-то!

### I. Она говорила

#### Первый

# П

ервый жених — грузин был, Джемал. Все ходил за мной, глазами сверкая.

Однажды, когда я еще плохо его знала, пригласил к себе в гости.

Ну я тогда дура душой была, поехала.

Сначала все красиво было, даже чересчур: виски «Блэк энд вайт», пластинка «Данс ин де дак».

Потом вдруг говорит:

- Сегодня ты не уйдешь!
- Почему?
- Я сказал — да, значит — да!

Выскочила я в прихожую, гляжу: один мой туфель куда-то спрятал. Стала всюду искать, нигде нет.

Он только усмехается:

— Ищи, ищи!

Наконец словно осеңило меня: открываю морозильник — туфель там! Быстро надела его, выскочила на улицу. Там жара, — а туфель пушистым инеем покрыт.

Все смотрят изумленно: что еще за Снегурочка на одну шестнадцатую?

... И при этом он был как бы фанатическим приверженцем чести! Смотрел как-то мой спектакль, потом говорит:

— Как ты можешь так танцевать? Зых!..

— Знаешь что, — говорю ему, — устала я от твоих требований, взаимоисключающих. Требуешь, чтобы я была твоей, и в то же время абсолютно недоступной и гордой! Отсутствие любого из этих пунктов в ярость тебя приводит. Представляю, как бы ты меня презирал, как бы разговаривал, если бы я что-то тебе позволила. А ведь пристаешь... Парадокс какой-то — башка трещит!

Правильно мне Наташка про него сказала:

— Знаешь, он, по-моему, из тех, что бешено ревнуют, но никогда не женятся!

Однажды заявляет:

— Ну, хорошо, я согласен.

— На что согласен?

— На тебе жениться. Только условие — поедem ко мне домой. Ходить будешь всегда в длинном платье. Что мать моя тебе скажет — закон! Зых! Смотри у меня!

— Нет, — говорю, — пожалуй, предложение твое мне не подходит!

Изумился, — вообще довольно наивный такой человек. Не понимает, как можно не соглашаться, когда он — сам он! — предлагает.

— Плохая твоя совесть! — говорит. — Ну ладно, я все равно поеду. Мать нельзя одну оставлять! Это вы тут такие... А мы родителей уважаем!

— Конечно, — говорю, — поезжай. Раз тебе все тут так не нравится, зачем тебе мучиться? Поезжай!

Уехал. Полгода примерно его не видела.

Недавно иду я мимо Думы, вижу: стоит величественно, кого-то ждет.

— Привет! — говорю.

Кивнул так снисходительно — и все.

А тут сам начальник отдела кадров своим вниманием ошастливил!

В столовой подходит, жарко шепчет:

— Умоляю, — когда мы можем встретиться?

Я, удивленно:

— Вы что-то сказали, Сидор Иванович?

Он, громко:

— Я?! Нет, ничего.

И снова — сел поблизости, шепчет:

— Умоляю о встрече!

Мне Наташка потом сказала:

— Смотри, наложит он на тебя руки...

И вот однажды, поздним вечером, — звонок! Открываю — он.

— Разрешите? Решил полюбопытствовать, как вы живете.

Гляжу с изумлением, какой-то странный он выбрал туалет: резиновые сапоги, ватник, треух, за плечами мешок.

— Сидор Иванович, — не удержалась, — а почему вы так странно ко мне оделись?

— Я уважаю свою жену, — строго говорит.

— Понятно.

— Подчеркиваю, я уважаю свою жену!

— Зачем же, — говорю, — еще подчеркивать. Но вы не ответили...

— Мне не хотелось ее ранить. Я сказал ей, что уезжаю на охоту.

— Понятно.

— Я уважаю свою жену, но я люблю вас, люблю до безумия!

На колени упал, начал за ноги хватать.

— Сидор Иванович, — говорю, — успокойтесь. Вы же уважаете свою жену...

Уселся. Стал душу передо мной раскрывать.

— Конечно, теперь я только чиновник...

Я так понимающе кивала, хотя, признаться, не подозревала, что он, оказывается, мог быть еще и кем-то другим.

— А я ведь тоже когда-то играл на сцене.

— Когда? — дисциплинированно спрашиваю.



— Ну-у-у... давно! В школе еще! Помнится, ставилась «Сказка про козла», и я играл в ней заглавную роль.

— А-а-а... помню, — говорю. — Ну и умница козел, он и комнату подмел!

Кивает снисходительно:

— ...Ну и умница козел, он и дров нам наколот! Вообще, чем больше я живу, тем яснее я понимаю, что только прекрасное — искусство, хорошее вино, женщины — помогают нам сохранять бодрость духа, оставаться молодыми, — к такому я пришел выводу.

«Ну и умница, — думаю, — козел, он и к выводу пришел!»

Раскрыл мне всю свою душу и неожиданно прямо в кресле уснул.

«Да-а, — думаю, — замечательные у меня кавалеры!»

Часа через четыре просыпается, обводит комнату испуганным взглядом:

— Где я?

— Не знаю... — говорю, — видимо, на охоте.

Тут вспомнил он все, встал:

— Жена моя, которую я безгранично уважаю, мучается, может быть, даже не спит, а я тут с...

Расстегивает вдруг мешок, вынимает половинки ружья, составляет...

— Сидор Иванович, — говорю, — за что?

Он бросил на меня взгляд и скрылся в ванной.

«Господи, — думаю, — не права Наташка, он не на меня, на себя может руки наложить!»

Подбегаю, стучу. Распахивается дверь, величественно:

— В чем дело?

— Сидор Иванович, — говорю, — вы что... собираетесь выстрелить?

— Да!

— В... кого?

— Это абсолютно несущественно.

— Как?

— Я уважаю свою жену...

— Это я уже знаю...

— Если она обнаружит отсутствие пороховой гари на стволах — это может больно ее задеть. Где тут у вас можно выстрелить?

— Не знаю, — говорю, — как-то тут еще никто не стрелял... Может быть, в ванной?

— В ванной? — оскорбленно. — Ну хорошо.

Снова закрылся, а я уселась в ужасе в кресло, уши ладонями закрыла. Тишина... Тишина... Вдруг щелкает затвор, Сидор Иванович вываливается.

— Ну почему, почему должен я перед ней отчитываться?

— Сидор Иванович! Ну вы же уважаете свою жену...

— Я-то ее уважаю, а она-то меня — нет!

Постоял, потом снова понуро побрел, ружье волоча, закрылся... Снова вываливается:

— Ну почему, почему?

Честно, утомлять стала меня эта драма. Полвторого уже, а завтра к восьми на репетицию.

Стала в кресле дремать, вдруг: «БАМММ!!!» — я чуть в обморок не свалилась... Распахивается дверь, в клубах дыма вываливается Сидор Иванович, идет зигзагами по коридору, с блаженной улыбкой глядя в стволы:

— Ну, теперь все нормально... все хорошо!

Упал. Звонки начались — соседи стали ломиться. Вызвали ему «скорую». А на меня с тех пор как на какую-то злодейку стали смотреть. А Сидор Иванович появился через два дня. Снова шептал, чуть слышно:

— Когда встретимся-то?

### Т р е т ь и й

А недавно уже — вообще!

Стою на платформе, встречаю одну свою приятельницу. Поезда еще нет. Вдруг вдали на рельсах появляется человек. Идет так упорно, голову набычив. Под навес вокзальный вошел, не заметил. Просто решил, наверно, что это ночь его в дороге застала. Дошел до тупика, где красные цветочки растут, встал удивленно, — потом понял наконец! Голову поднял, забросил чемодан на платформу, — и ко мне.

— Скажи, девушка, прописка у тебя постоянная?

— Не знаю, — растерялась, — кажется, постоянная.

Осмотрел меня, вздохнул.

— ... Ну что ж, — рассудительно говорит. — С лица не воду пить! Дай адресок твой, может, зайду!

Я в растерянности и в испуге сказала ему адресок. И все! Каждый день — прихожу вечером после спектакля — на ступеньках сидит. Встанет, штаны сзади отряхнет.

— Зайду, девушка? (Именем так и не поинтересовался.)

И вообще на слова был скуп. Больше все делами старался угодить — наколоть дров, зарезать свинью... Часа в два ночи обычно все хозяйственные дела кончал и шел пешком себе на вокзал.

Сам на вокзале пока жил.

... Заявляется как-то, сравнительно веселый.

— Ну! — говорит. — Решил я тебя, девушка, угостить!

Обрадовалась, думаю: «Хоть в ресторан схожу!»

Выходим. Проходим почему-то все рестораны. Приходим на вокзал. Заходим в зал ожидания. Говорит соседу своему по скамейке:

— Спасибо, что присмотрел!

Берет у него свой деревянный чемодан, достает яйца, соль. Потом говорит:

— А-а-а, чего уж там!

Вынимает бутылочку, заткнутую газетой, наливает какой-то мутной жидкости в стакан.

— Ладно уж, — говорит, — невеста как-никак!

На другой день снова хмурый пришел, — как видно, попрекал себя за кутеж. Молча, ни слова ни говоря, до глубокой ночи строгал что-то, пилил. Ни слова так и не сказав, ушел.

И все — больше не приходил. Видно, не мог мне простить произведенный расход.

#### Четвертый

Однажды открываю на звонок, стоит молодой красивый мальчик.

— Тебе чего? — спрашиваю.

Он, глядя в сторону, говорит:

— Макулатуры.

— Ах, макулатуры! — говорю. — Пожалуйста.

Вынесла ему пачку журналов, среди них несколько зарубежных старых журналов мод: «Вог», «Бурда». Гляжу, он эти журналы от пачки отделил, отдельно понес. Через несколько дней вдруг появляется снова.

— Еще таких журналов нет? — спрашивает.

— Есть, — говорю, — но дать их тебе пока не могу.

— Может, посмотреть тогда можно? — глядя в сторону, буркнул.

— Посмотреть? Ну, пожалуйста.

Сел в кресло, стал картинку смотреть.

Особенно жадный интерес у него джинсы вызвали.

— «Супер райфл» отличный... Ну, это обычные «слаксы». «Леви страус»... нормальные «Ли».

Другие журналы стал листать... Габриель Гарсиа Маркес положительного отзыва его удостоился:

— Попсовый паренек! Да, — говорит, — нынче все дело в прикиде. Как ты прикинут, такая у тебя и жизнь!

— В чем дело? — удивилась.

— Ну, как вы говорите, в шмотках. А мы называем это — прикид. Без фирменного прикида никто и водиться с тобой не будет! — с обидой сказал.

Наверно, был уже у него в этом вопросе печальный опыт.

Спрашиваю у него:

— А у меня как джинсы, ничего?

Посмотрел пренебрежительно:

— «Лассо» — это не фирма.

Потом стал пластинки перебирать, — снова оживился:

— «Дип папл!» «Статус кво!» Я думал, в нашем доме одни козлы живут, — вот уж не ожидал, что у кого-то «Статус кво» окажется.

Поставил, долго раскачивался в такт.

Потом говорит:

— Вообще, клево у тебя, — журналы, диски... А главное, есть о чем поговорить... А «Энимелз» у тебя случайно нет?

— «Энимелз?» Это, что ли, звери по-нашему? Кошка вот есть.

Усмехнулся снисходительно:

— «Энимелз» — это группа такая! Все-таки слабо ты сечешь.

И так мы с ним беседовали, — проникся он ко мне доверием, — довольно часто стал приходить. И каждый раз рассказывал доверительно, сколько у него на джинсы уже скоплено и вообще какие потрясения происходят на этом фронте.

— ...Сговорился с одним — за рубль десять (на их языке это сто десять, как я поняла), — отличные «Ли». Собрал, прихожу — он полтора просит! Прямо не угнаться за ценами, где-то еще надо четыре червонца доставать!

— Ты, — говорю, — прямо как Акакий Акакиевич!

Говорит пренебрежительно:

— С козлами не возжусь.

Посидит так, порассказывает, потом встает:

— Дела!

И вдруг исчез. Как оказалось потом, просто достиг своей цели и я уже была ни к чему.

Встретила его случайно на улице — в джинсах! Сухо мне кивнул из компании таких же пареньков возле метро... Ясно! Проник в высшие круги.

И долго потом его не видела. Однажды только — звонок, появляется какая-то женщина, как я поняла, его мать:

— Это ты его загубила! Шестую ночь дома не ночует!

— Осторожней! — говорю. — У меня он не только что ночью, даже днем никогда не ночевал.

— Будь ты проклята! — плюнула.

«Вот так история», — думаю.

Потом забыла совсем об этих делах. Однажды ночью — телефонный звонок:

— С вами из больницы говорят... Кулькова знаете?

— Кулькова? — никак не могла такого знакомого вспомнить, потом только вычислила, методом исключения, что это паренек тот.

— А, знаю, кажется. А что случилось?

— Приезжайте, если можете. Он нам отказывается что-либо объяснить, говорит, что только вам все расскажет.

Приезжаю в больницу, вижу его...

Выясняется: пытался повеситься из-за того, что украли джинсы!

Случайные люди еле его спасли!

Дежурный мне говорит:

— Собственно, можете его взять — опасности для жизни никакой уже нет.

— Ясно, — говорю.

Привезла я его к себе домой, уложила на диван, напоила молоком.

— Как же я теперь буду жить? — все всхлипывает.

— Ничего, — утешаю его, — скоро, может быть, поеду в Голландию, куплю там тебе джинсы.

— Голландия — это не фирма! — продолжая всхлипать, говорит.

Но все же стал понемногу успокаиваться, уснул.

Утром положила на стул перед ним записку: «Ряженка в холодильнике, там же сосиски».

Прихожу с репетиции — его нет. Нет также транзистора «Сони» и колечка с бирюзой.

Вот такой еще у меня был жених.

## П я т ы й

Но самый замечательный был другой. Заметила в самом начале еще спектакля: какой-то тип сидит во втором ряду почему-то с забинтованной головой.

Апофеоз, мы, балерины-лебеди, стоим, руки закинув. Вижу с изумлением — тип этот подмигивает мне, головой дергает: «Выйди, мол, надо поговорить!»

Выхожу из служебного подъезда — стоит... Дождь лил как из ведра, так он мне как-то намекнул, косвенно, чтобы я его курточку надела... самого слова «курточка» не было — точно помню.

Пришли с ним в какую-то компанию. Физики гениальные, режиссеры. Полно народу, и все босиком. Огромная квартира, много дверей, и все занимались тем, что одновременно в них появлялись. Мотают головами, говорят:

— А мы тут дураки-и, — ничего не знаем!

И потом, ходили мы с ним больше по улицам, и он все бормотал, что вот, повесила я на двери записку «Стучите сильнее», может для кого это и годится, а он уж как смог, поскребся, потерялся и упал без сознания. Это только слава о нем — мастер спорта, метр девяносто, а на деле — тьфу! Снять бы его к чертям с кандидатов всех этих наук, в одну лодку положить, другой накрыть — и вниз по течению пустить. Единственное что — это деньги. Чего-чего, а деньги уж есть! Только с собой восемь копеек, да еще дома копеек шесть запрятано по разным местам. А со мной он, дескать, проститься хочет, — что, мол, сижу я перед ним в шестицилиндровом красном «Ягуаре», а он стоит в обмотках, галифе, а под мышкой веник...

И так он все время бормотал, пока мы ходили.

Однажды только зашли погреться к нему домой. Он усадил меня в кресло, а сам слонялся по комнате и стонал. Потом стал говорить, как его женщины безумно любят: вынимал из стога пачки писем и в руки мне совал. Совал — и тут же отнимал. Совал — и тут же отнимал. И вдруг увидел на шкафу статуэтку — мальчик с кры-

лышками целует фарфоровой женщине пятку. Смотрел, смотрел и захохотал. Минут двадцать хохотал, не меньше. Непонятно, откуда у него такие силы взялись, ведь, надо думать, не в первый раз статуэтку эту он видел.

И только раз за все время услышала я от него членораздельную речь. Вышли мы на балкон, а внизу под балконом «Волга» стоит:

— Хочешь, — говорит, — плюну на машину?

И я не успела ничего сказать, как вниз здоровый плевок полетел!

— А чья, — спрашиваю, — это машина?

Он помолчал минут пять, потом говорит:

— Моя.

А в прошлую субботу позвонила мне Ленка и говорит:

— У папаши вечером прием, важные гости. Возьми какого-нибудь мужика приличного и приходи.

... Ну я, дура, и догадалась его взять.

Пришли, сидим. Светская беседа. И вдруг — звонок. Гости.

А он бросился к комоду, на нем такие фарфоровые руки стояли, — схватил их, засунул в рукава и стал этими руками со всеми знакомиться, — по плечу бил, обнимал. Все были, конечно, потрясены, но виду никто не подал.

Сели ужинать. Он руки фарфоровые вынул и по краям тарелки положил.

Все жуют молча, он заводит разговор:

— Сегодня я наблюдал совершенно поразительный случай!

И все. И молчит.

Наконец один из гостей не выдерживает:

— Простите, так что же это за случай?

А он:

— Да нет. Не стоит... Слишком долго рассказывать.

Снова тишина. Все жуют. И снова его голос:

— Я считаю, что каждый интеллигентный человек должен читать газету «Киевский транспорт!»

И все. И опять замолчал. Наконец другой гость не выдерживает:

— Простите, но почему именно эту газету?

А он:

— Да нет... ничего! Неважно. Долго объяснять.



И так весь вечер. Потом посадил меня в трамвай и стал со стоном трамвай сзади пихать, чтобы тот быстрее уехал, что ли!

## Шестой

Но это все так, эпизоды. Главное — официальный мой жених, постоянный! Познакомились, правда, мы с ним тоже случайно. Молодой человек, воспитанный, элегантно одетый, — вышел со мной из автобуса, заговорил... Почему же не поговорить? Рассказал, что папа у него академик, недавно купили новую машину... Все обстоятельно. Потом говорит:

— Разрешите вам время от времени звонить?

— Ну пожалуйста! — говорю.

«Телефон, — думаю, — не пулемет, от него зла не будет».

И здорово, надо сказать, обмишулилась.

Звонит уже на следующий день и неожиданно сообщает, что говорит со мной из больницы, — какие-то хулиганы напали на него в восемь утра, когда он шел на работу, и челюсть ему сломали. Хочет, чтоб я к нему зашла, продиктовал список, что необходимо купить, и еще «что-нибудь легкое почитать»... Повесила я трубку... Что, думаю, за ерунда? Вчера только познакомились — и вот я уже в больницу к нему должна идти. Как-то непонятно все... Как-то странно мне показалось: к кому это хулиганы подскакивают в восемь утра и ломают челюсти? Потом только, когда узнала его, поняла: ничего странного, наоборот, абсолютно в его стиле эта история!

Приехала я к нему в больницу, встретил он меня, конечно, не в лучшем виде: голова забинтована, челюсть на каких-то проволочках. — не в том виде, в каком мужчина может понравиться. Но это мало его беспокоило. Стал подробно рассказывать, какие косточки у него где пошатнулись, потом потребовал у дежурной сестры принести рентгенограмму, показывал обстоятельно, где что.

Дальше. Общаясь с его коллегами по палате, понимаю, что что-то он уже им про меня рассказывал. Хотя что он им мог про меня рассказать — десять минут всего были знакомы, — убей меня бог, не понимаю.

И потом стал он мне звонить по нескольку раз в день, подробно рассказывая, как заживает его челюсть, и я почему-то обязана была все это выслушивать.

Потом новая тема звонков появилась: «Через неделю выписываюсь!», «Через пять дней!..» Так говорил, как будто всем из-за этого события полагалось от счастья с ума сойти.

— Ну, ты меня встретишь, разумеется?

«Что такое? — думаю. — Почему? Как вдруг образовалась неожиданно вся эта ерунда?»

С какой это стати я должна все бросать, идти встречать? Ноги у него работают — дойдет сам!

... Как-то в семь утра звонит.

— Что такое? — говорю. — Что случилось? Почему ты так рано мне звонишь?

— Есть у тебя какие-либо деньги? — сухо спрашивает.

— Деньги? — говорю. — Есть, кажется, рубль.

— А больше?

— Могу попробовать занять у соседки три рубля. А что такое — ты совсем без денег?

— Разумеется, нет. Просто отцу нужно купить «боржом», а сберкасса открывается только в девять. Подняться к тебе я, к сожалению, не смогу, выкинь мне деньги, пожалуйста, в коробке из окна.

Трубку повесил.

«Да-а, — думаю, — влипла в историю! Какому-то незнакомому человеку в семь утра выкидывать деньги в окно, чтобы его отец-академик смог купить на эти деньги «боржом»! Более идиотскую ситуацию трудно придумать!»

Нет уж, не пойду к соседке в семь утра треху заниматься! Хватит и рубля на «боржом» его отцу!

Слышу, раздался под окном свист, выкинула я ему, как договорились, спичечный коробок, — ушел.

Через короткое время снова слышу его свист. Выглядываю — стоит с обиженным, злым лицом. Губы так светло обидой, что даже свистнуть как следует не смог.

— Сколько ты мне выкинула?

— Рубль. А что?

— Ты сама, наверное, понимаешь, что можно купить на рубль!

«Да, — думаю, — здорово мне повезло!»

— Иди-ка ты, — говорю, — подальше.

И окно захлопнула. И все!

Однажды сижу во время антракта, еле дышу, — приносит билетерша букет роз!

Сразу все упало у меня: «Он, идиот... Лучше бы пачку пельменей прислал!»

И вот, встречает меня у выхода, церемонно. Прекрасно сшитый новый костюм.

— Мне кажется, здесь немного морщит... — и с обиженным лицом ждет непременно горячих возражений.

И все! Каждый раз — стоит у выхода, как истукан!

Подружки мне говорят:

— Колоссальный у тебя, Ирка, парень!

Знали бы, какой он колоссальный!

Каждый день: стоит, аккуратно расчесанный на косой пробор, непременно держа перед собой коробочку тающих пирожных. Приводит в свой дом, знакомит непременно с какими-то старыми тетушками, потом под руку ведет к себе.

У каждого свой стиль. У этого — очаровывать манерами! Чашечки, ложечки — все аккуратно. За все время, может быть, один раз вылетел от меня к нему дохленький флюидик, да не долетел, упал в кофе. Кофе попил — и сдох!

Потом, при расставании, целует руку. До часов уже добрался! Конечно, при его темпах...

Однажды Ленка меня спрашивает:

— Ну как он, вообще?

— А-а-а! — говорю. — Бестемпературный мужик!

Но все терпела почему-то. Недавно только произошел срыв.

Встречает у выхода — пирожных нет! Церемонно приглашает в ресторан.

Приходим — уже накрыто: шампанское и букет роз! «Сейчас бы, — думаю, — мяса после спектакля!»

— Поесть, — говорю, — можно? Дорого?

— Это, — говорит, — не имеет значения!

А сам, небось, в кармане на маленьких счетиках — щелк!

Сидим. Смотрит на себя в большое зеркало, через плечо, и говорит с грустью:

— Да-а-а... Вот у меня и виски уже в инее!

— Какой еще иней? — говорю. — Что за чушь?

Откинул обиженно голову... Потом стал почему-то

рассказывать, какая у него была неземная любовь. Она считала его богом, а он оказался полубог. . .

Видит, что я его не слушаю, — вскочил, куда-то умчался.

Тут появляются вдруг знакомые — монтажники наши, из постановочного цеха.

— О, Пантелеевна, — говорят. — Привет! Закурить случайно не найдется?

— У меня, — говорю, — только рассыпные. . . Да чего там, — говорю, — садитесь сюда!

Приходит мой ухажер — у нас уже уха, перцовка, дым коромыслом. Он так сел, откинув голову, молча. Пил только шампанское, а закусывал почему-то лишь лепестками роз. Видит, что на него никто не смотрит, вскочил, бросил шесть рублей и ушел.

Но на следующий день снова явился. . .

## II. Он говорил

### Первая

Да. У меня с этим тоже хорошо!

Недавно — звоню одной.

— А куда мы пойдем? — сразу же спрашивает.

— А что, — говорю, — тебе именно это важно?

— Нет, конечно, не это, но хотелось бы пойти в какое-нибудь интересное место.

— Например?

— Ну, например, в ВТО!

— Почему это в ВТО? Ты артистка, что ли?

— Нет, ну вообще, приятно провести время среди культурных людей!

Уломала все-таки — пошли в ВТО.

— Ой! — говорит. — Ну обычная вэтношная публика!

Тут я несколько уже дрогнул. Нельзя говорить: «вэтношная», «киношная». «Городошная» — это еще можно.

И главное, сидит практически со мной, а глазами по сторонам так и стрижет!

— Ой, Володька! Сколько зим! Ну, как не стыдно? Сколько можно не звонить?

Тот уставился так, тупо. Явно не узнает. Действительно не понимает — сколько же можно не звонить?

— Прямо, — мне говорит, — нельзя в ВТО прийти, столько знакомых!

Потом стала доверительно рассказывать про Володьку: так будто бы в нее влюблен, что даже не решается позвонить, пьет с отчаяния дни напролет!

Слушал я ее, слушал, потом говорю:

— Иди-ка ты спать, дорогая!

## Вторая

Но, больше всех почему-то дядька с теткой переживают за меня.

— Четверть века прожил уже, а жены-детей в заводе нет! Мы в твои-то годы шестерых имели!

— Да как-то все не выходит, — говорю.

— Ну хочешь, — говорят, — приведем мы к тебе одну красну девицу? Работает у нас... Уж так скромна, тиха, — глаз на мужчину поднять не смеет!

— Ну, что же, — говорю, — приводите.

— Только уж ты не пугай ее...

— Ладно.

И утром в субботу завели ее ко мне под каким-то предлогом, а сами спрятались. Сидела она на стуле, потупясь, что-то вязала, краснея, как маков цвет. А я, как чудище заморское, по дальним комнатам сначала скрывался, гукал, спрашивал время от времени глухим голосом:

— Ну, нравится тебе у меня, красавица?

И куда она ни шла — всюду столы ломились от угощения.

Наконец, на третий примерно час, решил я ей показаться, появился — она в ужасе закрыла лицо руками, закричала... С тех пор я больше ее не видел.

## Третья

Однажды друг мой мне говорит:

— Хочешь, познакомлю тебя с девушкой? Весьма интеллигентная... при этом не лишенная... забыл чего. Только учти, говорить с ней можно только об искусстве пятнадцатого века, о шестнадцатом — уже пошлость!

— Да я, — говорю, — наверное, ей не ровня. Она, наверное, «Шум и ярость» читала!

— Ну и что, — говорит. — Прочитаешь — и будешь ровня!

— Это ты верно подметил! — говорю.

Подучил еще на всякий случай пару слов: «индугенция, компьютер», — пошел.

С ходу она ошарашивает меня вопросом:

— Как вы думаете, чем мы отличаемся от животных?

Обхватил голову руками, стал думать...

— Тем, что на нас имеются деньги?

И — не попал! Промахнулся! Оказывается, тем, что мы умеем мыслить. Больше мы не встречались.

#### Четвертая

Встречает меня знакомый:

— Слушай, колоссальная у меня сейчас жизнь, вращаюсь всю дорогу в колбасных кругах. Хочешь, и тебя могу ввести в колбасные круги?

Ввел меня, представил одной. Как-то позвонил я ей, договорились о свидании.

Приходит — на голове сложная укладка, на теле — джерсовый костюм (на базе, видимо, недавно такие были).

Зашли мы в пашлычную с ней, сели. Вынимает из кармана свой ключ, уверенно открывает пиво, лимонад.

Приносит официант шашлык. Она:

— Что это вы принесли?

Официант:

— Как что? Шашлык... Мясо.

Она:

— Знаю я, что это за мясо! Вы то принесите, которое у вас на складе! Знаю как-нибудь — сама работаю в торговле!

Дикую склоку завела, директора вызвала. Пошла с ним на кухню поднимать калькуляцию.

Возвращается злая, в красных пятнах.

— Вот так, — говорит, — я уж свое возьму!

«Ты, — думаю, — наверно, и не только свое возьмешь!»

Стала она рвать сырое почти мясо, на меня хищные взгляды кидать.

— Посмотрим, — урчит, — поглядим, на что ты способен!

«Да, — думаю, — ждет меня участь этого мяса!»

— Знаете, — говорю, — я чувствую непонятную слабость. Я должен непременно пойти домой, на несколько секунд прилечь... Всего доброго.

## Пятая

Недавно я с отчаяния додумался зайти в кафе. Девушки молодые, одетые модно, у стойки сидят.

С одной попытался заговорить — получил в ответ надменный взгляд.

— Мне кажется, я читаю!

Ей кажется, что она читает.

Хотя, в общем-то, разговор их известен. Если двое их — обязательно почему-то говорят, что они польки или что они двоюродные сестры. На другое ни на что фантазии не хватает. Такой — известно уже — происходит разговор:

— Здравствуйте. Вы кого ждете?

— Не имеет значения.

— А после куда пойдете?

— Неважно.

— А пойдете ко мне!

— Это зачем еще?

— Чаю попьем.

— А мы чай не любим.

— А что же вы любите?

— Молоко. — Хихиканье.

— И долго вы будете здесь сидеть?

— Пятнадцать суток. — Дикое хихиканье.

И в этот раз одну такую сумел зачем-то разговорить на свою голову. Сразу же целый ворох ненужных сведений был на меня высыпан: как вчера на дежурстве придумала в шкафу спать, где халаты; как на свадьбе у брата все гости передрались в кровь...

И лепечет ведь просто так, явно не различает меня в упор, думает, что я ее подружка какая-нибудь.

Но на следующий день договорился зачем-то с ней встретиться. Почему-то на вокзале назначила.

Прихожу на следующий день — она ждет. Вся замерзла, кулаки в рукава втянула, ходит, сквозь зубы: «С-с-с!»

Тут только сообразил я, почему на вокзале, — она же



за городом живет! По болоту пробирается, подняв мансипальто, до электрички, потом в электричке полтора часа... И все это для того, чтобы чашечку кофе выпить, надменно.

С ней подружка ее. Пальто такое же. А может, одно пальто на двоих у них было, — просто так быстро переодевали, не уследишь.

Смотрит на меня с явной ненавистью. Как-то иначе, видимо, она меня представляла. А подружка молча тянет ее за рукав в сторону.

— Ты что? — говорю. — Я же тебе одной свиданье назначил.

— Без Люськи, — злобно так говорит, — никуда! Мне она дороже тебя!

Рот так захлопнула, глаза сощурила — и все!

— Ну что ж, — говорю, — может быть в столовую какую-то сходим?

— Да ты что? — говорит. — За кого ты нас принимаешь?

— А что такого? В столовую, не куда-нибудь!

Пришли, сели. И все. Про меня забыли. Словно десять лет со своей подружкой не виделась, хотя на самом деле, наверно, наоборот — десять лет не расставались.

— ... А Сергеева видела?

— Сергеева? Ой, Люська! Пришел, весь в прикиде — ну ты ж понимаешь!

Моя-то фамилия не Сергеев! Может, потом они и меня будут обсуждать, но пока моя очередь не наступила.

Вижу вдруг — из сумки у нее кончик ломпка торчит, изогнутый.

— А ломик зачем? — спрашиваю.

Посмотрела на меня — с удивлением, что я еще здесь.

— А чтобы жахнуть, — говорит, — если кто-нибудь плохо будет себя вести.

— Слушай, — говорю. — Сделай милость, жахни меня, да я пойду.

### III. Они

— В общем, — он говорил, — когда я тебя увидел, я уже в жутком состоянии был! В жутком!

— И я тоже, что интересно, — улыбаясь, отвечала она.

— Да? А выглядела прекрасно.

— А может, мне ничего и не оставалось, кроме как прекрасно выглядеть!

— Сначала, когда я тебя увидел, меня только боль пронзила. Надо же, подумал, какие есть прекрасные девушки, а мне все время попадаются какие-то жутковчухи! Потом гляжу, ты все не выходишь и не выходишь...

— А я только тебя увидела, сразу подумала: надо брать! — она засмеялась.

— Серьезно, — говорил он. — По гроб жизни буду себе благодарен, что решился тогда, с духом собрался. Батон, который все грыз на нервной почве, протягиваю: «Хотите?» И вдруг эта девушка, чудо элегантности и красоты, улыбается, говорит: «Хочу», — и кусает.

— А как я бежала сегодня, опаздывала! Ну все, думаю, накрылся мужик!

Они сидели за столом в гулком зале. Она — немного склонившись вперед, держа сигарету в пальцах — точно вертикально. Замедляла дым во рту, потом начинала его выпускать.

Они спустились по мраморным ступенькам, пошли к такси.

У самой машины она задержалась, перегнувшись, быстро посмотрела через плечо назад, на свои ноги.

Он, уже в машине, придерживал рукой открытую дверцу.

— Добрый день! — сказала она шоферу.

— Здравствуйте! — сказал тот, не оборачиваясь.

За окном падал мокрый снег.

— Что-то я плохо себя чувствую, — сказал он.

— Да?.. А меня? — сказала она, придвигаясь.

Машина как раз прыгала по булыжникам, но поцелуй, в конце концов, получился — сначала сухой, потом влажный.

— Ну... Есть точно не будешь?

— ... Не точно.

— ... Ты зайчик?

— Практически да.

Потом он увидел вблизи ее глаз, огромный, с маленьким красным уголком. Он счастливо вздохнул и чуть не задохнулся поправшей в горло прядью ее легких, сухих волос.

И снова — неподвижность, блаженное оцепенение, когда слышишь, как шлепает, переливается вода в ванной, и нет сил пошевелиться, привстать.



## Третьи будут первыми

**В** последний день перед отлетом на конференцию вдруг решено было взять вместо меня уборщицу. Ну что ж, это можно понять: от меня какой толк? Ну — отбубню я свое сообщение, и все, — а та и уберет, и постирает, к тому же — молодая очаровательная женщина — это тоже немаловажно!

Но, к счастью для меня, уборщица от поездки отказалась — то ли муж ей не разрешил, то ли ребенок, точно не известно. Таким образом, один я поехал такой, остальные — начальники, хотя они к теме конференции ни малейшего отношения не имели.

Правда, в самолете я вдруг старого друга своего Леху встретил — давно не виделись.

— А ты откуда здесь взялся? — я удивился.

— Не было б счастья, да несчастье помогло! — Леха усмехнулся. — У шефа теща заболела — так что я вместо нее!

С самолета нас в элегантнейший отель привезли, — правда, нас с Лехой сунули в каморки на последнем этаже. Вышел я на балкон — на соседнем балконе Леха стоит.

— Вот так вот! — горестно говорит. — А ты как думал? Ну ничего! — злобно усмехнулся. — Мне сверху видно все — ты так и знай!

— Наверное, — говорю, — надо уже в холл спускаться, все, наверное уже там?

Долго до нас лифт не доходил, наконец поймали, спустились в холл.

Вскоре вслед за нами сам Златоперстский спустился со своими питомцами — Трубецкой, Скукоженский, Ида Колодвиженская, Здецкий, Хехль.

— Да... дружная команда! — исподлобья глядя на них, Леха пробормотал.

Тут маленький человек появился, в огромной кепке, с некоторыми здоровался, некоторых пропускал.

— А это кто? — испуганно я Леху спросил.

— С луны, что ли, свалился? — Леха говорит. — Это ж сам директор гостиницы, товарищ Носия! От него все здесь зависит!

— Неужто все?

Леха в ответ только рукой махнул, злобно отошел. А я на доске объявлений маленькое объявление увидел: «Не получившие командировочные могут получить их здесь, в комнате 306».

Радостно поднялся. Но Блинохватова, начальница оргкомитета, железная женщина, ни копейки мне не дала. Сказала, что вместо меня в списках значится уборщица, с жепской фамилией, так что мне с моей мужской денег во век не видать, — причем с торжеством это сказала. даже с какой-то радостью — вот странно!

Спустился, снова в холле Леху нашел, все ему рассказал.

— А ты как думал? — Леха говорит. — С нами только так! Кстати — вся головка сейчас на пикник приглаше-

на — почему-то на насыпи, — а про нас с тобой не вспомнил никто.

— Неужели никто? — я огорчился.

— А к тебе обращался кто-нибудь? — Леха вздохнул. — Вот то-то и оно!

— Да-а! — горестно говорю. — Кстати — странно: когда шел я по этажу, горничные дорожки убирали, за ними рабочие в заляпанных спецовках линолеум сдирали. К чему бы это?

— А ты не понимаешь? — Леха говорит. — Товарищ Носия хочет одновременно с нашей конференцией ремонт провести — поэтому он так и задабривает наше начальство!

— А зачем ремонт-то? И так аккуратно, — я огляделся.

— Не понимаешь, что ли? — Леха разозлился. — После каждого ремонта у него еще одна дача появляется — как же не ремонтировать?

— А как же нам конферировать? — говорю. — Никуда будет не пройти — все разрушается!

— А это уже, как говорится, дело десятое! — Леха усмехнулся.

Потом мы с Лехой ползли по горам песка, к железно-дорожной насыпи. Все приглашенные уже там собрались: и Златоперстский, и Трубецкой, и Блинохватова, и Ида Колодвиженская, и Здецкий, и Крепконосов.

Златоперстский, покровительственно улыбаясь, рассказывал про Париж — для пикника, конечно, лучшей темы не найти:

— И вот приезжаем мы на Сант-Дени... и как бы уже путешествуем во времени!

«Главное — что ты в пространстве можешь путешествовать!» — злобно подумал я.

Все сползают по песку, но сразу же снова карабкаются вверх.

В центре, естественно, Носия возвышается. Вдруг звонок. Носия поднял свою большую кепку, лежащую на песке, — под ней оказался телефон.

— Слушаю! — надменно проговорил.

Смотрел я на этот праздник, и слезы душили: «Что ж такое? Что у меня за судьба? Всегда я как-то в стороне, на отшибе обоймы!»

Приползли обратно в гостиницу — Леха говорит:

— Все! Хватит дураками быть!

— Думаешь — хватит?

— Надо что-то предпринимать!

— Думаешь — надо?

— А — ты вообще — вне времени и пространства! —  
Леха махнул рукой, стремительно ушел.

Вечером уже я робко ему постучал. Он долго не отзывался, наконец глухо откликнулся:

— Кто?

— Я — кто же еще?

Леха высунул в коридор взлохмаченную голову, бдитительно огляделся:

— ... Заходи!

Зашел я — и даже не сразу понял, что живет он в таком же номере, как и я: на столе стояли мокрые сапоги, кровать застилал какой-то зипун, пол был покрыт каким-то темным распластанным телом.

— Кто это? — испуганно глянул я на тело.

— Да это Яка Лягушов. Отличный, кстати, мужик. Пуцай пока полежит... Выйдем-ка!

Мы вышли.

— Зайдем тут... здоровье поправим, — Леха сказал.

— Да я денег не получил!

— Ладно! С деньгами и дурак может. Пошли!

Из соседнего номера доносился стук машинки.

— Машинки у них есть! — проговорил Леха. — А я свою должен был продать, чтобы внуку порты купить!

До этого у него и детей не было — и вдруг — сразу внук!

Мы спустились в уютный тускло освещенный бар, и Леха сказал бармену, указывая на бутылку:

— По двести нам нацеди... под конференцию!

Бармен безмолвно нацедил.

— Колоссально! А я и не знал! — обрадовался я.

— Ты много еще чего не знаешь! — зловеще Леха сказал.

Я испуганно поставил фужер.

— Насчет этого не сомневайся! — Леха положил мне руку на плечо. — Есть указание: под конференцию — паливать! Только этим не говори...

— Кому — этим?

— Ты что — не понимаешь, что ли? И так Златоперстский с командой своей все захватил — теперь еще и это

им отдавать? — Леха бережно загородил мощной рукой хрупкий фужер.

— А, ну ясно! — я повторил его жест.

— Есть, напешские ребятки тут, есть! — радостно прихлебывая, заговорил он. — Иду это по коридору я — навстречу мне — Генка Хухреп! «Ты?» — «Я!» — «Здорово!» — «Здорово!» Обнялись. «Ну что, — говорит, — я могу сделать для тебя?» И — вот! — Леха гордо обвел рукой тускло освещенные стены. — ... Кстати — ты с нами, нет?

— А вы кто?

— А! — Леха с отчаянием рукой махнул. — Ну что надо тебе? Скажи — сделаем!

— Да я даже как-то не знаю... — я забормотал.

— Не знаешь ничего — потому и не хочешь! — Леха сказал. — Ну хочешь — тренером в Венэсуэлу устроим тебя? Момент! — Леха прямо в фужере набрал пальцем телефонный номер. — Алле! Генаха, ты? Тут со мной один чудило сидит — можем в Венэсуэлу его послать? Говоришь: «О чем речь?» — Леха захохотал. — Ну ясно! Он свяжется с тобой!.. Только-то и делов! — поворачиваясь ко мне, Леха сказал. — А, может, ты, наоборот, — он окинул меня орлиным взором, — в глубинку куда-нибудь желаешь? Это мы мигом! — он быстро рванулся к бару, принес фужер, размером с торшер. — Алле! Генаха? Снова я. Тут куражится наш-то — может, в порт Находка его пошлем? Сделаешь? Ну, хоп!

В течение получаса я довольно холодно уже наблюдал за стремительными своими взлетами и падениями — в конце-концов я уже ехал в Боготу через Бугульму... но тут Леха устал.

— Ладно, — проговорил он. — Договорились, в общих чертах! Пойду гляну, как Яка Лягушов там лежит.

В этот момент в бар вошел Скукоженский, подошел к стойке и, явно не зная самого главного, заказал себе скромный кофе.

Леха злорадно подтолкнул меня локтем, подмигнул.

— Эй ты, Скукоженский! Не признал, что ли? Чего не здороваешься? — внутренне ликуя, привязался Леха к нему.

— Я уже, кажется, говорил вам, что моя фамилия Скуко-Женский! — надменно дернув плечом, проговорил тот.



— Ой, извини, подзабыл маленько! — юродствуя, завопил Леха и, потрепав Скуко-Женского по спине и заговорщически подмигнув мне, ушел.

— Можно вас — буквально на долю секунды? — с изысканной вежливостью обратился вдруг ко мне Скуко-Женский.

— Пожалуйста, пожалуйста! — я торопливо пересел к нему.

— Сначала — о деле, — сухо проговорил он.

Как будто потом мы с ним часами будем говорить о душе!

— ... Ваш доклад поставлен на завтра.

— Ну?! Это хорошо! — я обрадовался.

— Теперь — мелочи. Как вы считаете... этот... — он пренебрежительно кивнул вслед ушедшему Лехе, — окончательно потерял человеческий облик или еще нет?

— Ну, знаете! — я встал. — Эта работа не по мне! Даже если бы я и знал что-то — все равно бы не сказал!.. Значит — завтра? Огромное вам спасибо! — я поклонился.

— Кстати, — проговорил вдруг он. — Не советую вам в вашем докладе... очень уж заострять некоторые вопросы — есть люди более компетентные, которые сделают это лучше вас!

— Спасибо, разберусь как-нибудь! — я ушел.

Выскочил я оттуда с ощущением счастья — как хорошо, что все это кончилось!

Но оказалось — нет! Я быстро шел по коридору к номеру — вдруг какая-то дверка распахнулась, оттуда пар повалил, высунулась голова. Я испуганно шарахнулся... Леха!

— Заходи!

Я зашел (это оказался предбанник), сел.

— Ну как? — кутаясь в простыню, Леха усмехнулся. — Златоперстцы эти... уже выпалились на тебе?

— В каком смысле?

— Ну — заставили уже что-нибудь делать для них?

— Абсолютно нет!

— Ладно, это мы будем глядеть! Раздевайся!

Я задумчиво стал раздеваться. Появилась старуха в грязном халате, с темным лицом.

— Слышь, Самсонна! — мелко почесываясь, Леха заговорил. — Дай-ка нам с корешем пивка!

— Где я тебе его возьму? — рывкнула она.

Леха подмигнул мне: «Во дает!»

— Слышь, Самсонна! — куражилея он. — Веников дай!

— Шваброй счас как тресну тебе! — отвечала Самсонна.

Я огляделся... Собственно — из роскоши тут имелась одна Самсонна, но большего, видимо, и не полагалось.

Мы вошли в мыльную. Тут были уже голые Лехины союзники — Никпесов, Щас, Малодранов, Елдым, Вислоплюев, Темяшин.

Леха быстро соорудил себе из мыла кудри и бородку.

— Можешь одну штуkenцию сделать? — наклоняясь к моему тазу, проговорил он.

— Какую именно?

— Выступить против Златоперстского. А то — из наших кто вякнет, сразу смекнут, откуда ветер, а так — вроде как объективно...

— Да я совсем не знаю его... — я пробормотал.

— Ну и что? — Леха проговорил.

— Да нет... не хочу! — стряхивая мыло, я стал пятиться к выходу.

— Крепконосов за нас... Ухайданцев подъедет! — выкрикивал Леха.

— Нет!

— Чистеньким хочет остаться! — крикнул Елдым.

Я вдруг увидел, что они окружают меня.

Пока не стали бить меня шайками, я выскочил.

Тяжело дыша, я подходил к номеру... Ну, дела!

Следующие три часа я работал, писал свое выступление и по привычке, автоматически уже, жевал бумагу и плевал в степу перед собой... такая привычка! В конце — опомнился, увидел присохшие комки, ужаснулся: ведь я же не дома! И не отковырнуть — для прочности я добавляю туда немного цемента.

Раздался стук в дверь. Я вздрогнул... Леха.

— Ну — а для переговоров с ними ты пойдешь? Ведь, надеюсь, ты не против переговоров?

— Нет.

Оделся, пошли. Спустились в бельэтаж, постучались. Долгая тишина, потом:

— Да-да!

Открыли дверь, вошли.

Златоперстский, величественный, седой, сидит в кресле. Вокруг него суетятся его ученики: Здецкий мелким

ножичком нарезает плоды дерева Ву, Скуко-Женский, мучительно хватаясь за виски, варит какой-то особый кофе.

Златоперстский долго неподвижно смотрел на нас, потом вдруг вспомнил почему-то:

— Да! Колбаса!

Стал лихорадочно накручивать диск, договариваться о какой-то колбасе... Наконец договорился, повернулся к нам:

— Слушаю вас!

Я открыл рот и тут внезапно страшно чихнул, чихом был отброшен к стене.

— Дело в том... — заговорил. И снова чихнул. Третьим чихом был вышвырнут за дверь. Потом меня кидало по всей гостинице, с этажа на этаж, потом оказался в своем номере, прилег отдохнуть.

Некоторое время спустя Леха явился, тоже весь растерзанный — но не физически, а духовно.

— Я запутался! — застонал.

— Так распутайся! — говорю. — Моральные изменения, в отличие от физических, не требуют абсолютно никакого времени!

— Ты не прав! — снова заметался. — Они думают — купили меня! Заткнули мне рот икрой! Не выйдет!

— Ты о ком? — удивленно говорю.

— Блинохватова с Носией купили меня! Вернее, пытались! Дешево дают! — куда-то выбежал.

Только сел я за статью — является толпа маляров, под предводительством Блинохватовой, выносят мебель.

— Я готовлюсь к выступлению... я участник! — пытался выкрикивать, вцепившись в стол, пока меня вместе со столом по коридору несли. Вынесли в Зимний сад, превращенный в склад.

— Это возмутительно, что вы творите! — Блинохватовой сказал.

— И до меня доберемся! — гордо, во весь голос, Блинохватова ответила. Надменно ушла.

Работал полночи, потом уснул. Рано утром проснулся, умылся из фонтана... К назначенному часу вошел в зал заседаний... Ни души! Куда же все делись? Выглянул в окно: все, празднично одетые, садились в автобусы... Снова пикник?

— Ты вне игры, старик, вот в чем беда! — сказал мне Леха, когда я подошел.

— А ты?

— Я? Я продался! — Леха рубаху рванул, но не порвал. — Сейчас все едут в горы, закапывать капсулу с посланием в тридцатый век, а потом в ресторан «Дупло», и съедают все живое в округе! Я подлец! Подлец! — Леха бросил надменный взгляд в автобусное зеркальце. — ... Понимаю — ты выше этого! — уже нетерпеливо проговорил он.

— А разве можно быть ниже? — удивился я. — ... Ну, а что Златоперстский? — для вежливости поинтересовался я. — ... Надеюсь — удалось произвести отталкивающее впечатление?

— Тебе удалось! — горестно Леха вздохнул. — А мне — нет! — он снова в отчаянии рванул рубаху.

Вечером я подкрался по оврагу к ресторану «Дупло», прильнул к щели... В «Дупле» оказались все: и Носия, и Златоперстский, и Скуко-Женский, и Ида Колодвигенская, и Хехль, и Здецкий, и Джемов, и Щас, и Никпесов, и Елдым, и Вислоплюев, и Слегкимпаров, и Ухайданцев, и Крепконосов, и Яка Лягушов, и Пуп. Леха, рыдая, опускал в котел с кипящей водой раков, давая перед этим каждому раку укусить себя. Все пели песню о загубленной жизни. Златоперстский брезгливо подпевал. Блиновхатова танцевала на столе — но в строгой, сдержанной манере. На горячее был сыч запеченный.

— Еще сыча! — протягивая руку, воскликнул Елдым. И тут на пороге появился я.

— Как вы нас нашли? — воскликнули сразу же несколько голосов.

— По запаху! — ответил я, и в ту же секунду меня уже били.

— Вам бы немножко амбы! — успел только выкрикнуть я.

... Очнувшись, я увидел перед глазами комки земли... вдруг один ком зашевелился... скакнул... лягушка! Я стал прыгать за ней, потом распрямился, потом побежал. Впереди меня по ущелью гнался Леха за испуганной лисой, рвал на груди рубаху, кричал:

— Ну — куси! Куси!

Потом я выбрался в долину. Было светло. Магазины уже открывали свои объятя.

Я подошел к гостинице. Ее уже не было — Носия уже успел разобрать ее. Все участники сидели под небом на

стульях, поставив тарелки с супом на головы, осторожно зачерпывали ложками, несли ко рту. Потом ставили на головы стаканы, лили из чайников кипяток, размешивали ложечками.

Оказалось: вчера на пикнике, скушав все вокруг, они захотели отведать белены — и это сказалось. Красивые белые машины подъезжали к ним, люди в белых халатах помогали войти. . .

Вот на тропинке показался Леха. Видимо — он все-таки уговорил лису укусить его. Сначала он шел по тропинке абсолютно ровно — потом вдруг метнулся в курятник, раздался гвалт. Через минуту санитары повели и его. Он шел с гордо поднятой головой, пытаясь сдуть с верхней губы окровавленную пушинку.

— А ты говоришь — почему седеют рано! — скорбно произнес он, поравнявшись со мной.

Все уехали. А я пошел в степь. И вот вокруг уже не было ничего — только заросший травой колодец. Я заглянул туда — отражение закачалось глубоко внизу.

— Господи! Что же за жизнь такая?! — крикнул я.

— . . . Все будет нормально! — послышалось оттуда.



## В городе Ю

**— А** все с того началось, что я Генку Хухреца встретил. — Леха пересел на свободное место на моей полке и, горячо дыша, начал исповедь. — До того, ты знаешь, я всего лишь сменным мастером был, газгольдеры, то — се, и вдруг Геха мне говорит: «Хочешь мюзик-холлом командовать? Какие девочки там — видал?» Говорю: «Только на афишах!» Ржет: «Увидишь вблизи!»... А все со школы еще началось: там Геха, по правде говоря, слабовато тянул, никто не водился с ним, один я. И вот результат! «Только усеки, — говорит. — За кордон с ними поедешь — чтобы ни-ни! С этим строго у нас! Но зато —

как приедете в какую-нибудь Рязань!.. Любую в номер! Они девочки вышколенные, команды понимают!»

— Это ты говоришь, или Геха? — слегка запутавшись и смутившись, пробормотал я, пытаюсь увести разговор в сторону, запутать его в филологических топкостях.

— Он. И я это тебе говорю! Приезжаешь в какую-нибудь Рязань...

— Почему именно в Рязань-то?

— Ну — в Рязань, в Казань... — миролюбиво проговорил Леха.

— А... ясно. И почему ж ты не с ними сейчас?

— Сорвался я! — скорбно воскликнул он.

— В Рязани? — изумился я.

— При чем здесь Рязань? Как в Рязани можно сорваться? В этом гадском Париже все произошло!

— В гадском?

— Ну, а в каком же, по-твоему еще? — уязвленно воскликнул он. — Разве ж это город? Бедлам! Легко там, думаешь, коллективом руководить?

— А... тяжело?

— Дурочку изображаешь, да? Днем, вместо репетиций, по улицам шастают, после спектакля, для близиру в гостиницу зайдут, и на всю ночь — опять! У меня нервы тоже, понимаешь, не железные — пробежал четыре ночи в квартале Сапт-Дени, гадостей всяких насмотрелся, наших никого не нашел — и под утро уже пятой, кажется, ночи, часа в четыре к одной нашей артисточке в номер зашел — проверить, работает ли у нее отопление. И ведь точно знал — с жонглером нашим живет, а тут фу-ты-нуты — на дыбы!

— А как — на дыбы?

— Сквородкой жахнула меня!

— Сквородкой?.. А откуда у них в номере сквородки?

— Ты что — с крыши свалился, что ли? — перекривился он. — Известно ведь: хоть и запрещено, а они все равно жратву в номере готовят, чтоб валюту не тратить! Примуса, керосинки — как в коммуналке какой-нибудь! Суп в бидэ кипятивником варят!

— И... что? — по возможности нейтрально спросил я.

— И все! — Леха тяжело вздохнул. — С той сквороды и начался в моей голове какой-то сдвиг! Тут же, этой артистке ни слова не сказав, пошел в номер к себе, вынул

из наволочки всю валюту — всей группы, я имею в виду, и рвапул в казино (неизвестно еще откуда я дорогу туда знал!). Не сворачивая, пришел, сел в рулетку играть, и с ходу выиграл пятьсот тысяч — не иначе, как специально мне подстроили это! В общем, когда дождливым утром выходили все на авеню Мак-Магон, чтобы в автобусы садиться, на репетицию ехать, вдруг громкие звуки джаза раздались, и с площади Этуаль процессия появилась... Впереди джаз шел... из одного кабака... за ним девушки с Пляс Пигаль маршировали, а за ними, — Леха стыдливо потупился, — четыре нубийца меня на паланкине несли... я в пуховом халате, скрестив ноги, сидел, и в чалме! — Леха прерывисто вздохнул.

— Ясно... — сказал я. — И после этого, значит, тебя сюда?

— Да нет, не сразу сюда, — после долгой паузы проговорил Леха. — После этого я еще симфоническим оркестром руководил. Не то, конечно! — с болью выкрикнул он. — ... и в самолете на Нью-Йорк с гобоистом подрался одним. В океан хотел выкинуть его! — Леха всхлипнул. — И все после той проклятой сковороды — то и дело заскоки случаются у меня! А артистке той — хоть бы что — в Москве уже работает, говорят! — он снова всхлипнул.

— Да-а-а... зря я связал с этим затейником свою судьбу! — в который уже раз подумал я. — Вряд ли получится из этого что-то хорошее. Но так надоела неопределенность, скитания по редакциям, халтура на телевидении, так хотелось чего-то твердого и определенного!

— А что тебе... Геха обещал? — уже не в первый раз стыдливо поинтересовался я.

— Да уж крупное, что-нибудь, не бойсь! — сходу приободрившись, ответил Леха. — Раз уж Геха за главного тут — без работы, не бойсь, не останусь! А где я — там уж и ты! Старый кореш, что ни говори!

Да, действительно, дружим мы с Лехой давно, вместе учились еще в институте... как скромно мы когда-то начинали — и как нескромно заканчиваем!

— Для начала обещал Управляющим театрами меня назначить! — веско проговорил он.

— Но ведь в Ю., насколько я знаю, один театр, — засомневался я. — Может — директором театра тебя?

В лице его, неожиданно, появилась надменность.



— Я, кажется, ясно сказал — управляющий театрами! Ради одного театра, мелочевки такой, я бы не поехал сюда — не тот случай!

— А где тебе остальные театры возьмут? Построят, что ли? — я все не мог поверить в осмысленность поездки.

— Это пусть тебя не колышет! — высокомерно ответил он. — А уж только заступлю — на первое свободное место — тебя. А не будет — так освободим! Как-никак — опыт руководства есть!

Я хотел было спросить, имеет он в виду случай со скорородой или что-то еще, но вовремя удержался: все-таки теперь я зависел от него, а шуток, насколько мне известно, он не любил.

— Ну ладно... спать давай... утро вечера мудренее! — зевнул он.

— Мудрёнее! — усмехнулся я.

— Ну ладно. Это твое дело — словами играть! — снисходительно проговорил он и начал раздеваться.

Спал он бурно, метался, хрипло требовал ландышей. С трудом удалось разбудить его за полчаса до вокзала — он дышал прерывисто, по лицу его текли слезы.

— Видел поленницу до неба, старик! — взволнованно проговорил он. — К большой судьбе!

Я хотел осторожно сказать, что поленница — сооружение шаткое, но промолчал. Поезд, притормаживая, стал крупно дрожать, наши щеки затряслись.

Судорожно зевая, размазывая слезы, мы вошли в освещенный голубым призрачным светом вокзал. Прилечь или даже присесть в этом зале, напоминающем диораму Бородинской битвы, было негде... почему такому количеству народа необходимо было находиться на вокзале в четыре утра — было неясно!

Правда какой-то услужливый старичок, оказавшийся рядом, сразу же стал услужливо объяснять мне, что по прихоти купца Харитонова вокзал выстроен в пятидесяти верстах от города, на горе, а с транспортом в городе нынче туго — поэтому все, приехавшие ночью, сидят здесь. Не знаю, чего ждал от меня услужливый старичок — я сказал ему «спасибо» и пошел дальше. Леха вышел на холод, во тьму, и вернулся, торжествуя.

— Ну, ты! Надолго тут расположился? Машина ждет!

— Вот это да! — ликуя, подумал я. — Не зря, действительно, я приехал в этот город!

Правда, в гостинице оказался абонирован двухместный номер, не два отдельных, как Леха предполагал — это как-то сразу надломило его, он начал зевать.

— Ладно... поспим малехо, — злобно проговорил он и начал раздеваться.

— Слушай, — не удержался я. — А почему ты все время в ушанке спишь? Ну — в поезде — более-менее понятно еще, мороз был, а здесь-то зачем?

Он оглянулся по сторонам, глаза его блеснули безумным огнем.

— А потому, — прошептал он. — Что в шапке у меня... шестьдесят пять тысяч зашито,.. заработанных честным, беспробудным трудом! — добавил он.

Я хотел спросить, считает ли он честной работой свои подвиги в Париже — но промолчал.

Поспать так и не удалось. Тут же зазвонил телефон, Леха схватил трубку.

— Геха, ты? — он радостно захохотал. Дальше он слушал, только крякая и кивая, надуваясь восторгом все больше. — Ну, есть! Ну, все! — проговорил он и повесил трубку. — ... Управляющий всей культурой, старик! — радостно проговорил он и погляделся в зеркало.

— Поздравляю от души! — сказал я. «А есть тут культура?» — хотел спросить я, но не спросил.

Тут же раздался еще звонок — от каждой фразы второго разговора распирало его еще сильнее.

— Тэк... тэк... — только приговаривал он. — Тэк! — он повесил трубку. — Женщина, старик! — ликующе воскликнул он. — Говорит, полюбила с первого взгляда! Вот так! — он бросил горделивый взгляд в зеркало.

— А когда ж был этот первый взгляд? — хотел спросить я, но не спросил.

— Все! Уходи! — он зашагал по крохотному номеру. — Сейчас во всех церквях заутрени идут — дуй туда! Я хотел спросить — что, церквями он тоже заведует? — но не спросил.

Я вышел во тьму и мороз. Из темноты на меня волнами шла какая-то энергия. Приглядевшись, я увидел толпы людей, пересыпавшиеся с угла на угол — но автобусы с прижатыми дверями проходили, не останавливаясь.

Я решил пойти пешком. Слешить мне было абсолютно некуда. Дело в том, что в городе Ю. я родился, и не был тут уже тридцать лет. Светало. Город производил не-

хорошее впечатление. Старые дома еще разрушались, новые дома разрушались уже. Чувствовалось, что десятилетиями никто не думал про город, потом недолгое время кто-то думал, воздвигал какой-то дом, характерный для той эпохи, и снова шли десятилетия запустения. Нехорошо для города оказаться не в моде, в стороне от всяческих фестивалей, когда на город наводится свежий — пусть даже и поверхностный — блеск. Здесь этого не было и следа.

— Хорошо, что я отсюда уехал! — мелькнуло ликование. — Но ведь вернулся же! — придавила тяжелая мысль.

Собираясь сюда лет уже десять (правда, не думая, что навсегда), я с волнением думал, что не узнаю тех мест, где ездил в коляске. И вдруг я словно попал в сон, который периодически снился мне — я снова оказался в том самом месте, которое помнил только во сне: те же деревянные двухэтажные дома, те же «дровяшки» на краю оврага... Ничего не изменилось за тридцать лет! Тяжелый, темный сон про мое детство в чахлом квартале оказался не таким уж далеким — действительность не отличалась от него!

Еще одно обстоятельство — правда, не такое важное, — тревожило меня. Ни в поезде, ни в гостинице я не успел зайти в туалет... осквернить родные места я, конечно, не мог... Я схватил такси и помчался в центр — но там все интересующие меня учреждения оказались закрыты — правда, по веским, уважительным причинам: в одном туалете проходила политинформация, в другом — профсоюзное собрание, в третьем — персональное дело. Казалось бы, надо радоваться столь бурной общественной жизни — но что-то удерживало меня.

Номер был закрыт изнутри, а на дверях туалета в коридоре висела малооригинальная табличка: «Закрыто по техническим причинам». Как насыщено, интересно здесь живут!

— Закрыто по техническим причинам! — горделиво проговорил администратор, сверкая очками.

— Ну, понятно, — пробормотал я.

— Кстати, — продолжил он (что же тут может быть «кстати», подумал я), — вашего друга (он сумел произнести эти слова с презрением и в мой адрес, и в его) дожидается тут какой-то товарищ (снова презрение), однако,

на стук и телефонные звонки ваш приятель не реагирует. Может быть, он вас устроит? — еще более пренебрежительно кивнул на меня администратор, обращаясь к гостю.

Со скамеечки поднялся мешковатый, бородатый мужик.

— Синякова, — ткнув мне руку, пробормотал он. — Главный режиссер театра драмы и комедии.

— Очень приятно, — пробормотал я. Не скрою, меня изумило, что он назвался женской фамилией. Я подумал, что ослышался, но после оказалось, что нет.

— Разумеется, — заговорил администратор, подходя с ключом, — у нас имеется возможность открыть номер своими средствами, но — раз уж вы пришли. . .

— Разумеется. . . извините. . . подождите здесь! — я взял у администратора ключ, открыл, просунулся в узкую щель. . . мало ли что там?

В номере было пусто, на постели были видны следы борьбы. . . за занавеской — я задрожал — темнел какой-то силуэт.

— Эй. . . кто там? — выговорил я.

— Это ты, что ли? — прохрипел голос, и высунулась Лехина башка.

— Ну ты даешь! — с облегчением опускаясь в кресло, проговорил я. — Чего прячешься-то — выходи!

— Не могу! — заикаясь, проговорил он. — Я голый! Эта — дождалась, пока я впал в забытье, и всю одежду увела, даже белье! Неужто Геха ее подослал? Ну, друг! Хорошо, что хоть шапка цела! — он внезапно захихикал. — Откуда ей знать, что в такой лабуде такие деньги! Умен! — Леха погладил себя по шапке. — Отцепи меня — не могу больше! — свободолюбиво воскликнул Леха.

Я отцепил. Кутаясь в занавеску, как Цезарь в тогу, Леха пошел по номеру.

— Жалко, шмоток больше не захватил! — воскликнул Леха.

— Там тебя главный режиссер театра ждет, — проговорил я.

— Мужик, баба? — испуганно вскрикнул Леха.

На всякий случай я уклонился от ответа.

— Сейчас позову.

— Зови! — произнес Леха, перекидывая лишнюю материю через плечо.

Появился режиссер. Набывшись, он смотрел на Леху. Тот, надо сказать, держался неплохо. Можно было подумать, что последняя мода диктует именно такой стиль: тога и ушанка.

— Слушаю вас! — величественно проговорил он.

— Синякова, — пробормотал он.

— Машина, надеюсь, у подъезда? — поинтересовался Леха.

Синякова кивнул. Перекинув конец материи через себя, Леха двинулся из номера — мы последовали за ним.

В машине я спросил режиссера, не японец ли он. Он ответил, что нет. Просто, когда его назначили главным, он решил вместо своей неблагозвучной взять фамилию жены, и написал соответствующее заявление в соответствующие инстанции. Когда он получил паспорт, там было написано: Синякова. «Но ведь вы просили фамилию жены?» — сказали ему. С тех пор он вынужден ходить с этой фамилией. Случай, в общем-то, обычный, но чем-то он растрогал меня.

В театре Леха держался отменно. Прямо с порога завел речь, что всякий истинно интеллигентный человек должен ходить в помещении в ушанке. Всюду замелькали ушанки. Народ тут оказался сообразительный. На площадке второго этажа попался и скромно поклонился молодой человек в шапке с накрепко завязанными ушами. Леха благосклонно подозвал его к себе, расспросил, кто он такой, к чему стремится. Тот скромно отвечал, что фамилия его Ясномордцев, он уже два года после института числится режиссером, но самостоятельной работы пока не получил (Синякова с ненавистью глянул на него).

— Талантливую молодежь надо выдвигать! — строго глянув на главного, проговорил Леха. Синякова молча поклонился. Мы последовали далее. — Кстати — ваш новый заведующий литературной частью! — вдруг вспомнив обо мне, проговорил Леха. Синякова с ненавистью глянул на меня и поклонился еще более молча.

Когда мы, оглядев буфет, снова спустились в холл, над гардеробом уже появилась молодецкая надпись: «Головных уборов гардероб не принимает!»

— Я думаю, мы сработаемся! — благожелательно глянув на главного, произнес Алексей.

Где все взяли столько ушанок — было неясно, видно, разорили какой-то спектакль о войне. Я единственный

вне шапки, выглядел нонсенсом, но моя близость к Лехе оберегала меня. Синякова тоже надел ушанку, но из пижонистой замши, и уши принципиально не завязал, чтобы выглядеть независимо. Мы проследовали в ложу.

— «Отелло» — наш лучший спектакль! — наклонившись к Лехе, прокричал Синякова. Поскольку все были в ушанках, приходилось кричать.

Мне, как новому заведующему литературной частью, было интересно, выйдет ли Отелло в ушанке, но Ясномордцев, назначенный сопостановщиком, нашел оригинальное и тактичное решение — Отелло, разминая пальцы, все время мял ушанку в руках. В минуты душевных потрясений он чуть ли не раздирал ушанку на части. Я, как верный уже царедворец, покосился на Леху: не покажется ли ему это крамолой? — но тот взирал на происходящее благосклонно и я успокоился.

Перед самым удушением Отелло с треском порвал ушанку, оттуда вывалилась серая вата (режиссерская находка!). Леха, видимо, потрясенный, неподвижно смотрел на сцену, потом вдруг сорвал с себя ушанку и тоже разорвал ее пополам. Окаменев, Отелло стал смотреть в ложу — решив, видимо, что Леха отнял у него главную роль для себя. Сообразительный осветитель перевел луч с Отелло на Леху — но Леха, не обращая внимания ни на кого, в отличие от Отелло, весь белый, терзал свою шапку на куски. Ключки ваты он кидал в изумленный зал — но вот вата кончилась и премьер, ссутулившись, удалился во тьму. Я нашел его в бархатном закутке. Постаревший лет на сто, он сидел в кресле, держа пустую шапкинужу кожуру.

— А... деньги где? — выговорил я.

Он, неподвижно глядя в точку, ничего не ответил. Видно, дама, похитившая его одежду, заодно произвела и трепанацию шапки.

— Ну — если это они устроили! — Леха, налившись вдруг ненавистью, рванулся на сцену.

— Ты что — сбрендил? — остановил я его. — Откуда они про содержимое твоей шапки могли знать?

— А почему же они тогда... тоже шапки одели?

Я пожал плечом.

— А эта... откуда могла знать? — обессиленно проговорил он.

— Интуиция... опыт, — предположил я.

Занавес на сцене медленно опустился, действие заглохло само собой, не в силах выдержать соперничества с реальными трагедиями реальной жизни.

Мы побрели из театра. Он нес ненужную уже шапку в ненужной (или нужной?) руке.

— Вот так вот проходит слава! — скорбно произнес он. Я, впрочем, не совсем понял, когда была слава, у кого и какая.

Все понуро шли за нами с шапками на головах — хотя шапки в данном случае, может, уместнее было бы снять? Леху, естественно, это раздражало, Лехе, естественно, мерещилось, что в шапках у них полно денег.

— А ну — геть отсюда! — рявкнул он. Лицедей отстали. — Гехе звоню — пусть разбирается! — он рванулся к телефонной будке.

Через четверть часа мы сидели в приемной Хухреца. Прежде я не видел его, поэтому естественно волновался. Я старался вспомнить — что слышал от Лехи. Конечно, не только тяжелое школьное детство объединяло их — кроме того, они служили вместе во флоте, а главное — оба занимались спортом, а именно спорт отбирает людей, жаждущих любым путем сделаться первыми.

Мы вошли.

— ... А я ее за человека держал! — выслушав бесвязный рассказ Лехи, произнес Хухрец. — Дай, думаю, с корешем познакомлю, чтобы не скучал — а она, значит, за старое! — Хухрец потемнел лицом. — Ну что же — как говорится, будем карать! — он нажал клавишу на одном из телефонов. — Машину к подъезду! — обронил он.

Поездка эта отпечаталась в моем мозгу крайне неотчетливо — события были настолько странными, что плохо укладывались в голове. Шофер на секунду притормозил перед чугунными воротами какой-то усадьбы — через мгновение ворота были распахнуты. Скрипя тормозами, резко сворачивая, мы мчались среди каких-то бледножелтых флигелей.

— Какое-то ободранное заведение! — чувствуя себя уже причастным к красивой жизни, пренебрежительно думал я. — Могли бы и отремонтировать!

В узких проулочках было уже темно. Вот рябой свет фар высветил на глухой стене странную надпись: «Выдача вещей». Шофер заложил очередной лихой вираж, Хухрец радостно загоготал, буквы исчезли. Наконец, свет фар

уперся в какую-то глухую чугунную дверь. Водила нетерпеливо засигналил. Послышался тягучий, медленный скрип. Полоска тусклого света озарила нас. Какой-то абсолютно пьяный человек в клеенчатом фартуке дурашливо поклонился до земли, когда мы входили.

Помещение представляло собой склад, вернее, свалку всякого хозяйственного барахла — сломанные стулья, покрашенные белой краской шкафы, прислоненные друг к другу панцирные кроватные сетки. Посреди всей разрухи красовался старинный стол с львиными лапами — Хухрец по-хозяйски уселся на него.

— Где сама? — спросил он клеенчатого.

— Счас придет! — как-то двусмысленно улыбаясь, ответил тот.

Некоторое время спустя из мглы появилась тучная женщина в грязном белом халате, с большим пористым лицом и пронзительными глазками. Увидев ее, Леха вскочил и окаменел, как изваяние.

— А... суженый! — презрительно глянув на Леху, проговорила она.

Леха побелел еще больше.

— Познакомься — это наша Паня Тюнева! — Геха Хухрец зачем-то представил хозяйку мне.

Я молча поклонился. Мне не совсем были ясны мотивы нашего пребывания здесь — но я был в незнакомом мне городе, в отрыве от привычной мне жизни — может быть, тут так полагалось проводить вечера?

— Негоже пустым столом гостей встречать! — рявкнул Геха.

Хозяйка повелительно глянула на клеенчатого — тот скрылся.

— Ну — так что скажешь батьке? — сверля хозяйку взглядом, проговорил Хухрец. — Я тебя с лучшим моим корешем познакомил (он кивнул на смертельно бледного Леху), а ты что творишь?!

— А что я творю?! — кокетливо поведя могучим плечом, проговорила Паня.

— А ты не знаешь?! (разговор Христа с Магдалиной). Человек к тебе всей душой — а ты шестьдесят пять тысяч схрямзила у него?

— А это еще надо доказывать! — нахально проговорила она.

— Чего доказывать? — продолжал воспитательную



работу Хухрец. — Тут, как говорится, и к гадалке не надо ходить: кроме тебя в номере не был никто!

— Мало ли куда он в шапке своей паштал! — ответила Паня.

— Откуда ж известно тебе, что они в шапке были? — припечатал Хухрец. Паня осеклась. — Этого мало тебе? — Хухрец царским жестом обвел помещение. — Сколько в месяц имеешь-то тут? На одной одежонке, небось... — он кивнул на несколько детских пальтишек, раскиданных по стульям.

— Да что я имею-то? — заверещала она. — Это, что ли, богатство-то? — она подняла двумя пальцами потрепанное детское пальтишко и швырнула обратно... (Что она — ест, что ли, детишек? — мелькнула мысль). Засунул в дыру поганую, нашел, как избавиться! — они скандалили, не таясь от Лехи, который, как-никак официально считался Панькиным хахалем.

Положение спас клеенчатый: сыпанул на стол несколько грязных картофелин, поставил закопченную кастрюлю с пригорелой кашей. Угощение было странно-ватым, но и все вокруг было настолько необычным, что я не удивился.

— И это все? — кинув на Паньку соколиный взгляд, воскликнул Хухрец. — А младенцовки не поставишь, что ль?

— А это еще что? — самые жуткие предположения колыхнулись во мне.

Клеенчатый впился взглядом в Паню — та, секунду помедлив, кивнула. Клеенчатый скрылся, потом возвратился, прижав к фартуку липкую пятилитровую банку с мутной жидкостью. Он расплескал ее по детским железным кружечкам: на моей кружечке был зайчик, на Лехиной — ягодка, на Гехиной — слоненок.

— Ну — за то, чтобы еще не видеться лет пять! — Хухрец захохотал, схватил зубами сырую картошку и радостно захрустел.

Судя по вкусу — и действию — в кружечках оказался спирт, но какой-то нечистый. Веселье было тоже каким-то мутным. Хухрец с хрустом пожирал картошку и громко хохотал. Паня, почти полностью закрывая Леху, сидела у него на коленях, и кокетливо ероша его волосенки, игриво повторяла фразу, от которой он вздрагивал и бледнел:

— А без шапки-то лучше тебе!

Я, взяв кастрюльку с пригорелой кашей, стыдливо отошел. Дабы устраниться от происходящего, стоял, уставясь в стену, и вдруг внимание мое привлек разрисованный лист. Я подошел поближе... «Обязательства работников АХЧ... Детской инфекционной больницы № 2». Ком каши колом встал в моем горле. Я зажал рот рукой. Вот оказывается, где происходит наше гулянье! Я глянул на Хухреца. Он, словно фокусник, жрал одну сырую картофелину за другой.

— Но ведь это... детский продукт! — еле слышно проговорил я.

Паня слегка развернулась — один ее провзительный глаз смотрел на меня.

— Серенький... разберись! — кратко скомандовала она клеенчатому.

Тот подошел ко мне и деловито ткнул в глаз. Я сполз по стене на цементный пол. Кастрюлька покатилась. Все дальнейшее воспринималось мной еще в большем тумане, чем раньше. Передо мной появились ноги Хухреца.

— А ты — орех! Крепкий орех! — прогремохал его голос. — Но я тебя раздавлю! — потом, судя по ногам, он повернулся. — Все! Едем в черепахарий! — скомандовал он.

Я поплелся за ними. Не оставаться же мне было в больнице — непонятно в качестве кого?

Все вместе мы уселись в машину. Паня по-прежнему плющила Леху своим весом. У меня на коленях оказался клеенчатый. Правда, вел он себя довольно прилично, один только раз он шепнул, на повороте склонившись ко мне: «Пикнешь — горло перегрызу!» — и это все.

Показался черепахарий — гигантское круглое строение. Существование его в городе, где многого необходимого еще не было, казалось странным. Мы вошли внутрь — швейцар в форме Нептуна приветствовал нас. Огромный стеклянный цилиндр занимал почти все пространство, вокруг него вились тропические заросли, в них и был накрыт огромный стол: кокосы, ананасы, дорогостоящий коньяк «Онисели». Черепахи с ужасом взирали на нас через стекло.

— Консервы с цунами открывать? — спросил служащий.

— Открывай! — вскричал Леха.

Консервы с цунами сразу же залили нас с головы до ног.

— Ты угря хоть ел? — дружески бубнил мне Хухрец. — На небе такой постфактум наблюдается — полный отпад!

— Какое ж я это сделал дело, что гуляю так смело? — успел подумать я, и меня снова накрыло волной.

Потом началось катание на черепахах: сперва они везли по поверхности, потом вдруг резко, без предупреждения, уходили вглубь — долго, без малейшего дыхания приходилось плыть под водой, держась за черепаху. Вот из муты появилось видение: сидя на черепахе, приближается Леха. Лицо его странно сплюсилось под водой, глаза остекленели, длинные волосы беззвучно развевались.

Потом за стеклянными стенами, которые отгораживали нас от действительности, как чудовищных рыб, стало рассветать. В зубах у меня оказался кусок тухлой осетрины, которую, видимо, берегли для более важных гостей и, не дождавшись, скормили нам. Я с наслаждением выплюнул ее. После всех этих изысков и безумств хотелось чего-то простого и надежного. Я выскочил из черепахария, жадно вдохнул морозный воздух, почувствовал щекочущий поздри запах свежего хлеба и устремился туда. Ворвался на хлебозавод, погрузил несколько машин, и в качестве платы разорвал одну горячую буханку и съел ее. Довольный, с гудящими мышцами, я медленно брел к гостиной. Леха, Геха и Панька Тюнева, наподобие восковых фигур, сидели в номере. Их озарял кровавый рассвет. Под окнами пронзительно верещал из какой-то машины сигнал угона — но никого почему-то не беспокоило это.

— А... отличник наш пришел! — со слабой, но прерзительной ухмылкой выговорил Хухрец.

Что тут такое Леха успел наговорить, почему меня так уничижительно называли отличником — я не знал.

— Подумаешь, нашли уж отличника! — пробормотал я. — Всего год-то отличником и был!

При этом я не стал, естественно, объяснять, что год этот был как раз десятый, что и позволило мне сходу поступить в вуз — их, я чувствовал, такие подробности могли только раздражать.

— Ну, хватит языком-то трепать! — сурово произнесла Паня. Она успела уже где-то переодеться в строгий темный костюм. — За дело пора! В театр!

— Мне тоже не худо бы в театр! — подумал я.

Все поднялись.

В театре нас уже ждали — вся группа собралась в зале для совещаний. Наше появление было встречено хмурыми взглядами, но пронесся и ветерок аплодисментов — приятный озноб пробежал по коже. Усевшись, мы долго значительно молчали. Шепот в зале утих. Хухреп неторопливо поднялся. Тяжесть, весомость каждого его жеста буквально парализовали аудиторию — чувствовалось, что от движения его руки зависит участь каждого сидящего здесь.

— Я думаю, нет нужды, — заговорил он, — представлять вам нового управляющего культурой нашего города — вы уже имели удовольствие лицезреть его не далее, как вчера!

Леха на удивление вальяжно склонил голову.

— Думаю, что в тесном контакте с Алексеем Порфирьевичем вы добьетесь новых успехов в вашей работе. ... Хлопали все те же.

— Разрешите, пользуясь случаем, представить вам нового заведующего литературной частью вашего театра...

Я медленно стал приподниматься.

— Павлину Авскентьевну Тюневу! — возгласил Хухреп.

Паня приподнялась, кинула тяжелый взгляд в зал. Поднялся ропот, потом снова зашелестели аплодисменты.

Я резко вскочил на ноги, потом сел.

— Что ж такое? — зашептал я сидящему рядом Лехе. — Ведь я же был заведующим литературной частью — как же так?

— Так надо, старик! — тихо ответил Леха. — Она мне за это шестьдесят пять тысяч обещала вернуть!

Ну, дела! Я вытер холодный пот. Поднялся главный. В своей речи он попытался объединить какой-то логикой все странные события последних дней — но сделать это было крайне трудно — зал скучал.

— Думаю — к истокам надо вернуться! — нетерпеливо поглядывая на часы, проговорил Леха.

Те же самые, что и всегда, бурно захлопали.

— Курочку Рябу, что ли, будем ставить? — слышался молодой дерзкий голос.

— Предложение, кстати, не столь глупое, как кажется! — проговорил Леха.

Снова те же самые заплотировали.

— Кстати, какая-то глубина тут есть! — раздумчиво, но громко проговорил Синякова. — Разбитое яйцо — это ли не повод для разговора о бережливости?

В зале снова захлопали. Вскочил Ясномордцев.

— Я удивлен, — заговорил он, — как человек, числящийся руководителем нашего театра, может мыслить так банально и плоско! Рыба — эта старая, но вечно юная сказка дает нам почву для гораздо более значительных и актуальных мыслей (Синякова с ненавистью смотрел на него). Мне кажется, что разбитое яйцо, точнее, яйцо, которое ежесекундно может разбиться — это не что иное... — он выдержал паузу, — как модель современного мира, который в любое мгновение может взорваться!

— Что ж... современная трактовка! — поднял голову задремавший Хухрец. Затрещали аплодисменты.

— Надеюсь, хорошенькая курочка в коллективе у вас найдется? — покровительственно обронил он.

Подхалимы захохотали.

— Неважно себя чувствую, — прошептал я Лехе и быстро вышел.

Я быстро стогнал на хлебозавод, погрузил две машины, пожевал хлеба, вернулся. Конечно, я понимал, что делать мне там абсолютно уже нечего — просто интересно было посмотреть, чем все это кончится.

— Не сон ли это?! — мысленно воскликнул я, когда вернулся.

... Леха, осоловевший от бессонной ночи, покачивался за столом, снова в шапке, и все перед выходом из зала бросали в прорезь шапки пятак, как в автобусную каску — судя по звуку, там было уже немало. Паня строго следила, чтоб ни один не прошел, не бросив мзды. Время от времени обессиленный Леха с богатым звоном ронял голову на стол.

— Тяжела ты, шапка Мономаха! — еле слышно бормотал он.

Тут же к столу кидались Синякова и Ясномордцев, с натугой поднимали корону и возлагали ее на голову вострепенувшегося Лехи. Вдруг взгляд его прояснился. Он увидел покрашенный белой масляной краской сейф, быстро направился к нему, обхватил, встряхнул, как друга после долгой разлуки.

— Да нет там ничего, только печать! — пробормотал Синякова, отводя взгляд.

Леха перевел горящий взгляд на Ясномордцева.

— Шестьдесят тысяч девяносто рублей одиннадцать копеек! — отчеканил тот.

— Молодец, далеко пойдешь! — Леха хлопнул его по спине...

— Ключа нет! — проговорил Синякова. — Директор в отпуске, ключ у него.

— Так... ты здесь больше не работаешь! — проговорил Леха. Повернулся к народу. — Пиротехник есть?

— Так точно! — поднялся человек с рваным ухом.

— Сейф можешь рвануть?

— А почему ж нет?

— Тащи взрывчатку! — скомандовал Леха.

Я сам не успел заметить, как, распластавшись, встал у сейфа.

— Его нельзя взрывать!

— Почему это?

— Там может быть водка!

Пиротехник и Леха сникли.

Концовка совещания прошла вяло. Все разбились на группки. Рядом со мной оказался Синякова, почему-то стал раскрывать передо мной душу, рассказал, что у Хухреца в городе есть прозвище — Шестирылый Серафим, а что сам себя он давно не уважает — с того самого момента, как дрогнул и заменил свою не очень красивую, но звучную фамилию Редькин на женскую — с тех пор почувствовали его слабинку и делают с ним все, что хотят.

Потом появились Леха и Хухрец.

— Надоел мне этот театр! — заговорил Леха. — Я ведь, наверно, не только им в городе заведую?

— Да, с десятков заведений еще есть! — хохотнул Хухрец.

— Ну так поехали! Здесь остаешься командовать! — приказал Леха Пανε.

Машины у подъезда не оказалось — что возмутило Леху, Хухреца и, как ни странно, почему-то меня. Если эти вот ездят на машине — то почему я должен быть лучом света в темном царстве? Отказываюсь!

Машина, правда, тут же подошла.

— Все халтуришь? — усаживаясь, сказал шоферу Хухрец.

- Стараемся! — усмехнулся тот.
- Куда поедет-то? — икая, проговорил Леха.
- Да, думаю, женский хор проверим.
- Можно, — кивнул Леха.

Мы вошли в ослепительно белый зал. На сцене уже был выстроен хор — женщины в длинных белых платьях. К нам кинулся дирижер в черном фраке и с черными усами.

— Пожалуйста, гости дорогие! — на всякий случай он ел глазами всех троих. — Что будем слушать?

— Да погоди ты... не части! Приглядеться дай! — оборвал его Леха.

Дирижер умолк. Леха ряд за рядом оглядывал хор.

— К плохим тебя не приведу! — ухмыльнулся Хухрец.

Мой взгляд вдруг притянулся к взгляду высокой рыжей женщины с синими глазами — не стану выдумывать, но по-моему мы оба вдруг вздрогнули.

— А чего они словно в саванах у тебя? — повернувшись к дирижеру, проговорил Леха.

— Да как-то не доглядели! — торопливо проговорил дирижер.

— Ножницы неси! — икнув, проговорил Леха. — Мини будем делать!

— С-скотина! — вдруг явственно донеслось со сцены.

Все застыли. Я не оборачивался, но знал точно, что произнесла это моя. Сладко заныло в животе. «Вот влип!» — мелькнула отчаянная мысль.

Дирижер испуганно взмахнул руками. Хор грянул. Сразу чувствовалось, что это не основное его занятие.

После концерта Хухрец и Леха безошибочно подошли к ней.

— С нами поедешь! — сказал Леха.

— Не могу! — усмехнулась она.

— Почему это?

— Хочу тортик купить, к бабушке пойти! — издевательски проговорила она.

— Эта Красная Шапочка идет с тортиком к бабушке уже третий год! — хохотнул Хухрец.

— Пойдемте! — сказал я ей.

Она глядела на меня неподвижно, потом кивнула. Под изумленными взглядами Лехи и Хухреца мы прошли с

ней через зал и вышли. Взбурдаженный Леха догнал нас у служебного выхода.

— Ну хочешь... я жену свою... в дурдом спрячу? — крикнул он ей.

— Странные он предлагает соблазны! — подумал я.

Она без выражения глянула на Леху и мы вышли.

Дом ее поразил меня своим уютом.

— Так ты чего на этой должности подвизаешься? — удивился я. — У тебя муж, видно, богатый?

— Да я бы не сказала! — усмехнулась она. — Сама зарабатываю!

— Чем?

— Бисером вышиваю, в одном кооперативе. Одна вышивка — тысяча рублей.

— Одобряю. А зачем же тогда... в этом хоре шьешься?

— А может нравится мне, это дело! — с вызовом проговорила она.

— А... муж все-таки есть?

— Заходит... Сын сейчас придет.

— О! — я причесался. — А сколько ему?

— Шестнадцать.

Зазвонил телефон. Она подняла трубку, ни слова ни говоря, послушала, и выдернула шнур из гнезда.

— Странно ты разговариваешь! — удивился я.

— Да это дружок твой звонил. Сказал, что если я соглашусь, даст мне пачку индийского чая.

— Да-а... широкий человек! — подумал я. — Ему что пачку чая подарить, что жену в дурдом посадить — все одно.

— Вы, наверное, торопитесь? — заметив, что я задумался, сказала она.

— Ну, ясно, я ей не нужен! — горестно подумал я. — Конечно, ей нравятся молодые и красивые — но ведь старым и уродливым быть тоже хорошо! Не надо только слишком многого хотеть.

Неожиданно хлопнула дверь — явился сын.

— Боб, ты будешь есть? — крикнула она.

— Судя по ботинкам сорок пятого размера в прихожей — у нас гость. Хотелось бы пообщаться.

— Это можно! — поправляя галстук, я вышел в прихожую. Больше всего из ребят мне нравятся такие — очкастые отличники, не лезущие в бессмысленные свалки,



но все равно побеждающие. Может, я и люблю их потому, что сам был когда-то таким — и таким, в сущности, и остался. Жизнь, конечно, многому научила меня, в разных обстоятельствах я умею превращаться и в наглеца, и в идиота, но оставшись наедине с собой, снова неизменно превращаюсь в тихоню-отличника.

Мы поговорили с ним обо всем на свете, потом Боб сел ужинать, и я ушел.

Леха одиноко сидел в номере, смотрел телевизор. Телевидение показывало бесконечный сериал «Про Федю» — как тот приходит домой, снимает пальто, потом ботинки, потом идет в туалет, потом в ванную...

— Все! Глубокий, освежающий сон! — радостно проговорил я, и вслед за Федей улегся. Некоторое время в душе моей еще боролись Орфей и Морфей, потом Морфей безоговорочно победил, и я уснул.

Проснулся я от того, что Леха тряс меня за плечо:

— Просыпайся, счастливчик! Долго спишь!

— А сколько сейчас времени? — пробормотал я.

— Самое время! — Леха торжествующе вышагивал по номеру. — ... Твоей-то укоротили язычок — из хора вычистили ее!

— Как?!

— Обыкновенно. Дирижер толковым малым оказался — с ходу все просек.

Леха торжествовал. Я звонил ей по телефону — телефон не отвечал.

В комнате стояли два ведра пятак (подарки восхищенных аборигенов?). Я подумал, что Леха будет носить их на ушах, в качестве клипс, но он хозяйственно высыпал их через отверстие в шапку.

Шея у него уже стала крепкая, как у быка.

Он бросил горделивый взгляд в зеркало. Он явно считал разбухшую свою шапку лавровым венцом, который местные музы возложили на него в благодарность за умелое руководство.

На лестнице нам встретились несколько вагонновожатых с ведрами пятак — Леха благосклонно принял на себя «золотой дождь» — дело явно было поставлено с размахом. У гостиницы стояла очередь трамваев, набитых людьми, из них выходили вагонновожатые с ведрами...

— Не забывает Геха кореша! — размазывая слезы, проговорил он.

Потом мы были в бане, где Леха прямо сказал старику-гардеробщику, что шапку Мономаха он снимать не собирается — впрочем, гардеробщик и не особенно удивился — многие уже мылись, не снимая шапок.

— Мой бывший завлит! — высокомерно представил меня Леха многочисленным подхалимам, мылившим его. Впрочем, в бане было холодно — праздник не получился.

Хухреца на рабочем месте не оказалось, после долгих поисков мы нашли его в вахтерской, где он скрывался от многочисленных посетителей. Он злобно назвал происходящее «разгулом демократии».

— Достали вопросами! Разговорились вдруг все! — измученно пробормотал он, усаживаясь в машину. Мы ехали вдоль тротуаров, запруженных народом, все поднимали руки, умоляя их подвезти — видно за время своего руководства «батька» сумел полностью развалить работу транспорта.

Мы устало подъехали к ресторану.

— Ну — так покажем ему его королеву? — глумливо глянув на меня, сказал Леха Хухрецу.

— Покажем... ненадолго. Самим нужна! — ухмыльнулся Хухрец.

Швейцар услужливо распахнул дверь. Мы вошли в зал. Все сидели за столами в пальто и шапках — так было модно, и кроме того, тепло — лопнули трубы, город не отапливался, изо ртов посетителей шел пар. Оркестр, потряхивая погремушками, исполнял модную в том сезоне песню: «Без тебя бя-бя-бя!» Она стояла у микрофона и, развязно кривляясь, пела. Она была почти обнажена. Видно, было решено резко догнать запад, хотя сы по сексу. Руками в варежках все глухо отбивали такт. Увидев нас, она стала кривляться еще развязней.

— Теперь, я думаю, ломаться не будет! — по-хозяйски сказал Хухрец. Как старый меломан, он выждал паузу в исполнении, поднялся на сцену и потащил ее за руку вниз. К счастью, у нее была и вторая рука — раздался звонкий звук пощечины.

— Ча-ча-ча! — прокричали музыканты.

Хухрец замахнулся. Я сорвал шапку с Лехи и метнул в Хухреца. С тяжким грохотом Хухрец рухнул.

Служебной лестницей мы сбежали с ней вниз, одеться она не успела, я накинул на нее свое пальто.

У выхода меня ждал «газик» с милиционером.

— Старшина Усатюк! — откозырял он. — Приказано вас задержать для доставки в суд — на вас поступило заявление о нарушении общественного порядка в общественном месте!

— И что ему будет? — воскликнула она.

— Да, наверное, сутки — прокашлявшись на морозе, сказал Усатюк. — А вы, гражданочка, поднимайтесь обратно! — он отобрал у нее мое пальто.

Суд прошел гладко — без свидетелей, без вопросов, без бюрократических и каких-либо других формальностей. Судьей была Тюнева (или похожая на нее?). Я с огромным интересом наблюдал за происходящим — ведь скоро, наверное, такого не увидишь?

Работал я на химическом комбинате, разбивая ломом огромные спекшиеся куски суперфосфата. Вдруг хлопнула дверца уже знакомого и родного «газика», Усатюк высадил Леху... Вот это друг — не бросил в беде!

Мы сели покурить на скамейку.

— Геха, подлец, засадил меня! — хрипло заговорил Леха. — Певичка эта, вишь ли, понадобилась ему самому! Ну, ничего, я такую телегу на него накатал, такое знаю про него — волосы дыбом встанут!

— Не сомневаюсь! — подумал я.

Леха, с обычной своей удачливостью, кинул окурок в урну, оттуда сразу же повалил удушливый дым. Некоторое время мы, надсадно кашляя, размазывая черные слезы по лицу, пытались еще говорить, но потом я, не выдержав, сказал:

— Извини, Леха, больше не могу! Должен немного поработать!

Я пошел к суперфосфатной горе. Хлопнула дверца — я обернулся. Из такси, пригнувшись, вылезала она. Близоруко щурясь, она шла через территорию, перешагивая ослепительными своими ногами валяющиеся там и сям бревна и трубы. Чтобы хоть немножко успокоиться, я схватил лом, и так раздолбал ком суперфосфата, что родная мать — химическая промышленность не узнала бы его.



## Жизнь удалась

### I. Воспоминание

**В**ечером я сидел дома, и вдруг телефон, проржавевший от безделья, задребезжал.

— Алле! — голос Дзыни раздался. — Ты, что ли? Все молчишь? Несчастье случилось, Леха утонул. В Бернгардовке

я, на спасательной станции. Приезжай!

Та-ак! Чего-то в этом духе я ждал! Примерно так все это и должно было кончиться...

Я стоял на платформе. Примчалась электричка, прожектором пожирая снежинки.

Я нащупал скамейку с печкой. Вагон дернулся...

Я сидел, пригревшись, и вспомнил вдруг одно утро, — какое теплое оно было!

Мы трое, Леха, Дзыня и я, шли по улице. Было тихо, только мычали голуби, будто кто-то тер мокрой губкой по стеклу. Из парадной далеко впереди показался человек с тазом горячей воды. Из таза валил пар. Человек пересек улицу и скрылся в доме напротив.

Мы пришли на вокзал. В вагоне электрички было свободно.

Постояв, электричка тронулась.

Потом мы с грохотом проехали мост. Вдруг в вагон вбежал человек.

— Опасность! — закричал он. — Опасность! Мы идем по одному пути со встречным!

С этим криком он пробежал дальше. А мы посидели молча, потом сощурили глаза и увидели, как по проходу вагона, деловито сопя, идет маленький встречный поезд, высотой со спичечный коробок.

Два правила у нас было тогда: «Все, что можно придумать, можно и сделать!» и второе: «Нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать за час!»

Потом помню только: мы лежим на каком-то причале, голыми спинами на шершавых горячих досках, закрыв глаза, время от времени чувствуя через доски быстрые дребезжащие удары пяток. Потом доски выпрямляются, пауза... Несколько ледяных капель шлепаются на живот, кожа живота блаженно вздрагивает.

Говорят, каждый день укорачивает жизнь. Не знаю. Такой день, может, и удлиняет!

... С Лехой, кузнецом своего несчастья, познакомился я давно, на первом курсе. Потрясающий был человек. Завтрак всегда с собой приносил, в аккуратном белом мешочке, и в перерыве между лекциями засовывал голову в мешок — чтобы никто ничего не видел — и все съедал.

Колоссально мне понравилась эта его привычка.

Однажды, мы не были еще с ним знакомы, оказался я возле него на лекции. Вижу вдруг: по тетрадке моей муравей бежит. До края страницы добежал, голову вниз свесил, усами пошевелил и быстро к другому краю страницы побежал. Сбросил я его, гляжу — по другой странице трое уже бегут. Покопался на Лехину тетрадь — она вся почти муравьями покрыта! Дальше посмотрел: целый муравьиный шлях через всю аудиторию тянется: от двери до потолка, мимо окна к нашему столу.

Леха заметил мой взгляд, ухмыльнулся и говорит:

— Это мои ребята. Деревня наша так и называется — Мураши. И вот сюда даже за мной прибегли.

И действительно, где мы потом с ним ни были, всюду нас муравьи сопровождали!

В Эрмитаже — мчатся по уникальному паркету, в театре — лезут на четвертый ярус по бархату.

И везде здорово они нам помогали. Кто-нибудь нехорошее про нас скажет или подумает даже — в ту же секунду бешено начинает чесаться!

Честно говоря, приятно было на экзамене увидеть вдруг, как муравей по носу экзаменатора ползет: не робей, мол, если что!

Потом Дзыня к нам присоединился. Сначала Леха не хотел брать его в нашу команду, все спрашивал, морща нос:

— Дзыня этот, из простой, кажется, семьи?

— Да, он из простой семьи, но отец его известный дирижер.

— Да? Значит я перепутал. Это мать его, кажется, совсем простая?

— Да, она простая, но она известная балерина.

— Неужто?

Все-таки полюбили они друг друга. Да и трудно было Дзыню не полюбить — таких людей теперь просто нет. Помню, как первый раз он в гости ко мне пришел... Семь кусков сахара в стакан открыто положил, а восьмой забросил незаметным баскетбольным движением из-за спины. После его ухода смотрю: две самые замечательные книжки увел. Третью почему-то не решился увести, но всю зато злобно искусал. Удивительный человек! На всех языках говорил, включая несуществующие, великолепно на ударных играл (за это его, наверное, Дзыней и прозвали) и параллельно с нашим вузом в Консерватории еще занимался. Исключительный голос у него был. И слух. Запоем, бывало, — все цепенеют. Иной раз ему даже из других городов звонили, по автомату, чтобы только пение его послушать, пятнадцатикопеечные одну за другой швыряли в автомат, а Дзыня на другом конце провода ртом их хватал, не переставая петь. На следующий день, ясно, тратили все.

Замечательно мы тогда жили: легко и в то же время наполненно. Однажды, помню, спорили, про все забыв,

всю ночь до утра — обратимо ли время? Утром выходит Леха из парадной и видит — время идет назад: редкие прохожие в переулке пятятся, такси вдруг проехало задом наперед. Леха долго стоял оцепенев, а мы с Дзыней в булочной напротив подышали от хохота.

Леха, он и тогда уже немножко занудой был, начинал иногда вдруг придирааться к чему-нибудь, ныть:

— ... Ну почему ты говоришь, что все поголовно в тебя влюблены?

— А что ли нет? Ира влюблена, Галя влюблена, Наташа влюблена ... только вот Майя, как всегда, немного хромает.

— И ты будешь утверждать, что в тебя, в этих вот носках, кто-нибудь влюблялся?

— Конечно! До безумия.

— Брось врать-то. Посмотри лучше, как ты живешь!

— Как я живу? Нормально. Кресла утопающие. Сближающая тахта. Брюки с капюшоном. Чем плохо? Обошью еще свою полдубленку мехом, утреннюю зарядку делать начну, и мы еще поглядим, кто кого, товарищ Онассис!

— Нет, — Леха опять вздыхает, — мы как-то не так живем. Хочется чего-то совсем другого — большого и светлого.

— Понял! — говорю.

Пошел я в другую комнату, вынес новые ботинки в коробке.

— Вот! — говорю, — для себя купил, но раз уж так тебе этого хочется, бери!

— Как ты мог подумать? — Леха оскорбился.

Однажды позвонил я по телефону одной знакомой, она мне:

— Приезжай вообще-то... Только у меня жених мой сейчас, лесничий.

Приехал. Посреди комнаты на стуле хмуро сидит лесничий, почему-то в тулупе, с завернутой в окровавленную газету лосиной ногой... Сидим так, молча. Час минул, полтора... Потом лесничий вдруг вскакивает — хватать лосиной ногой меня по голове!

— Так?! — я тоже вскочил.

— Так! Дуэль?

— Дуэль!

— Завтра?

-- Завтра!

— В четыре утра на Комендантском аэродроме?!

— Не, в четыре я не проснусь. В пять!

— По рукам!

Приехал я после этого к Лехе, уговорил его моим секундантом быть, потом к Дзыне заехали, рассказали.

— Тогда, может быть, в мягкой манере? — радостно потирая руки, Дзыня говорит.

— Так ведь денюх же нет! Де-нюх! — Леха вздохнул.

— Это необязательно! — Дзыня говорит. — Видели, в парадной внизу старик грузин с бочонком вина? К сыну приехал. И со всеми, кто в парадную входит, знакомится и — хочешь не хочешь — ковш вина.

— Да мы уже познакомились с ним! — Леха стыдливо говорит.

— Это несущественно! — Дзыня ответил.

Привязали быстро к батарее на кухне веревку, спустились с пятого этажа, вошли в парадную, познакомились, выпили по ковшу.

Пулей наверх, снова спустились по веревке, познакомились, выпили по ковшу вина.

Потом уже веревку отбросили, прямо прыгали из окна для экономии времени.

Проснулся я на какой-то скамейке. Возле головы мокрый темный пень, обсыпанный сиренью. Голуби отряхивают лапки. Еж с лягушкой в зубах вдруг подбежал:

— Не желаете?

— Нет. Пока нет.

— Освежает.

— Нет. Пока не нужно. Спасибо.

Поднялся энергично, Леху на уютнейшей полянке нашел. Рядом милиционеры на коленях пытаются его разбудить, сдувая ему на лицо пушинки с одуванчиков.

— Нет, — с огорчением один говорит. — Не просыпается!

Стряхнули землю с коленей, ушли.

Разбудил я Леху своими силами, рассказал, как милиционеры пытались его будить.

— Не может этого быть! — Леха говорит. — Нетипично это.

— Ну и пусть, — говорю. — Наша, что ли, забота, чтобы типично было? Главное — хорошо!



Потом к Дзыне направились, — открыл он нам, энергичный, подтянутый, даже загоревший.

— Чайкю?

— А сколько времени-то? — испуганно вдруг Леха спросил.

— Половина шестого примерно, — Дзыня отвечает.

— У тебя же в пять дуэль! — Леха с ужасом ко мне поворачивается. — Ты что же это, дуэль проспал?

— Мать честная! — говорю. — Проспать, фактически, свою смерть! Никогда себе этого не прощу! Нет, ну когда-нибудь, наверно, прощу. . .

— Может, успеем еще? — Леха спрашивает.

— Нет!

— И правильно, — Дзыня говорит. — На такси еще тратиться! Незачем это — самому себе неприятности организовывать за свой счет! Пусть другие этим занимаются, кому деньги за это платят. А мы лучше чайку попьем!

— Не понимаю только я, — Леха бурчит, — где же тогда духовная жизнь: мучительный самоанализ, мысль?

— Мучительный самоанализ, — говорю, — с трех до пяти. А мысль у меня одна: жизнь — это рай. И мне этой мысли вот так хватает! Ведь в жизни как? Что сам придумаешь себе, то и будет! Все сбывается, даже оговорки.

— Ну а вот сейчас как? — снова въедливо Леха спрашивает. — Ни копейки у нас! Это хорошо?

— Нормально, — говорю.

Наутро пью в кухне пустой чай. «Да, — думаю, — видимо, действительно, жизнь сложна!» Вдруг Леха является, совершенно потрясенный. Лезет в кошель и вынимает оттуда сто рублей!

— Откуда?! — в изумлении его спрашиваю.

— Слон дал.

— Как слон? — говорю. — Ничего не понимаю.

— Я сам ничего не понимаю! — Леха отвечает. — Заглянул я случайно в зоопарк. Стою задумчиво перед вольером слона и вижу вдруг — слон улыбается и протягивает мне в хоботе сто рублей!

— Колоссально! Откуда же это у него?

— А на груди у него такая складка, вроде кошеля, — оттуда, наверное, — Леха говорит.

— Да я не о том! Откуда вообще деньги у него?

— Может, на еде экономит?

Задумчиво плечами пожали... Тут звонки раздались. Дзыня появился. Быстро сориентировался:

— Все в зоопарк!

По дороге волновались слегка, что не приглянемся мы с Дзыней слону, на ладошки плевали, волосы приглаживали. Но все удалось, увидел нас слон, улыбнулся и мне и Дзыне тоже по сто рублей протянул!

— Быстро на юг! — Дзыня говорит.

И в тот же день вылетели на юг, — тут, кстати, и студенческие каникулы начались.

Помню, только самолет взлетел, Леха сразу шмыгнул с сумкой в туалет и вышел оттуда в плавках уже, в маске и с трубкой — чтоб ни секунды не терять!

В первый же вечер на танцы отправились. Леха, везет ему, какую-то местную красавицу пригласил — и в первый же вечерок довольно-таки здорово нас побили. С того вечера Леха, будучи человеком принципиальным, каждый день эту площадку навещал. И мы, естественно, с ним — свою ежедневную порцию побоев получали!

И вот идем мы однажды вечером по набережной, глядим, как солнце в море садится, — скоро, значит, на танц-площадку!

— Может, не пойдем сегодня? — я произнес.

— Пожалуйста! — Леха лицо напруг. — Вы, собственно, и не обязаны!

— Ну ладно, — Дзыня говорит, — зачем так ставить вопрос? Но, может, пропустим вечерок? Голова больно гудит.

— Пожалуйста! — Леха говорит. — Я пойду один.

— Но зачем? — говорю.

— А что они подумают про меня?

— Не все ли тебе равно, что эти малознакомые люди подумают про тебя?

— А она? — Леха спрашивает.

— Кто она? Помнишь ли ты ее лицо?

— Это абсолютно неважно! — надменно Леха отвечает.

— Да, — тут я историческую фразу произнес, — четко можно сказать, что ты кузнец своего несчастья!

— Так, — со вздохом Дзыня говорит, — придется каратэ применять!

— Придется, видимо, — согласился Леха.

Занимались они каратэ давно уже. Бегали с Лехой на цыпочках ног и рук, с диким воплем бились с размаху го-

ловой об стену, удары бровями разучивали: левой, левой, потом неожиданно правой.

В номере Дзыня достал из чемодана длинный ларец, черного дерева — батя-дирижер из Гонконга ему привез: на малиновом сафьяне лежат разные приспособления для каратэ. Особенно, помню, меня там жужжалка потрясла: боец крутит ее перед собой, она жужжит и всех, видимо, валит с ног.

Потом Дзыня шкаф распахнул, стал одежду выбирать для битвы. Решил одеться «совсем просто», так он сказал, — строгий джинсовый костюм!

Взяли мы волшебный ларец, но тревога меня не отпустила: не поймут они каратэ!

Так и получилось.

Дали нам, надо сказать, неплохо. Но на этом, к сожалению, история эта не прекратилась.

Леха с девушкой той, из-за которой сыр-бор разгорелся, переписываться стал! Тогда такое было: лишь то считается достойным, что достается с трудом.

И действительно: ничто нам так трудно не досталось, как невеста для Лехи.

Звали ее Дия. Каким-то холодом уже от самого имени веяло! Правда Леха в разговоре со мной легкомысленно ее Дийкой называл, но чувствовалось — это только в разговоре со мной!

Однажды врывается ко мне потный, взъерошенный.

— Ну все! — обессиленный, сел. — Согласилась она! Завтра приезжает!

— Ну, поздравляю тебя! — Лехе говорю.

Кивнул, счастливый, потом озабоченно спрашивает меня:

— Ты человек умный, разбираешься, что к чему. Скажи, куда б ее завтра повести, чем поразить?

— А ты к слону нашему ее отведи! — говорю.

— Точно! — обрадовался Леха.

На следующий день звонит, расстроенный страшно:

— Дийка говорит: «Это абсолютная дичь!»

— Да вы, что ли, ходили уже?

— Нет еще...

— Ну так сходите же! — ему говорю.

Вечером звонит, абсолютно уже убитый, еле говорит:

— Дийка требует... чтоб мы все деньги, взятые у слона... вернули ему, иначе она немедленно уезжает!

— Замечательно, — говорю.

Продали все, что могли, вернули деньги.

Вскоре после этого Леха мне говорит:

— Знаешь, чего мы тут с Дийкой надумали?

— Чего?

— Решили свадьбу нашу у тебя на даче играть!

Честно говоря, для меня это неожиданностью было — что свадьба их у меня на даче будет.

«Ну ладно уж, — думаю, — все-таки он мне друг. Не так много у него радостей в жизни. Пускай!»

Когда я в день свадьбы приехал на дачу, Леха, гордый, а-тю-тю-женный, водил меня по прибраннѣм, украшенным комнатам:

— Красиво, старих? А? Красиво?

Я зато привез массу жратвы, все деньги, можно сказать, stratил. Ладно уж!

Потом гости появились. Какой-то романтик с гитарой. Доманежьевский, литературотоваровед. Еще какие-то. Никто не был знаком ни с Лехой, ни со мной, и никто, главное, и не собирался с нами знакомиться!

Невеста приехала в велюровой шляпке. Где-то на крайнем западе, говорят, снова такие в моду входят, но у нее-то она от позапрошлой моды осталась — это видно!

Ну ладно уж — решил сготовить им грудинку баранью с разварным рисом. Когда я притащил из кухни блюдо, перегородка между столовой и кабинетом была свалена, лежала на полу, гости ходили по помещению туда-сюда.

— Это по договоренности, старих, по договоренности! — Леха залопотал.

Какой я ему еще «старих»? И по какой это «договоренности»? Видимо, не так себя понял!

Потом кто-то столкнул со стула мой пиджак прямо в ванночку с проявителем. В доме воды не было, пришлось бежать чистить пиджак на улицу к колонке. Тут вдруг подошел ко мне какой-то странник, с палкой и бородой (вот это действительно — «старих»!)

— Милок, помоги до дому добраться!

— А где ваш дом-то?

Показал светящиеся маленькие окошки — жутко высоко, видимо, на небе.

— Да нет. Понимаете, не могу. Пиджак вот проявил, надо теперь закрепить.

— Я уж рассчитываю на тебя, милоч.

Что значит — «рассчитываю»? Минуту назад он вообще ничего о существовании моем не знал.

Впился он в локоть мой железными пальцами. Повел. Долго шли мы с ним, приблизительно вечность. Вошли наконец в какие-то сени. Странник взял стакан, с шуршанием запустил в какой-то мешок.

— Семячки, сусаные. На цедаке, под залезом.

— А-а. Спасибо! — говорю.

— Сорок копеечек!

Выскочил, заскользил быстро вниз. И главное, когда наверх еще поднимался, видел, оглядываясь, зарево какое-то. Радовался, как дурак: «Северное сияние?»

Но когда, с болью дыша, примчался вниз, все было кончено.

Дача сгорела, невеста, всплыв, уехала, только Леха, балбес, болтался по пепелищу, лопоча:

— Все нормально, старих, все нормально!

Потом он шел сбоку от меня, заглядывал в лицо:

— Ничего, старих? А? Ничего?

— Ладно уж, — ответил я, — ничего!

Вскоре после этого Леха от муравьев своих любимых решил избавиться. Пришел однажды к нему, застал в горьких слезах. В одной руке у него маленькая, в другой хлорофос. Из маленькой глоток отопьет, потом хлорофосом на себя брызнет.

— Надоели мне эти муравьи, — в слезах говорит. — Не выйти с ними никуда в приличное общество!

И снова из маленькой отхлебнул и хлорофосом себя обдал!

Вышли мы с ним потом на улицу, сразу же к нам огромная колонна муравьев побежала. Потом, едкий запах хлорофоса почуяв, передние тормозить начали, заворачивать. Колонна вопросительным знаком изогнулась.

Впервые я видел так наглядно, как от человека удача его уходит!

Потом защитили мы дипломы. Нас с Лехой в зональный институт проектирования направили, а Дзыня, ловак, в архитектурно-планировочное управление проскользнул.

И надо отметить, что руководитель нашей с Лехой мастерской — все у нас его Орфейем звали — не особенно нас взлюбил.

Ну, понять можно его: папа у него был Орфей, а он лишь Орфейч получился, поэтому злоба из него так и лилась. Пытался незадачливую свою жизнь под обстоятельства подвести: такие, мол, нынче обстоятельства, что лучше и пытаться не надо ничего сделать. Слышал я разговоры эти миллион раз! Будто раньше когда-то обстоятельства другие были. Ерунда! При любых обстоятельствах, самых крутых, пытаться надо делать что-нибудь, а от трудов твоих и обстоятельства, глядишь, к лучшему переменятся!

Лехе я это сказал — он сморщился:

— Оптимизм твой просто меня бесит! Сам посуди, ну как тут можно развернуться, если столько ограничений на все наши проекты: денег экономия — раз, площади экономия — два...

— Мыслей экономия — три! — говорю ему. — Все вы радуетесь этим ограничениям — без них бы собственное убожество наружу вылезло, а так на ограничения все свалить можно!

Часто мы с ним ругались.

Однажды вышли из института.

— Ну как ты живешь вообще-то? — Леха спрашивает, заранее вздыхая.

— Нормально! — говорю. — Жизнь удалась. Хата богата. Супруга упруга.

— А я нет! — Леха говорит.

— Что ж так?

— Да так, — Леха отвечает. — Жизнь сложна!

— Жизнь сложна, — говорю, — зато ночь нежна!

— Как же, — Леха обиделся, — ночь нежна! Знаешь, какие сны мне снятся! Тебе нет?

— Снятся вообще-то. Недавно, например, наяву все вспомнить не мог, где шапку забыл. Только заснул, вижу: вот же она где! Нет, снами я доволен. А что?

— А угрызения разве не снятся? Кошмары?

— Нет. Как-то еще нет.

— Ты что же, Фрейда еще не читал?

— Еще нет!

— Вот ты говоришь — «ночь нежна», — пригнулся. —

А знаешь, что мне жена моя изменяет? Налево и, что самое обидное, направо? ..

Поехали ко мне, попили чаю с грудинкой. Леха допивает вторую чашку, встает:

— Ну, мне, к сожалению, пора.

— Давай, — говорю, — еще посидим. Скажешь, что на работе задержался. Пойду сейчас еще грудинки куплю, раз она, сволочь, такая вкусная!

— Да нет, — Леха говорит. — Женщины, в отличие от Вия, все видят, не поднимая век.

Проводил я его до остановки. Леха вдруг жаловаться стал:

— Недовольна все, говорит: «Когда хоть за границу поедешь, красивых вещей мне привезешь? Все уже ездят за границу, привозят своим женам красивые вещи!» А чего, спрашивается, ей не хватает? Одних кофт — две! Говорит, за все время трех слов с ней не сказал!

— А давай я скажу! Какие надо сказать слова?

— А что? — Леха говорит. — Поехали ко мне! Знаешь, что будет нас ждать? Мясо в фольге!

Пока ехали мы, я еще надеялся: может, действительно, она холит его и лелеет? Приехали, вижу: какая там холка и лелейка! Она и себя-то не холит, не говоря уж о том, чтобы лелеять! Сразу же в комнате захлопнулась. Леха, естественно, сник. Взял я кувшин на кухне, спрашиваю:

— Что внутри у него? Содержимое?

— На твои идиотские вопросы трудно отвечать! — нервно говорит Леха.

Направился к ней. Слышу: обвиняет она его, что с работы он опоздал.

— Сегодня только! — он говорит. — Пойми, к другу зашел!

— Сегодня! — она говорит. — У тебя каждый день «сегодня.» (Странное, если вдуматься, обвинение!)

Возвращается Леха на кухню, вздыхает:

— Угостить тебя, сам понимаешь, нечем, так что пока в комнате посиди, а то я брэнчать тут буду, тебе мешать.

А говорил — мясо в фольге! Дали бы хоть фольги пожевать!

На следующий день встретились мы на работе с ним, в обеденный перерыв пошли в буфет.

Работал у нас тогда такой Змеинов. Всегда четко знал, что модно сейчас, что современно, другого ничего для него просто не существовало. И выглядел соответственно: дымчатые очки, борода, трубка, шарф, свисающий до земли. Помню, как он, взяв в буфете чашечку кофе, держа ее перед собой на блюдце, другой рукой придерживал трубку, зорко оглядывал зал, соображая, куда сесть. И обычно не ошибался: садился к тому, кто самый модный был, самый успешный. Сидел, кофе отхлебывая, вел интеллигентную беседу — и вдруг случайно узнавал, что у человека, с которым он сидит, все переменялось: украли пальто, благодарность заменили на выговор, сын попал в вырезвитель. Тут же Змеинов вставал, брал недопитую чашечку, пересаживался за другой стол к новому корифею. И если снова узнавал: не этот самый модный, а тот, что в углу сидит, — тут же вставал, извинившись, забирал кофе, попыхивая трубочкой, шел через зал. Одной чашечки кофе ему обычно на несколько человеческих судеб хватало.

Пока мы считались с Лехой молодыми и дико растущими, Змеинов, бывало, до трети чашечки с нами выпивал. Леха доверился ему, рассказав подробно о своих планах.

И вдруг в этот день только начал Леха рассказывать, Змеинов, ни слова ни говоря, встает и тянется к своей чашечке. Леха аж позеленел от такой подлости, мотнул головой и плюнул Змеинову прямо в чашку!

Помню до сих пор Змеинова позу, немой укор в его взгляде: «Как же я теперь, с плевком в чашке, буду за новые столики садиться?»

Ушел Змеинов, Леха говорит:

— Ну что? Может, неправильно я сделал?

— Правильно. Но в общем-то, по Змеинову измеряя, популярность наша стремится к нулю...

Через несколько дней направлялся я вечером к Лехе в гости. С тех пор, как понял я, что не очень весело они живут, стал довольно часто к ним заходить. Перед домом их возле гастронома сталкиваюсь с профессором Корнеевым. Здорово он в институте меня любил, колоссальные надежды на меня возлагал.

— Ну что вы? Где? — участливо спрашивает. — Что-то совсем про вас ничего не слышно.

— Да знаете, — говорю, — семья, дети...



Он понимающе кивает, стараясь при этом не смотреть на поллитры в моих руках.

Лехе я в комическом ключе случай этот пересказал, но он неожиданно трагически все воспринял:

— Я давно уже говорю, что жизнь не удалась. Как сам-то ты думаешь: если человек вырастет среди домов, которые мы с тобой рисуем, сможет он когда-нибудь художником стать?

— Конечно, нет!

— И мы это делаем, представляешь?

Я и сам начал понимать в последнее время, что не все так уж блестяще идет, как предполагалось.

Раньше я думал, беда в том, что тебя спросят, а ты не сможешь ответить. И стоит только усиленно заниматься... И понял вдруг совсем недавно: беда в том, что никто тебя и не спросит!

— А давай, — Лехе говорю, — сделаем на конкурс! Слышал, небось, конкурс объявлен: культурный центр северного поселка улучшенного типа. Солярый, розарий, дискураторий — и все это желательно под одной крышей.

— Да нет, — Леха говорит. — Все равно Орфеич работать нам на конкурс не даст. Наш удел — коробочки рисовать!

— А полагается же нам творческий отпуск? Давай возьмем творческий отпуск за свой счет!

— А Дзыню возьмем?

— Конечно! Поселимся у меня и будем работать! Колоссально!

На следующий день я к Дзыне поехал. Он принял меня уже в отдельном кабинете.

— Надо уметь жить! — высокомерно говорил, небрежно проливая мне арманьяк на брюки.

Но в проекте нашем участвовать милостиво согласился.

Помню, в день, когда мы должны были начинать, Леха пришел, а Дзыни все нет и нет. Выглянули от нетерпения с балкона, видим — красные его «Жигули» выезжают на перекресток и подруливают зачем-то к стоянке такси... Какие-то тетki с узлами к нему бросились. Быстро сговорились — и Дзыня уехал! Вот это да! Видно, решил — и вполне, надо отметить, справедливо, — что дело это гораздо более надежное, чем какие-то непонятные проекты создавать!

Стали работать с Лехой вдвоем.

Но ни черта не получалось. Хочется придумать что-то новое, а рука привычно рисует прямоугольник! И розарий, и солярий, и дискуторий должны размещаться в нем.

Да и потом, не все новое хорошо. То есть сразу видно, что в нем будет хорошего, но никогда заранее не узнаешь, что в нем будет плохого. Придумали, скажем, круглые дома. Свежо, оригинально. Начали строить. И стали образовываться в круглых дворах этих домов вихри. Выйдет старушка на балкон снимать белье, неожиданно образуется вихрь — старушку уносит!

Потом уже, в погоне за оригинальностью, мы с Лехой до полного абсурда докатились. Совершенно дикая родилась идея: сделать культурный центр в виде стоящего человека... В глазу — бар.

— Да-а... — Леха говорит. — Видно ничего у нас не получится! Все равно Бескаравайный нас обойдет. Сам знаешь, что это за человек, — растет на глазах!

Действительно, на последней архитектурной конференции наблюдался феномен: рос Бескаравайный буквально на глазах!

И еще — это только говорится: отпуск за свой счет. А какой счет? Никакого счета и нет!

Открыл я как-то ящик стола, оттуда вылетела вдруг бабочка. Поймали, убили, сделали суп, второе. Три дня ели.

Однажды рано утром вышел я на прогулку. Сорвал с газона ромашку, стал лепестки обрывать... И вдруг понял: форму ромашки должен иметь наш культурный центр — розарий, солярий, дискуторий под отдельными крышами, и сходятся к общему центру, как лепестки. Примчался домой, с Лехой поделился. Он говорит обидчиво:

— Гениально! Но это ты, наверное, сам же и будешь делать?

— Ну почему же! — говорю, — с тобой!

Стали мы чертить, с нашей любимой песней «Елы-палы», дни напролет.

Сделали наконец, понесли.

Секретарь конкурса — Дзыня.

Сидит, головы не поднимает.

— Что у вас?

— Ты, харя! — говорю. — Поднимай хоть глаза, когда с тобой разговаривают!

Он обомлел.

Потом разговорился все-таки, стал объяснять, что в конкурсе многие именитые архитекторы участвуют, не нам чета. Что главная трудность — во второй тур пройти, там только начнется настоящее рассмотрение...

Стали мы ему намекать, что жизнь на месте не стоит, что в городе много новых точек открыто, где встретиться можно за дружеским столом.

Приблизительно месяц он нас мурыжил, потом вызывает: проект наш пробился во второй тур.

Подмигивая, вывели его на улицу, провели мимо всех ресторанов — и неожиданно вводим в пышечную, берем три пышки обышпные, три бумажных стаканчика кофе. Потом в эти же стаканчики, влажные, разливаем под столом бутылку портвейна... Все!

Но, как оказалось, Дзыня нас нагрел, а не мы его! Выяснилось, что никаких двух туров и нет, все проекты рассматриваются одновременно и равноправно, а рассмотрение состоится на Всесоюзной архитектурной конференции в Ереване.

Летели мы в Ереван на Ту-154, на высоте пятнадцати тысяч метров... Леха нервничал все, в иллюминатор смотрел. Далеко внизу, на белых облаках, тень нашего самолета бежала, как крестик.

— Страшно, если вдуматься, — Леха говорит. — Пятнадцать километров до земли!

— Что страшного-то? — отвечаю. — На такси — трешка!

Стали снижаться наконец. Окунулись в облака. Потом удар, в иллюминаторе пробежало рыжее поле, на краю поля — вислоухий вертолет.

Вышли на трап — первое ощущение — сухой горячий воздух, как на сковородке. Над горизонтом, будто облака, две белые вершины, иногда оттуда доносится короткое ледяное дыхание, словно глоток холодной воды после чашки густого горячего кофе.

Рассадили нас по машинам — каждому участнику отдельная машина, — повезли через Ереван. Да, неспроста Ереван местом архитектурной конференции выбран — замечательно строят! Дом молодежи, — огромный кукуруз-

ный початок... Хранилище древних рукописей — Матена-даран...

В Доме техники, где конференция собиралась, толпа гудит в холле, люди тасуются, руки пожимают.

— И Жупелов здесь! — почему-то шепчет Леха. — Академик Аскетян! Все!

Вечером поместили нас в гостиницу. Ужинаем в буфете на этаже, Дзыня появляется с завязанным горлом.

— Вы разве не знаете, — надменно говорит, — я простужен!

Как будто все в мире должны об этом знать непременно!

Долго куражился, требовал у буфетчицы подогреть шампанское. Только буфетчица кремневая оказалась — такую и охладить не заставишь, не то что подогреть!

— Ладно, — Дзыне говорю. — Иди сюда. У нас есть.

— А теплое? — капризно спрашивает.

— Теплое, — говорим, — целый день за пазухой носим.

Подсел Дзыня к нам, говорит:

— Только вы сами открывайте, и поосторожней, а то я очень изысканно одет, боюсь забрызгаться...

Вот это человек!

Выпил все наше вино, потом говорит:

— Наши очаровательные хозяева добавили нам еще несколько экскурсий — на озеро Сөван, в храм Гегард...

— Замечательно! — говорим.

— ...так что число сообщений на конференции придется, видимо, сокращать. Понимаете?

— Понимаем.

— Ну хорошо. — Дзыня говорит. — Пойду, чтобы не отвлекать вас своим обаянием.

Ушел. Леха говорит:

— А ведь возьмет и не выпустит нас!

— Выпустит!

Тут Леха снова за старое принялся:

— Все равно Бескаравайный нас победит! Сам знаешь, что это за человек, — растет на глазах!

Потом рассказывать стал откровенно, что есть у него, оказывается, застарелый какой-то враг: звонит его жене, когда его нет, и всякие гадости про него говорит, и главное — все в точку! Стал подробно рассказывать, как ко встрече с этим врагом готовится: каратэ, с бегом по толку, стрельба по-македонски.

— Да брось ты! — говорю. — Нет у тебя никакого врага.

— Как это нет? — обиженно.

— А так и нет. Врага, как и все на свете надо создавать своим трудом, долго и упорно. А откуда у нас время еще и на это?

— Так думаешь, нет его?

— Конечно, нет.

— Выходит, я сам себе и звоню?

— Ну конечно!

— Твой оптимизм меня просто бесит, — Леха говорит.

— Ничего, — говорю. — Он всех бесит.

Наутро сделали мы сообщение... Колоссально! Сам академик Аскетян нас обласкал! На следующем заседании сообщили: нашему проекту культурного центра — первый приз!

Проект же Бескаравайного рядом не лежал, как выяснилось. Такой удивительный оказался человек: рос только на глазах, причем, только на наших. Лишь исчезал с глаз — сразу же переставал расти!

Да что Бескаравайный! Подумаешь! Если мы и были в его тени — значит не с той стороны падало солнце...

— Как-то все не так, — Леха озабоченно говорит. — Должны же быть трудности, тысяча преград!

— Ох, мать честная! — говорю. — А я и забыл!

Аскетян, руки нам пожимая, говорит:

— А я почему-то думал, что вы моложе.

— А мы и есть моложе, — отвечаю.

После Еревана еще в Тбилиси заехали... Замечательное место — тбилисские серные бани. Буквально после них становишься другим человеком — тут же, в предбаннике, вручают тебе новые документы!

Возвратились на работу. Идем с Лехой, как обычно, в буфет. Только появляемся — к нам, сметая все на пути, устремляется Змеинов с чашечкой кофе...

Вскоре нам премию присудили за наш проект. Леха этим известием почему-то совершенно потрясен был.

— Шестеро тысяч денег! — повторял. — Это ж машину можно купить, на двоих!

Помню, когда мы сумму эту на руки получили, всю ночь ее у меня перепрятывали, боялись, кто-нибудь украдет.

Утром выскочили из дома. Поехали машину получать — институт нам выделил ее из своих резервов.

Помню, магазин автомобильный за городом был. Долго автобус еще стоял у переезда, как раз состав пропустили с автомобилями на платформах. В некоторых почему-то уже люди сидели.

Добрались наконец до магазина.

Очередь в маленькое окошко. Кассирша кричит:

— Никому не отходить!

Сама пропала, — часа полтора, наверное, ее не было. Появляется потом, грубо орет:

— Иванов! Иванов! Вы где это шляетесь?!

Подбегает на трясущихся ногах.

— Я здесь был! Я никуда не отходил!

А сам уже думает небось: «Ну все! Машины, конечно, уже не будет, и деньги за нее, наверное, не вернут!»

Вывели тут и нашу машину, стали в последний раз ее осматривать. Кузнечик вдруг выпрыгнул на заднее сиденье.

— Ну все, — говорит, — все наши в сборе!

Помчались мы по шоссе.

— Неправильно едем! — Леха говорит.

— Зато красиво!

Вдруг выскакивает из кустов человек с полосатым жезлом, останавливает.

— Да я из ваших прав вологодские кружева сейчас сделаю!

— А у нас нет еще их, — отвечаем.

— Бх! — зубами только скрипнул и компостером со злости дырку в своем рукаве пробил.

Потом поставили мы машину во дворе, а сами долго пили у меня чай. . .

— Я тут думаю все, — вздыхая, Леха говорит. — Делаем свое дело с наслаждением, да еще получаем за это наслаждение деньги. Морально ли это?!

— Норма-ально! Пойми: существует новое направление в архитектуре. И кто лежал у его истоков?.. Вернее, не лежал, а стоял. . . Я! То есть ты, ты!

После этого мне еще от института квартиру дали. Долго ждал я — и тут дали.

По такому случаю мы выпили слегка с Лехой. Дня не совсем одобрительно нас встретила.

— Вот, — Леха говорит, — гению нашему квартиру дали!

Метнула она на него взгляд, обозначающий, видимо: «А почему не тебе?»

Но Леха взгляда этого не заметил, говорит:

— ... Только вот мебели никакой у него нет, — может, подарим ему наш пуфик, все равно мы им не пользуемся давно?

Метнула на него взгляд, молча ушла. Потом, начал я уже домой собираться, в комнату заглянул с нею проститься, гляжу: стоит она перед пуфиком на коленях и сигаретой прожигает в нем дыры!

Вывесла мне пуфик — из дыр еще дым идет!

— Пожалуйста, — говорит.

Привез я его домой, поставил... Ничего! Все-таки вещь.

Тут ошеломляющее известие: нас с Лехой как подавших уже надежды специалистов посылают на полгода в Болгарию на стажировку!

Леха обрадовался:

— Ну наконец-то! Наконец-то я съезжу за рубеж, красивых вещей Дийке привезу, как она мечтала!

День спустя выясняется: необходимо медицинское освидетельствование.

— Так я и знал! — горестно Леха говорит. — Так я и знал, что не выйдет ничего, давно уже чувствую себя неважно!

— Спокойно! — отвечаю.

На завтра отправились мы с ним сдавать на анализ мочу. Было ясное осеннее утро.

Леха задумчивый шел, потом говорит:

— А давай поменяемся мочой!

— Зачем?!

— Ну так. Чисто дружески.

— Давай.

Поменялись пузырьками, перевесили ярлычки.

Через неделю интересуемся анализами, нам говорят:

— Вы (то есть я) можете ехать куда вам угодно, а вы (то есть Леха) по состоянию здоровья ехать никуда не можете.

Раскрыл я только рот, чтобы сказать, что все наобо-

рот, — что это я, оказывается, больной, а Леха здоровый... Леха выталкивает меня в коридор.

— Молчи! Понял, молчи! — шипит. — Узнают про наш обман, обоих не пустят, а так уж хоть ты поезжай... Ладно уж!

Уговорил все-таки меня, но, видно, и обиделся, что я согласился.

Сначала не хотел я ехать, потом подумал: «А почему, собственно, не я? Работаю нормально. Знаю языки. Характер отцовский, бойцовский... Чем плохо?»

... Только вернулся я из Болгарии — в первый же вечер к Лехе. Подарки принес: ему рубашку, жене — свитер, дочурке их — блок жвачки. Сидел, долго рассказывал, — как показалось мне, очень интересно.

Поздно уже вышел от них... Спускаюсь по лестнице и вспомнил: курточку свою у них забыл! То-то я ощущаю, что как-то неловко плечам.

Помчался вверх по лестнице, вижу — и дверь не закрыл. Только хочу войти — слышу глухие их голоса:

— Его, что ли, курточка? — Леха спрашивает.

— Его! — Дия говорит. — Давай мни!

Тут я чуть прямо на лестнице в обморок не упал.

Я-то считал, что они меня любят, а они, оказывается, ненавидят, даже курточку мою спокойно не могут видеть!

Приехал я к себе домой, часа два по комнате бегал, успокоиться не мог.

И примерно после этого дня стал я чувствовать себя иногда нехорошо. Какая-то тяжесть по утрам в желудке, потом вдруг резкая боль, словно кто-то пож втыкает в живот. И все чаще стало прихватывать. То и дело, сидишь, скорчившись, на скамейке, руками живот обняв, прикидывая на глазок, как бы до следующей скамейки добраться!

Однажды остановился я передохнуть, стал «Медицинскую газету» читать. Почитаешь, закроешь глаза... в темноте зеленые буковки мерцают.

Снова открываешь глаза, читасшь: «...серповидная опухоль внизу живота... увеличение опухоли к вечеру... боль при длительной ходьбе».

«Что же это? — вдруг я опомнился. — Ведь это же у



меня!» Все думал — так, ерунда, а оказалось, болезнь, и вот даже в газетах про нее пишут.

Вспомнил еще, как Леху по моему анализу в Болгарию не пустили.

Все ясно.

Стал двухкопеечную монету искать, чтобы знакомому одному врачу позвонить, — руки дрожат, никак в карман не попасть!

Рядом стоял покачивающийся человек:

— Двухкопеечную, что ли? Да!.. Все равно мне некому теперь звонить-то!

Дозвонился знакомому своему врачу, приехал к нему, он говорит:

— Ну, поздравляю! Одной ногой уже, можно сказать, ты в могиле! Надо срочно оперироваться, иначе худо!

Утром пришел я в поликлинику, назанимал очереди, — послали меня сразу же на анализ крови, рентген и прогревание.

Гробоносый мужчина из очереди спрашивает меня:

— Вы в какой конкретно очереди стоите?

— Да понимаете, предпочтения еще не отдал, — говорю.

— Тройную игру ведешь? — озлобился он.

Хотел я тут даже четверную повести, — над укольным кабинетом лампочка замигала, врываюсь туда... Протягиваю свои бумаги.

— Уколы, — говорят, — вам не прописаны.

— Не прописаны? — говорю. — Жаль.

Снова стал тройную игру вести. Лежу в кабинете процедурном на прогревании, а одновременно с этим еще в двух очередях стою! Какой-то я виртуоз!

Выскочил с прогревания, с ходу — на рентген: холодную резиновую раму прижали к груди... Выскочил с рентгена, а тут и на кровь моя очередь! Замечательно!

Выскакиваю я, сдав кровь, гробоносый мужчина мне говорит:

— Чего радуешься-то? Ведь ты больной!

Тут я, честно говоря, немного приуныл. «Ничего, — думаю, — может, вылечусь еще?!»

Перед больницей встал я рано, побрился, надел новую футболку, трусы.

«Надо пораньше, — думаю, — пойти, а то все лучшие койки разберут!»

— Ты, — мать говорит, — прям как на праздник собираешься!

— А как же? — я говорю.

Когда я пришел к больнице, ворота были еще закрыты. Я подождал.

Впустили наконец в приемный покой. Там говорят:

— Ну что, будем оперироваться?

— Сразу?

— Сразу.

Подзывают молодого гиганта в халате и шапочке.

— Познакомьтесь, — говорят, — ваш хирург.

— Федор, — подает он огромную ладонь.

— Привет, — говорю. — Как, много операций делал?

— Пока, — говорит, — только на покойниках.

— Как?!

— Вот так. Все к профессору рвутся, а у меня никто не хочет оперироваться. Так, видно, и не начну.

Сначала мне страшно стало, потом думаю: «Что же это я? Говорю всегда, что молодежь надо продвигать, а сам ей, получается, продвигаться не даю?»

— Все! — говорю. — Делай! Куда мне?

— Да подожди ты, — радостно Федя говорит. — Завтра еще оперироваться, сегодня процедуры будут!

— А-а-а... Жаль!

Переделся в больничную байковую пижаму, быстро отправился вслед за Федей в палату.

— Здравствуйте, — бодро говорю.

Молчат. Только кто-то стонет в углу, пытаюсь для приличия перевести стон как бы в кашель. Вдоль кровати у него с двух сторон вставлены доски, только тонкий нос торчит между досками, как из...

Лег я на свою койку, долго неподвижно лежал, глядя в потолок. Потом появилась мужеподобная сестра, басом говорит:

— Брили живот? Идите брейте! За вас никто этого делать не станет!

В тускло освещенной уборной брил я живот и плакал. Жалко все-таки умирать.

Потом процедуры были. Потом вечер настал. То есть в городе еще, наверное, гуляют всюду, а здесь тусклый свет, тишина. Сосед на ближней койке храпит, волны от храпа идут по одеялу!

Вдруг зажегся яркий свет, сразу вошло много людей в белых халатах.

— Что?! — сосед встрепенулся.

— На операцию, — ему говорят.

— Как, прямо сейчас? Можно хоть домой позвонить?

— Нечего звонить, все будет нормально!

Переложили его на длинную каталку, увезли.

Долго я лежал в темноте, смотрел на светящиеся свои часы. Час минул, два... Может, в другую палату после операции его увезли?

Понимаю, что надо выспаться, а не могу. Тянется обрывками не сон, а какой-то бред.

... В глухой темноте и тишине я спускаюсь куда-то по ступенькам, и чей-то знакомый голос на ухо говорит мне, что вот, получил новую мастерскую, но света в ней нет и окон тоже.

— Хочешь пощупать последнюю мою работу? — спрашивает он.

Вытянув руки, я начинаю двигаться во тьме, которая оказывается вдруг бескрайней, бесконечной!

— ... Сюда иди, сюда... — слышится голос все тише...

Я проснулся весь в липком поту и вдруг увидел на соседней кровати Дзыню: он лежал прямо в костюме, в ботинках, закинув ладони за голову.

— Вот так! — хвастливо произнес он, повернувшись ко мне. — Говорят, трудно в больницу лечь, коек нет. А мне это раз плюнуть: захотел — лег!

И так же внезапно исчез.

Ну тип! Я лежал, радостно улыбаясь, хотя понимал, что появление здесь Дзыни мне пригрезилось.

Потом я незаметно уснул и вдруг, резко проснувшись, сел на кровати. Было еще темно, но во дворе уже светилась цепочка окон — путь в операционную.

Я встал, умылся, почистил зубы. Побрился.

Потом, не снимая пижамы, лег на кровать, стал читать найденную в тумбочке растрепанную книжку — почему-то про подводное плавание.

В коридоре вдруг послышалось тихое дребезжание тележки... За мной?.. Мимо. Снова лежал, читая, прислушиваясь к звукам в коридоре... Все! Наверное, уже не придут, наверное, уже отменили.

И когда все сроки, казалось, минули, неожиданно растрворилась стеклянная дверь, появился Федя.

— Пошли?

— Как?.. Прямо так?

— Да!

Встал, стал искать в тумбочке амулет, который мама мне дала, — не нашел. Ну ладно! Пригладил только волосы...

Федя, гигант, шагает широко, трудно за ним поспеть!

По галерее подошли к белой двери с надписью «Операционная. Посторонним вход воспрещен». Вошли. Резкий запах лекарств. Свернули в большую комнату. Забрался с табуретки на узкий высокий стол. Сестра тут же невидимыми мне завязками привязала к столу руки и ноги. Я стал сосредоточенно смотреть на висящий под толчком большой блестящий круг со светильниками, и вдруг светильники матово зажглись. Я быстро отвернулся. Потом надо мной повисло лицо Федора, закрытое до глаз марлевой повязкой. Он сожмурил оба глаза, видимо, подмигнул, и опустил перед моим лицом белую занавеску.

Я лежал неподвижно, потом вздрогнул, почувствовав, как в живот воткнули что-то круглое и толстое. Ввели наркоз.

Потом я понял, что меня разрезают, — медленно, с хрустом продлевают разрез все дальше. Федя о чем-то тихо заговорил с сестрой. Я почувствовал, что внутренности мои оттягивают в стороны какими-то крючками — мелкими, острыми, вроде вязальных.

Потом стали нажимать чем-то тонким и твердым, вдавливать что-то внутрь меня.

— Больно? — спросила сестра.

— Нет.

— А почему тогда надуваете живот? Не надувайте, вы не даете нам ничего сделать!

Значит, они ничего еще не сделали!

Снова началось растягивание, потом — вдавливание.

— Больно? — услышал я голос сестры. — Вам нельзя больше добавлять наркоза. Терпите.

Я лежал, глядя в потолок.

— Все! — вдруг сказал я.

Все поплыло, затошнило меня, никак не вздохнуть...

— Что? — появляясь, словно издали, спросила сестра.

— Что-то не то.

— Дышите! — строго проговорила она.

Потом около моего лица оказались двое в белых шапочках. Один держал в ладони пробирку, другой — тампон. Щекотка нашатыря проникла в ноздри.

— Все! — шумно вздыхая, с облегчением сказал я.

Прохладная девушка, оказавшаяся рядом с моей головой, тампоном промокнула мне пот.

Потом началось короткое щелканье — вроде бы ножниц.

Я скосил глаза на стенные часы. Операция продолжалась пятьдесят минут!

Но главное — дверь в операционную так и ходит ходуном, входят и выходят разные люди, скучающе смотрят на меня, обращаются к Феде: «Федя, ты взносы уплатил?!» Или: «Федя, ты скоро освободишься?»

— Э, э! — сказал я. — Друзья! Может, не стоит вам отвлекать хирурга?

Тут я почувствовал колоссальное облегчение.

— Ну, все! Самое страшное позади! — улыбаясь, сказала прохладная девушка.

Потом начались тонкие укольчики, видимо от иглы, — и все в одном и том же месте! Что они там, вышивают, что ли?

Потом я вдруг увидал, как с потолка зигзагами спускается пушинка.

— Э, э! Куда!? — я стал ее сдувать.

— Не надуйте же! — уже с отчаянием проговорила сестра.

Я услышал шершавые звуки шнурования.

Потом я увидел огромную белую спину Федора, выходящего из операционной.

— Что? Вспылил? — улыбаясь, спросил я прохладную девушку.

— Все! — ответила она.

К столу подкатили каталку, меня перевалили на нее. Я ощутил блаженство и покой.

Весело крутя головой, я ехал по широкому коридору.

Когда меня привезли в палату, откуда-то снова вдруг появился Федя, помог переложить меня на кровать и быстро удалился.

— Ну как? — поворачиваясь ко мне, спросил сосед.

— Чуде-есно!

Снова появился Федя, уже успокоившийся.

— Ну, ты клиент! — покачал головой. — Ты зачем все время живот надувал?

— Видно, для важности?

— Ну ничего! Весь кошмар позади. Старик, первая у меня операция!

— Старик, и у меня!

Мать пришла, часа полтора посидела.

Следом Леха. Начал жаловаться на тяжелую свою жизнь:

— ... Я говорю ей: «Ты ж знаешь, многих только после смерти признавали!» А она: «Ну так умри скорей! Не пойму, что тебя удерживает?!»

Леха зарыдал.

Я в таком моем положении должен был его еще и утешать!

— Ничего! — говорю ему. — Все отлично!

Он вдруг начал каракули мои рассматривать, которые я в блокноте чертил, лежа на спине, обливаясь потом.

— Мне б твою усидчивость! — непонятно буркнул.

... На пятый день Федя долго мял шов, морщился.

— Что? Нехорошо?

— Да. Нехорошо. Инфильтрат. Затвердение шва. Так что извини, если что не так.

— Ничего-о!

Все в палате начали понемногу шевелиться, вставать, — и вот по комнате ковыляют белые согнутые фигуры, заново учатся ходить.

На двенадцатый день кто-то украл мою ручку-шестицветку! Замечательно! Всюду жизнь!

И вот утро, когда я выписался. Рано, часов в пять, только открылись ворота, я уже выскочил. Было тихо, светло. Вдалеке кто-то пнул на ходу ногой — шарканье пустой гуталиновой банки по асфальту.

В шесть оказался я возле дома Лехи. Дом, освещенный солнцем, еще спал. Цветы на балконах стояли неподвижно и настороженно. Но Леха, к моему удивлению, бодрствовал.

— Да... жизнь не удалась! — сказал он, когда я, хромая, вошел в залитую солнцем кухню.

— Удалась!

Тут выглянула в кухню Дия, сухо кивнула.

— Болен был, значит?

— Ага! — радостно сказал я.

— А почему не сказал?

— Когда? — я посмотрел на Леху.

Потупившись, он молчал.

— Сам знаешь когда! Когда анализами менялся. Ведь знал!

— Конечно! Часами любовался своей мочой!

Я ушел... А вскоре он на другую работу перевелся.

После этого мы больше почти не общались.

Однажды только пытался прорваться к нему, и то он при этом дома находился, а я в Москве.

Зашел, помню, на главпочтамт — перевода ждал.

На почте меня всегда почему-то охватывает чувство вины. Вспоминаются все, кому не пишу, и кому не звоню, и кого забыл. Потом вспоминаются те, кто забыл меня, и грусть переходит в жалость, — жалость к себе и своим бывшим знакомым, а потом и ко всем людям, которых когда-нибудь тоже забудут, какими замечательными людьми они бы ни были.

И тут еще, пока я стоял в очереди к окошку, ввезли на тележке груды посылочных деревянных ящичков: больших, средних, мелких и совсем маленьких, крохотных, размером почти со спичечный коробок. Я посмотрел на них и вдруг почувствовал, что с трудом сдерживаю слезы. Тот, кто якобы хорошо знает меня, конечно, не поверит: «Как же, амбал чертов, ящичков ему стало жалко!» Но тем не менее все было именно так. Я предъявил в окошечко паспорт.

Кассирша незаметно, как ей показалось, глянула в лежащую на ее столе записку: «При предъявлении паспорта на имя Елоховцева Виктора Максимовича срочно сообщить в милицию».

Сердце заколотилось, перед глазами поплыли огненные круги. Гигантским усилием воли взял себя в руки, заставил вспомнить, что моя-то фамилия не Елоховцев! Совсем что-то слабые стали нервы!

Кассирша взяла мой паспорт. Перевода, как и следовало ожидать, не оказалось, и это еще больше усилило мою грусть. Но что-то в ней было приятное. Уходить с почты было неохота. Гулкие неясные звуки под высокими сводами, горячий запах расплавленного сургуча, едкий запах мохнатого шпагата — все это создавало настроение грустное и приятное, как в осеннем лесу. И вдруг моя

грусть получила совсем конкретное наполнение: сегодня Лехин ведь день рождения, а я и забыл!

Год уже ему не звонил, и сегодня, в день рождения его, особенно это грустно. Как это постепенно мы разошлись?

Нет, но телеграмму-то уж я могу ему отправить, телеграмма — это уж, как говорится, святой долг!

Сунулся снова к окошечку, посмотрел художественные бланки с цветочками. Да, Леха будет поражен, получив от меня поздравление с цветочками... Совсем, подумает, ослабел человек! Нет, лучше простой честный бланк с простыми душевными словами! Я взял бланк, деревянную ручку и написал цепляющимся, брызгающим пером: «С днем рождения поздравляю, в жизни счастья желаю!» — и подписался.

Приемщица посмотрела на бланк, что-то в нем почиркала и говорит:

— С вас восемь копеек!

— Почему так мало-то?

Составил поздравление своему лучшему другу, и чувств набралось всего на восемь копеек!

— У вас номерная телеграмма, — сказала приемщица, — плата взимается только за номер.

— Как номерная? — уязвленно спросил я.

— Так, номерная. Ваш текст номер четыре. Разве вы не из списка его брали?

— Нет, представьте!

Я был уязвлен еще больше. Написал другу, с которым у меня столько связано, поздравление, и оно из самых банальных, которые сведены даже в список, существующий для людей умственно отсталых.

Восемь копеек цена моего излияния!

— Так даете вы деньги или нет? — агрессивно проговорила приемщица. — Вы же видите, мы перешли на полуавтомат, всяческие задержки вредно сказываются в его работе!

— Полуавтомат, — сказал я. — Извините... Можно телеграмму мою назад?

С недовольным видом она вернула мне бланк, уже поднесенный ею к щели автомата. Я взял его, порвал в мелкие клочки, и кинуя разлетевшиеся голубые бумажки по направлению к урне. Нет... Автомат, полуавтомат —



это не то. От такого полуавтоматического общения результат обычно получается самый поганый.

— А скажите, а свой какой-нибудь текст передать по полуавтомату можно?

— Можно. Но это значительно дороже! — сухо ответила приемщица. — И потом, надо еще его сочинить, а это не каждому дано! — с прозрачным намеком закончила она.

Я взял снова ручку, новый бланк.

— А можно такой текст передать: «Поздравляю тебя, морда, с установлением рекорда!»?

— Какого рекорда?

— Это уж мы знаем с ним...

— Нет. Такие тексты мы не передаем! Тексты, допускающие двусмысленные толкования, мы не передаем.

— Да это не двусмысленный вовсе — трехмысленный!

— Тем более! — отвечает.

— Но я прошу вас. Друг, потерянный почти!

— Гражданин, я же вам объяснила — у нас полуавтомат...

Заплакала вдруг утираясь шалью.

Ну вот! Так у нас кончаются все принципиальные споры.

Я быстро вошел к ней за барьер, погладил по голове.

— Уйдите, гражданин! — всхлипывая, проговорила приемщица. — Здесь у нас материальные ценности. Уйдите!

Она вдруг вынула револьвер...

Я вышел в большой гулкий зал.

Хотел душевность по телеграфу проявить, а в результате лишь бедную женщину расстроил!

Как-то у нас мучительно все переплетено! Все вроде одного и того же хотят — счастья, но так все постепенно запутывается, что и запах-то счастья забывается!

Неизвестно кем, неизвестно где, неизвестно зачем проживаем день за днем, и не вспомнить уже, когда последнее действие было, которое хоть немножко бы к счастью подвигало!

Ведь все неважно сейчас: зачем я в командировку приехал, — через год про это и помнить не будет никто, неважно, что полуавтоматы на почте стоят, — думаю, месяца через два уберут их, как нерентабельные... Неважно

это все! Другое важно — с Лехой связаться, сказать ему, как я его люблю — и во все эпохи, при любых полуавтоматах важнее этого не будет ничего!

... И вот теперь Дзыня позвонил мне, сказал, что Леха погиб. Что же — как это ни ужасно, а к этому и шла Лехина жизнь.

Я вышел из электрички на платформу. Со всех сторон подступала тьма.

Когда-то я был здесь, в том самом доме отдыха, где «отдохнул» Леха сейчас... Я побрел по тропинке между высокими, плавными сугробами. Вот и пруд, окруженный ивами, почти горизонтально склонившимися ко льду. А вон и домик, видимо бывшая часовня, где размещалась сейчас спасательная станция...

Внутри ее были своды, тускло освещенные керосиновой лампой. За служебным столом сидели спасатель, высокий гробоносый старик и Дзыня.

Я протянул руку.

Потом мы пошли по берегу пруда, спасатель показал мне следы на снегу и дальше, на середине пруда, черный зияющий провал.

— С Дома отдыха ко мне только час как пришли. А он давно уже там, — сказал спасатель. — А ночью без пользы шарить там, да и провалишься, — лишние жертвы.

— Как раз навестить его приехал, — Дзыня говорит, — а он тут такое дело учудил!

— Так что — все! — гробоносый говорит. — Готовьте вашему другу могилку. Место-то припасено у вас на кладбище али нет? А то сейчас подхоранивать стало модно: в имеющуюся уже могилку опускается второй гроб.

— А может, подхоранивать? — Дзыня его спрашивает. — Ваше имя случайно не Харон?

Тот долго глядел на него подозрительно:

— Угадал! Харитон.

Вернулись мы под хмурые своды часовни.

Харитон говорит:

— У меня часто тут подобные дела случаются, так что продумано все уже до мелочей. Может, выпьете?

Сходил за печь, вынес два валенка вина.

— В одном, — говорит, — у меня на ореховых перегородках настояно, в другом — на ореховых промежутках... Не брезгуете, что в валенках у меня?

— Не-ет! — Дзыня говорит. — С перегороковки, я считаю, начнем?

Посмотрел на меня. Я кивнул.

— А помнишь, — Дзыня мне говорит, — как переключались мы через весь город?

Еще бы не помнить! Телефонов у нас тогда ни у кого не было, а общаться друг с другом хотелось непрерывно. Нам, конечно, обидно было — все только и делают, что звякают друг другу да брякают. Хотели себя телефонизировать, бумаги разные достали про то, какие мы несусветные умники и красавцы. Но нам в ответ неизменно из самых разных инстанций: комиссия такая-то, рассмотрев, нашла нецелесообразным. . .

Однажды вышел ранним утречком на балкон. Туман густой. . . А Леха тогда на совершенно другом конце города жил. Постоял я. Как-то грустно без товарища! Сложил я ладони рупором, как закричу:

— Леха! Слышишь-то хоть меня?

Долгая пауза, минут, наверное, пятьдесят, и вдруг доносится ясный ответ:

— Слышу. . . Чего орешь-то?

— Да ведь иначе бы ты не услышал меня.

— А-а-а. . .

. . . Пока вспоминали мы, рассвело. Красное солнце появилось на льду. Лед тонкий, гибкий, бросишь по нему камень — зачирикает, запоет!

— Ну давай, — Дзыня говорит. — Выьем промежутовки: за нас, за нашу дружбу, за Леху!

И только он это произнес, из-под льда вдруг раздался громкий стук! Выбежали мы из часовни и оцепенели. Из пролома во льду вылетел, трепыхаясь, огромный лещ, затем ладонь появилась, потом локоть. . . И вылез Леха: живой и, что самое поразительное, абсолютно сухой!

— Ты чего там делал-то? — изумленно Дзыня спросил.

— Спал, чего же еще? — сварливо Леха ответил. — Отлично, надо сказать, спал. . .

— Леха! — заорал я.

Вернулись мы в часовню. Леха обиженно стал бормотать, что перегороковки с промежутовкой ему не оставили.

— Что такое? — Харитон озадаченно говорит, удивленно Леху ощупывает. — Непорядок!

Трубку снял, начал звонить.

— Эх, повезло вам, — зло говорит. — Воду с пруда спустили еще позавчера!

Потом лето настало. Однажды пили мы чай в кухне у меня, у открытого окна. Вдруг появляется в открытом окне голова!

— Здравствуйте! — говорю. — В чем дело?

— Да вот люблюсь, — бойко вдруг голова заговорила. — Как здорово у вас цветочек разросся. У меня и сорт тот же, и сторона вроде бы солнечная, а не то!

— Так, может, вам отросточек дать?

Отломил я отросточек, человек долго благодарил, потом спустился по водосточной трубе, как и влез.

— Ты, что же, думаешь, — Леха спрашивает, — что тип этот просто так сюда прилезал?

— А нет? — говорю. — Отросточек хотел?

— Да-а, — Леха на меня посмотрел. — Видно, жизнь тебя ничему не учит!

— Да, видно, нет! Видно, я — как мой дедушка, который первый жизненный урок получил в девяносто шесть лет!

Потом пили чай, долго. Оса залетит в банку на одно гулкое, звонкое мгновение — и снова беззвучно улетает по ветру.

## II. Отдых в горах

Наконец-то, вырвавшись из засасывающих, унылых дел, мы — Дзыня, Леха и я — сидели в знаменитом горнолыжном кафе «Ай», из которого открывается такой вид, что действительно хочется сказать: «Ай!»

Солнце жарит через стекло, в чашечках знаменитый местный «глинтвейн» — кофе с портвейном. Шапки сняты с упарившихся голов, брошены на пол.

— А помнишь, — Леха мне говорит, — как в Приюте Одиннадцати мы зуб тебе вырывали?

— Конечно! — говорю я.

С самого начала нашей дружбы мы спортом занимались. Сначала греблей... Только тот, кто жил в Ленинграде, может представить, как это прекрасно: ранним

утром пройти на байдарке по широкой дымящейся Невке. Или на закате, в штиль, выйти в розовый зеркальный залив.

Потом новое увлечение — альпинизм! И вот, делали траверс вершины, заночевали в Приюте Одиннадцати. Вымотался я уже совершенно, спускался к приюту как сомнамбула, все в глазах расплывалось. Склон крутой, заросший рододендронами. Листья у рододендрона мясистые, скользкие. Ноги уезжают вперед — падаешь в полный рост, плюс еще добавляется тяжесть рюкзака. Встанешь, потрясешь головой, сделаешь шаг — снова бац! Причем каждое падение равносильно нокауту... Уже в темноте подошли к приюту, расположились. И тут почувствовал я, что у меня дико болит зуб, — голова раскалывается!

— Ну, это ерунда! — Дзыня сказал. — Сейчас мы тебе его вырвем!

Пошарили в темноте под нарами, нашли шлямбур и огромный ржавый замок. Посадили меня на табурете посреди комнаты. Говорят:

— Открой рот!

Приставили шлямбур к зубу, стали бить по шлямбуру замком. От боли в глазах потемнело, дужка брякает, прямо перед носом. Потом какой-то особенно удачный удар, я падаю, теряю сознание.

Прихожу в себя, ребята, согнувшись, стоят надо мной.

— Эх ты, — говорят, — как следует на табурете не умеешь сидеть, а еще хочешь, чтоб мы зуб вырывали у тебя!..

— Да-а... замечательно было! — вспомнил я.

Я встал, пошел по горячей террасе, взял еще по чашечке глинтвейна.

— Ну, расскажи нам, Дзыня, как ты так в гору пошел? — в это время спрашивал Леха.

— Просто повезло ему, что он в контору эту попал! — возвращаясь с чашечками, сказал я.

— Как же! — усмехнулся Дзыня. — Многие не хуже меня попали, а до сих пор мелкими клерками трубят. Дело не в этом. Главное, с шефом наладить творческий контакт!

— Ну и как же ты наладил его?

— Обычно! — Дзыня плечами пожал. — Прикинулся для начала, что так же без ума от рыбалки, как и он. До-

говорились вместе поехать. «Только смотри, — умные люди меня предупреждали. — Ни в коем случае выпивки не бери! Он к этому очень болезненно отнесется, недавно завязал!» «Ясно!» — говорю. Но взял на всякий случай одиннадцать маленьких. Утром проверили с ним донки, справили уху. Он говорит: «Пить, конечно, омерзительно, но сейчас, под уху, сам бог велел!» «Я сплаваю!» — говорю. А до деревни ближайшей четыре километра! — Дзыня со вкусом прихлебнул глинтвейна. — Полез в палатку я, и незаметно одну маленькую сунул в карман. «Серьезно, что ли, поплывешь?» — шеф меня спрашивает. «Раз надо!» — скромно потупившись, отвечаю. Спустился к лодке, поплыл. «Только маленькую бери, — и все!» — вслед мне кричит. Заплыл я за ближний мыс, лодку остановил, часок поспал, — обратно гребу. «Ну, ты человек!» — потирая руки, шеф говорит. Выпили, насладились ухой. Поплыли по огромному тому озеру. Продрогли насквозь, по рыбы, надо сказать, поймали немало. «Да, — говорит он, — так и застудиться недолго! Сейчас маленькую для согрева просто необходимо!» «Я сплаваю!» — говорю... И так, по его понятиям, я одиннадцать раз мотался туда-сюда. В конце уже не удивляло его, что весь маршрут у меня в оба конца не больше пяти минут занимал! Потом он обнял меня и сказал: «Я думал, среди молодежи теперешней нет людей, теперь вижу — ошибся я!» И все. Остальное, как говорится, дело техники! — высокомерно подытожил Дзыня. — ... Ну и пошло-поехало! Делегации. Симпозиумы. Конференции. В Греции. В Югославии. В Швеции. Везде одно и то же: гостиницы, залы для заседаний! — Дзыня устало махнул рукой. — В Швеции, правда, удалось довольно приличное лыжное снаряжение купить.

— А где же оно? — спросил я.

— Завтра увидите, — ответил Дзыня. — Сегодня лень распаковывать.

— Да-а! — с завистью глядя на Дзыню, сказал Леха. — Здорово ты!

— Да нет! — заговорил я. — Карьеры подобного рода меня не волнуют. Как правильно сказал один поэт: «Позорно, ничего не знача, быть прытчей!»

Дзыня и Леха незаметно переглянулись за моей спиной. С некоторых пор у них почему-то считается, что я несмышлениш какой-то, за которым пужеп глаз да глаз,

иначе забредет он неизвестно куда. Почему это установилось, трудно сказать, но многократно я это уже замечал.

— Все! Напился наш герой! — Дзыня усмехнулся, демонстративно повернулся ко мне спиной, и они с Лехой минут еще сорок разговоры вели.

Ночь я не спал, все думал: может, действительно как-то не так я живу? Рано утром поднялся, зашел за Лехой. Много раз я уже такой эффект замечал: находишься с каким-то человеком вдвоем — он абсолютно нормально с тобой разговаривает, появляется третий — этот же человек начинает тебя страшно лажать!

— Вот, герой наш! — подталкивая меня в номер Дзыни, усмехнулся, сразу же меняя тон, Алексей.

Но, к счастью, и Дзыня оказался в разобранном состоянии — мятое лицо, сеточка на волосах.

— О! — застонал он. — Уже вставать?

— Подъем! — сказал я. — А то побьем!

— Нет, ну я так не могу! — заговорил он. — Я должен чисто выбриться, выпить кофе, сделать массаж... Джем, джус. Нет, не раньше, чем через час!

— Может, мы пока очередь на подъемник займем? — подобострастно предложил я.

— Умоля-яю! — протянул Дзыня.

Мы покинули номер, направились к подъемнику. Очередь была метров на триста. Ну что ж, первый раз ждать — это еще ничего. Можно постоять. Это потом, когда уже спустишься несколько раз, охватывает такой азарт, что драки то и дело вспыхивают в очереди. Но первый раз — это еще куда ни шло. Тем более, что великолепного нашего лидера еще не видать...

Когда Дзыня появился возле подъемника, все сразу умолкли, наступила тишина... Какой-то невиданный в наших краях комбинезон: заостренный спереди, как рыцарские доспехи (для обтекания воздухом), огромные темно-фиолетовые окуляры, шлем (все это с названиями фирм). Какие-то уникальные темно-сизые крепления. Палки — такие пока доводилось видеть только в специальных журналах: изогнутые на концах во избежание флаттера (вибрации). Очередь молча расступилась. Конечно, можно было пока и подраться, время коротая, но когда появляется специалист такого класса — об чем речь?!

Дзыня расстегнул молнию на рукаве, швырнул в рот какую-то тонизирующую таблетку и, махнув нам рукой, унесся на креслице подъемника. Мы видели в дальномер, как Дзыня соскочил с креслица. Дальше был только бугельный подъем. Дзыня зацепил себя сзади штангой и стал подниматься еще выше, уже на лыжах, превращаясь в невидимую почти точку. Вскоре он исчез. Затаив дыхание, очередь стала ждать. Минуты через две на склоне появилось снежное облачко. Оно приближалось стремительно и прямо. Гул восхищения прошел по толпе... Когда же он собирается тормозить?! Оказалось, он и не собирался тормозить! С ходу он налетел на очередь, повалил всех подряд, как кегли, и, взлетев на небольшом пригорке, застрял в кустах. Потирая ушибленные места, все бросились топтать бывшего своего кумира, но мы с Лехой отстояли его...

За долгим завтраком был произведен анализ случившегося, разобраны ошибки, решено было с завтрашнего дня приступить к тщательнейшим, жесточайшим, изматывающим тренировкам!

— Может... не стоит пока? — робко вставил я.

Дзыня и Леха снова переглянулись за моей спиной.

— Все! — жестко произнес Дзыня. — Хватит дурочку валять! Завтра спускаемся с самого верха!

Весь день меня преследовали кошмары. Я уже спускался один раз, и не сверху причем, а всего-навсего с середины, и то вылетел на лавиноопасный склон, по которому в тот же самый момент лавинщики выстрелили из пушки. И вот покатился я — и следом за мной сдвинулась лавина... Весь день я представлял, как лавина меня настигает, хотя в тот конкретный раз удалось уйти.

Вечером, когда я ложился спать, кто-то требовательно постучал.

— Опять не в ту сторону головой ложитесь? — строго произнесла дежурная по этажу, появляясь.

— Ну я ж объяснял вам — в ту сторону головой мне душно!

— Не имеет значения, — произнесла она. — У меня на этаже все должны спать головой в одну сторону!

Дежурная с достоинством удалилась, и через минуту снова раздался стук. Я с досадой распахнул дверь. За дверью в тонком пеньюаре салатного цвета стояла очаро-



вательная рыжая соседка, на которую я давно уже пялил косенькие свои глаза.

— В электричестве что-нибудь понимаете? — улыбаясь, спросила она меня.

— Разумеется, — ответил я. — А что?

— Да вот, кипятильничек сломался, — соседка протянула мне никелированную спиральку с ручкой. — Чаю хотела попить и не получается.

— Ясно, — сказал я.

Мы поглядели друг на друга.

— Когда можно зайти? — улыбаясь, спросила она.

— Можно через десять минут. Можно через пять.

— Ясно, — она твердо выдержала мой взгляд.

Как только дверь за нею закрылась, я, ликуя, подпрыгнул, коснулся рукой потолка.

За секунду я починил кипятильничек, проводок был просто оборван, — она даже не пыталась этого скрыть!

Я поставил на подоконник стакан, подстелив газету, опустил в холодную водопроводную воду кипятильничек. Демонстрируя мощь техники, вода сразу же почти забурлила. Дрожа, я сидел в кресле. Раздался стук. Я впустил соседку. Она обняла меня, и я вздрогнул, почувствовав низом живота колючую треугольную щекотку.

Потом я вдруг заметил, что на стене почему-то сгущаются наши тени. Я обернулся и увидел на подоконнике костер. В центре пламени лежал кипятильничек, расколовший стакан и вывалившийся на газету.

Я поглядел на это пламя, потом на соседку, — и выбрал то пламя, что было ближе.

Утром дежурная по-новой зашла ко мне — поглядеть, в ту ли сторону я сплю головой.

— Та-ак! — оглядев номер, сказала она. — С вас шестьсот девяносто шесть рублей двадцать копеек!

— Шесть рублей я дам, — потупившись, сказала соседка.

Потом я поглядел на несгоревшие каким-то чудом часы: полдень! Вот тут я испугался! Все рухнуло! Опоздал на жесточайшие, изматывающие тренировки, назначенные на восемь... Теперь, кроме презрения, мне нечего ждать от моих друзей!

Лежи в его комнате, конечно, уже не было. Я помчался в гостиницу к Дзыне. Его в номере не было, но дверь почему-то была открыта. Я вышел на горячий балкон,

чтобы посмотреть на подъемник, и увидел прямо под собой, у нагретой солнцем стены потрясающую картину: Дзыня и Леха играли в пинг-понг, лениво перестукиваясь треснувшим шариком. Тут же, на теннисном столе, стояли открытые бутылки с пивом, на газетах лежала вобла и замечательный местный сыр чанах.

— Куда же ты пропал? — закричали друзья, увидев меня. — Давай сюда!

«Вот это хорошо!» — радостно думал я, сбегая по лестнице.

### *III. Как я женился*

... Я был тогда откомандирован в лабораторию Министерства путей сообщения. Лаборатория размещалась в двухэтажном белом доме с балкончиком. Дом стоял прямо среди путей.

В зале первого этажа, сохранившем еще сладковатый запах дыма, помещались наши приборы. На втором этаже была мастерская художника. Каждое утро, часов в девять, когда солнце как раз попадало в наш зал, сверху раздавался скрип костылей, и спускался, улыбаясь, художник Костя. Ноги у него отнялись после полиомиелита, еще в детстве. Раньше он работал в артели, выпускающей разные вокзальные сувениры — значки, брелочки для ключей, но неожиданно у него обнаружили свои идеи — и теперь он был художник, у него была мастерская, и по его образцам артель уже выпускала ширпотреб.

Костя, улыбаясь, смотрел на нашу работу, потом, переставляя костыли, проходил в туалет, потом, побледневший после умывания, снова поднимался наверх, и вскоре раздавался стук или скрип — Костя ваял очередной свой шедевр.

Помню, однажды надо было отвезти в ремонт тяжелый прибор, и мы попросили у Кости его тележку, переделанную из дрезины.

Как он обрадовался!

— Вот черти! — радостно говорил. — Знают, что у меня есть транспорт! Пользуются, что у меня транспорт есть! — говорил он уже другому, сияя...

Мы вынесли его тележку, установили на ржавые рельсы. Я стоял сзади, придерживая прибор. Трещал моторчик. Светило вечернее солнце. Мы медленно ехали среди желтых одуванчиков...

Иногда ночью я проносился в тяжелом быстром поезде мимо этого дома. Дом был темный, мертвый. Под крышей горела лампа, но все вокруг было безжизненно.

Я привинчивал к столику свою аппаратуру для измерения вибраций, включал магнитофон, — шумы и вибрации записывались, чтобы после, в лаборатории, их проанализировать. Подносил к губам микрофон, говорил — голосом, охрипшим после молчания: «Третье купе, вагон типа 1770 рижского завода, год выпуска 67-й... Шумы у нижней полки... Запись».

И, поднеся магнитофон к нижней полке, минуту держал его там и, если уставал, неслышно приседал на другую полку.

«Конец! — говорил я. — Внимание. То же купе. Шумы у верхней полки... Запись».

Приподнявшись, я поднимал микрофон к верхней полке, застыв, стоял неподвижно, смотрел на колебания стрелки, иногда — с удивлением.

Я любил работать в темноте, глядя лишь на светящиеся шкалы приборов. Это было прекрасно — не спать одному во всем поезде, идущем через темноту, говорить самому с собой, потом выйти ненадолго в пустой коридор — весь вагон мой, потом вернуться, с тихим скрипом задвинуть дверь.

Иногда я брал с собой Костю: в купе без пассажирского шума и вибрации были чуть другими.

— Вот черт какой! — довольный, говорил Костя, собираясь. — Пользуется, что у меня время есть!

... Однажды я привинтил аппаратуру и пошел в коридор за Костей. С ним стоял какой-то тип, видно забредший из вагона-ресторана. Глаза его и рот составляли мокрый блестящий круг. Оказавшись в пустом темном вагоне, он несколько ошалел от неожиданности, но все же старался говорить громко, показывая, что этот лунный свет и тишина на него не действуют.

— Костя, пора! — позвал я.

Он вошел в купе, задвинул дверь.

— Вот черт какой! — взволнованно заговорил Костя. — Пристал — ты, говорит, не падай духом, учись...

еще, может, человеком станешь... Вот черт какой! — говорил он, тяжело дыша.

— Ну, все, тихо, — сказал я. — Включаю.

На столик наехал свет, рябой от стекол.

Как-то вернувшись из поездки, на пустынной улице я вдруг услышал женский крик:

— **Поймите его! Пожалуйста, поймите!**

Обернувшись, я увидел бегущую прекрасную девушку, но, кроме меня, никого на улице не было.

Я поглядел вниз и увидел зверька, похожего на крысу.

Быстро нагнувшись, я схватил его двумя пальцами за бока.

Она подбежала ко мне, грудь ее высоко вздымалась.

— Ой, спасибо! — виновато улыбаясь, сказала она.

Зверек мне не понравился (наглая рожа!), девушка — да.

— Ну давайте уж, — сказал я, — помогу вам его донести.

Я посадил его в шапку, было холодно.

По дороге она расстроено говорила, что очень его любит (совсем еще школьница, юннатка!), но приходится отдавать его бабушке — занятий в институте так много, возвращаешься иногда совсем ночью...

Хомячок отчаянно рвался, порвал на мне: два пальто драповых, перелицованных, три костюма шевиотовых, шесть пар белья... Потом еще пытался отвалить — в моей шапке! Потом надулся.

Наконец появился дом, где жила ее бабушка. Стукнув дверью, девушка скрылась в высокой парадной.

Я долго стоял в каком-то оцепенении, глядя вверх.

Голове без шапки было холодно.

Дом был весь еще темный, и вдруг высоко в окне у закопченной стены зажглась лампочка, мне показалось, что я слышал щелчок.

... Потом мы очутились вдруг в винном дегустационном подвале «Нектар» — деревянном, горячем, освещенном пламенем... Кроме всего прочего здесь оказалось «Чинзано», а я всегда отличался большим чинзанолюбием.

Но ведущая дегустацию, волевая женщина с высокой прической, сумела создать крайне суровую обстановку все время подчеркивая, что дегустация — это не забава

— Если хотите развлекаться, идите в цирк! — то и дело гордо говорила она.

Лариса сидела рядом, стройно помещаясь на маленьком высоком сиденье, испуганно выполняя все инструкции. И только когда мы поднимались по крутой деревянной лестнице и я сзади тихонько подпер Ларису в плечи, она вдруг выгнулась и быстро потерлась головой об мои руки.

Я остановился. Озноб прошиб нас обоих.

На улице я сразу повел Ларису к себе домой. Она плелась за мной довольно покорно и вдруг уже на лестнице ухватилась за трубу!

Я обнял Ларису за талию, она мягко гнулась под моими руками... Потом выставила ногу, якобы для защиты... Потом осталось одно ощущение ее губ — сухих, чуть сморщенных, как застывшая пенка.

И, едва опомнившись, она снова ухватилась за трубу!

Я уже знал, что у нее есть официальный жених, ее ровесник...

— Ну, не пойдешь?

Закрыв глаза, она замотала головой.

— Ну ладно.

Оскорбленный в худших своих чувствах, я проводил ее до дома, вернулся и уснул тяжелым сном праведника.

На следующий день я увидал ее из трамвая: она стояла у огня, прижатого к мерзлой земле ржавыми листьями, — тонкая, гибкая, правой рукой держала за спиной левую. Я стал расталкивать ни в чем не повинных граждан, но трамвай тронулся.

Весь день я был в напряжении, часа в четыре примчался к ней в институт, обегал все аудитории, читалки, лаборатории, но ее почему-то так нигде и не встретил.

Я шел по улице и вдруг увидал ее: она шагала с высоким длинноволосым красавцем, и так была схвачена, обнята рукой за плечо, что даже рот ее слегка был стянут набок!

...Промелькнуло несколько недель. Я абсолютно не забыл Ларису: время действует, когда оно работает, а просто так оно ничего не значит.

Я не звонил ей, но такое было впечатление, что звонил.

Случайно я видел ее на институтском стадионе. Она пробежала четыреста метров и, сбросив шиповки, босыми разгоряченными ступнями шлепала по мокрой, холодной траве...

Раз только я позвонил ей, — естественно, в час ночи, но она, что удивительно, не рассердилась и даже робко спросила: «Именно сейчас необходимо встретиться?»

— Нет, нет, — сказал я. — Вообще...

— Ах, вообще! — ответила она тихо, робко и, как мне показалось, слегка разочарованно.

Однажды я шел после работы по улицам, внушая себе, что я не знаю, куда иду.

Было темно, но света еще не зажигали. Отовсюду — из подъездов и подворотен — валили темные толпы. Я свернул за угол и попал на улицу, где жила она.

И тут я увидел, что прямо посреди улицы бежит хомячок, тот самый, опять в чьей-то шапке, и, что меня возмутило, бежит абсолютно уверенно!

Потом я гнался за ним по мраморной лестнице. Он метнулся к двери. Я позвонил. Брякнул замок.

Лариса с изумлением смотрела на нас.

— Ну... пойдём ко мне? — неожиданно сказал я.

Опомнившись, она затрясла головой.

— Ну, а сюда... можно?

— Нет, — испуганно сказала она.

— Ну, а к другу?..

— К другу? — она задумалась. — Можно...

Потом мы плутали с ней по темному коридору, и я грохнулся головой об угол.

— Бедный! — прошептала она.

О, какая она прохладная, гладкая, — словно ведешь ладошку по воде!

После этого мы два дня скрывались у Кости.

— Вот черти! — радостно говорил он. — Пользуются, что у меня мастерская!

...Когда говорят: в жизни ничего не происходит, — это неверно. Надо плотно закрыть глаза — и в темноте сами потянутся картины, казавшиеся неважными, забытые в суете, а на самом деле они и есть моменты самой полной жизни...

Неспокойная ночь, мы оба чувствуем, что не спим. Осторожно ворочаемся, тихо вздыхаем, — все самое тревожное проникает в душу перед рассветом. Потом я засыпаю странным, коротким и глубоким сном, и во сне вдруг приходит облегчение. Проснувшись, я чувствую: ее рядом нет, быстро приподнимаюсь и вижу, как она тихо стоит у окна. Я подхожу к ней и с волнением замечаю,

что выпал первый в этом году снег, — под окном белые полосы, покрытые снегом крыши поездов.

И вот одна из этих полос сдвинулась, потянулась в сторону все быстрее, — с завыванием помчалась первая в этот день электричка.

А потом и мы с ней уехали.

Я лежал в темноте на полке, и подо мной все стучало и стучало твердое колесо. Я лежал на спине, ощущая полную темноту вокруг.

Вдруг на лицо наплыл свет. Я услышал, как она с тихим шелестеньем перевернулась под простыней на живот и, подставив руку под голову, стала смотреть в окно.

— Бологое, — сказала она. — Старичок куда-то торопится. Милиционер стоит... Другой к нему подошел. Разговаривают.

Я лежал не открывая глаз, и с каким-то наслаждением, словно с того света, видел все это: желтые стены под сводами, облитые тусклым электричеством, торопившегося старичка, двух разговаривающих милиционеров.

Потом вагоны стукнулись, поезд закрипел... Свет оборвался, и снова наступила темнота.

#### IV. «Хэлло, Долли!»

Вскоре была свадьба. Запомнился стеклянный куб столовой посреди ровного поля полыни и еще — как подрались молодые стилиаги, друзья невесты, в широких брюках с пришитыми по бокам пуговицами, а у кого и лампочками.

После, примерно через месяц, она вдруг сказала, что стала очень чувствовать запахи, — капусты в магазине, запах сухого навоза и дегтя от проехавшей телеги. Как нам объяснили, это всегда бывает при беременности. До этого мы жили у меня, но теперь пришлось перебраться к ее родителям.

И вот я вел ее рожать. Она шла легко, она вообще носила легко, она и все на свете делала легко.

— Буз болит, — вдруг сказала она.

— Что болит?

— Буз!

— Зуб? А ты кури больше! Сколько куришь-то?

— Пачку... В секунду! — она вдруг захохотала, как ведьма.

Я возмущенно умолк. Уже давно я твердил ей, что, если курить, родится урод'зец, но она не обращала внимания.

Улучив момент, я схватил пачку сигарет в кармане ее халата, она стала крутиться, больно закручивая мою руку материей, и кричать:

— Ну не надер! Не на-дер!

Навстречу нам шел Филипчук, с книжкой под мышкой, а может быть, с книгой под мыгой, старый мой знакомый, еще по яслям, самый скучный тип, каких только видел белый свет. Я с ним поздоровался, и она сразу же спросила меня:

— Кто это, а?

«Вот ведь, — с досадой подумал я, — фактически идет рожать, схватки, можно сказать, и еще интересуется, кто да кто, ху из ху! Непременно ей нужно все разузнать, разведать, захватить всю душу!»

— А никто! — ответил я. — Тайна!

— Вот этот мужик — твоя тайна?

— Да, представь себе!

Она вдруг согнулась, прижав руки к низу живота, сожмурилась, открыв зубы и сильно сморщив лицо...

— Ну, ладно, — сказала она, распрямляясь, — эту тайну ты можешь иметь.

«Да, — подумал я, — с тайной мне не повезло».

— Ну как, приближения не чувствуешь? — спросил я. И тут же не удержался и добавил: — А удаления?

Мы долго шли через двор. Потом, распутив волосы, она исчезла. Я побыл там еще немного. Ряд гулких кафельных помещений, откуда-то доносятся шаги, голоса...

Я вернулся к себе и лег. Спать я не спал, но сон видел. Вернее, я понимал временами, что это сон.

Я иду по улице между двумя кирпичными домами. Впереди темная вода, мост на наклонных скрещенных бревнах слегка сдвинулся, отстал от берега, висит. Люди тихо перебираются внизу по воде. Почему-то очень страшно.

Потом я вхожу в какой-то дом, долго иду по желтоватым лестницам, коридорам, наконец вхожу в темную



комнату, там все говорят тихо, шепчутся. На полу, на стиральной доске, спеленутая, лежит она.

— Плохо, — говорит кто-то над ухом. — Она все говорила: «Лучше бы другой конец, лучше бы другой...»

Тут я наполовину проснулся и успел подумать: «Нет, это какие-то не ее слова — «другой конец». Она бы так не сказала».

И сразу же начался другой сон — легкий, светлый. За окном по железному карнизу, покрытому белым снегом, проезжают люди в шубах, в сани запряжены олени, все освещено розовым солнцем. Вот останавливаются, слезают, через стекла разглядывают комнату. Сразу за карнизом — белый сверкающий провал, снег, чувствуется, очень легкий, пушистый.

Я проснулся. Было действительно уже светло. Под самым окном мели тротуар, шаркали метлой, я сразу подумал — неужели сухой, не смочили? Тогда — пыль. Запершило в горле. Но нет, наверное, смочили, смочили...

«Дорогой, поздравляю! Ты, может быть, уже знаешь, что у нас родилась дочка, вес три двести, длина пятьдесят сантиметров. Я ее еще толком не разглядела. Только успела заметить, что, кажется твои бровки.

Теперь на тебя ложатся обязанности неинтересные, но очень важные: во-первых, к выписке (9-го, часов в 11) мне нужен гардероб: принеси костюм замшевый и свитерок. Затем рубашку, трусы и лифчик (можно тот, что я тебе отдала в приемной родилки). Потом еще туфли и ваты с марлей. Теперь — дочке. Ты мне сегодня сообщи, что у тебя есть к выписке. Узнай у мамы непременно сегодня или завтра о том, что она приготовила. Есть ли косыночка, подгузники, тонкие рубашечки. Теперь. Посмотри список того, что я тебе писала на календаре-шестидневке, и сделай так, чтобы все было. В аптеке купи ваты, рожки и соски и узнай, где есть весы напрокат. Отнесись, пожалуйста, без раздражения ко всему этому и постарайся к нашему приходу все сделать. Обо всем, что есть и чего нет, сообщи мне обязательно завтра. Принеси мне косметичку.

Целую.

Родила я в 1 час ночи и тебе не советую.

Попишу еще немножко, пока врача нет. Интересно, как тебе девчонка покажется. Мне она ужасно нравится.

Жить бы нам в квартире с холодильником и друг с другом.

Как светская жизнь протекает в городе? Не пустует ли «Крыша» и кем она заполняется? Напиши, а? Ить интересно. У дочки отпала пуговина. Это хорошо».

«Дорогой! По телефону звонить не разрешили во избежание простуды. Поэтому ты мне пиши письма, длинные и интересные: где был, что делал, с кем делал, чего добился — в общем, все те вопросы, которыми ты особенно любишь делиться. А если серьезно, то можешь писать о чем-нибудь другом или вообще ничего не писать. Ты к нашему возвращению должен: помыть окно, вытереть пыль — в общем, навести идеальную чистоту. Как насчет кровати? Поищи. В бюро справок есть список вещей для ребенка при выписке. Посмотри его и принеси, что нужно. Вот и все. Рад?»

Очень хочу домой.

Совсем забыла. Ты чего не тащишь мне косметичку? Возьми бигуди (три штуки), пудреницу и карандаш. Ты заверни это в газетку, а потом положишь в мешочек типа целлофан.

Дорогой! Сейчас доктор сказала, что завтра после двух часов в справочном бюро будет известно, выпишут меня или нет. Можно позвонить, и тебе сообщат».

Она кричала удивительно громко, при этом вся наливаясь красным, только маленькие ноздри от напряжения белели. Иногда она замолкала и тут же начинала с удивлением икать. Потом била ногами через фланель.

Мы решили назвать дочку Дашей, в основном в честь прабабушки, но и не без влияния популярной в том сезоне песенки «Хэлло, Долли!», которую своим неподражаемым хриплым голосом исполнял известный негритянский певец Луис Армстронг, параллельно подыгрывая себе на трубе.

Дочку, конечно, сразу же захватили женщины — теща, жена, тетка. Я сидел на кухне, брал целлофановые мешочки с фруктами, что жена принесла обратно из родительного дома, вытряхивал фрукты в тазик с водой — помыть. Сливы ровно легли на дно, образовав лиловую мостовую какого-то города, персики плавали посередине,

как оранжевые пушистые экипажи, яблоки всплывали и висели наверху, как розовые облака.

Потом я стянул с веревки пеленку, стал сушить ее над газом, сквозь темное, мокрое полотно виднелся синий гудящий кружок. Но тут набежала теща, оттолкнула, вырвала пеленку и умчалась.

«Мне кажется, я никому не интересен», — подумал я.

Тяжело вздыхая, я стоял в длинной очереди в кассу. — Значит так, — опомнившись, заговорил я, когда очередь подошла, — бутылку подсолнечного масла...

Громыхание кассового аппарата.

— Пачку гречневой крупы...

Громыхание.

— Полкило творога... Вот такие неинтересные покупки, — не удержавшись, сказал я.

— А что делать? — неожиданно сказала кассирша.

И главное, когда я донес все это, пытаюсь удержать в охапке, и высыпал на стол, жена быстро глянула и сказала как ни в чем не бывало: «Ага. Ну ладно. Поставь в холодильник».

На кухне сидела теща, занималась обедом, разговаривая сама с собой: спрашивала и тут же отвечала, говорила и сама же опровергала. Войдя, услышал отрывок последней возмущенной фразы: «... разве это дело — давать чучелам деньги?!»

Увидев меня, она колоссально оживилась:

— Скорей послушайте, — сказала она, — какой я сочинила стишок: «Жила-была девочка. Звали ее Белочка».

— Неплохо, — задумчиво сказал я, — а еще есть: «Шел Егор мимо гор...»

— Весной мы с Дашенькой поедem к Любы, — сияя, сообщила теща.

— Кто это — Люба?

Выяснилось, что это ее сестра, живущая где-то на Урале.

«Ну, это мы еще посмотрим», — хмуро подумал я.

Она стала жарить рыбу — валять в муке, раскладывать по сковородке.

Я все норовил выскочить, умчаться по делам, сидел как на иглах.

— Какие-то вы странные, — говорила теща. — Поешь-те рыбы.

Долго жарит, долго...

Щелкнул замок; пришел с работы тесть.

— А-а-а, — слышен его голос. — Ну, я сейчас. сейчас.

Сейчас он, наверно, снимает плащ, аккуратно вешает его на распялку, потом ставит галоши, строго параллельно, берется с двух сторон за бантик на ботинке, тянет. Долгое время вообще ничего не слышно, только дыхание: вдох, выдох. Что он там — заснул, что ли?

Наконец, потирая руки, входит в кухню.

— Суп будешь? — спрашивает теща.

— Суп? — он удивленно поднимает бровь.

Казалось бы, чего здесь странного — суп, но он такой — всегда переспросит.

Потом мы сидели в комнате, молча. Тесть читает газету, одну заметку, долго, удивительно долго. Вот наконец отложил газету, потянулся к журналу. Неужели возьмет? Этот номер молодежного журнала со статьей обо мне. Я давно уже, много раз, как бы случайно оставлял на столике... Тесть берет журнал в руки.

«Неужели сейчас прочтет?» — замирая, подумал я.

Нет! Сложил этот журнал с другими, стал сбивать их ладонями, уравнивать края. Видно, ему откуда-то известно, что журналы существуют не для чтения, но для аккуратного складывания их стопками.

Теща, прибежав с кухни, на минутку присела на диван. По телевидению как раз идет нашумевший фильм с известным актером в главной роли. Она вглядывается, щурится и вдруг радостно заявляет:

— Так это ж Генька Шабанов — на нашей лестнице жил!

— Вечно, маменька, ты придумываешь, — хрипло, зло говорит ей тесть.

Она поворачивается к нему, смотрит на него, непонятно блестя очками.

— Какой у нас папенька молодец! — умильно говорит она. — Сегодня видела его в метро — костюмчик такой славный, и даму под ручку ведет, так ловко, деликатно. Я еще подумала: какой он сладенький, наш папочка!

Тот, опалев, откинув челюсть, сидит, ничего не понимая. А она встает и гордо уходит на кухню...

Но энергия — удивительная! Только что вымыла посуду и уже — топает утюгом, гладит.

— Имеются товары, — говорит она, важно появляясь. — Цвета: сирень, лимон.

Потом она подходит ко мне, преувеличенно вежливо говорит:

— Сдайте завтра бутылки. Хорошо? И картошки купите.

Я молча киваю. Я физически уже чувствую, как все эти невкусные, неинтересные дела опутывают меня, делают своим...

— У нас заночуешь? — спрашивает тесть. — Я тогда в прихожей на раскладушке, ты — на диван.

— Ну зачем же?! — говорю я. — У вас что — рассольник? Вот и буду спать в нем!

Тесть удивленно поднимает бровь.

Никто не заходит и даже не звонит. Первое время забегали еще друзья, но теща сразу же начинала громко говорить, как бы в сторону: «Как же, шляются тут разные объедалы да опивалы!» Ей, видно, любые гости представлялись в виде каких-то полусказочных объедал и опивал — сапоги гармошкой, огромные блестящие рты, пальцы вытираются об атласные, с ремешком, рубахи.

... Время тянется томительно. Тесть осторожно гладит внучку. Жена стоит перед часами, шепчет, загибая пальцы, считает, какой грудью, левой или правой, сейчас кормить. Потом она садится на диван, положив дочь на приподнятую ногу.

Даша сразу бросается сосать, щеки так и ходят ходунком. Теряя грудь, начинает громко пыхтеть, сопеть, вертеть головой.

— Мы с ней сегодня, — говорит жена, помогая ей, — часа три уже гуляли. Со всеми старушками тут перезнакомились, что на скамейках сидят. Я им говорю: «Вообще-то у меня муж есть, но он все по делам». Они кивают так, сочувственно, и явно думают: «Понятно все. Мать-одиночка!»

Она улыбнулась, прикрыв языком верхние зубы.

— Потом домой ее отнесла и решила вдруг в магазин сходить, впервые за все это время без нее. Очень странно было идти, без брюха и без коляски!

Вдруг заверещал телефон. Звонила одна моя старая знакомая. Своим бархатным голосом она сообщила по-

следние новости, потом выразила удивление по поводу того, что я не смогу сопровождать ее в театр.

— Странно, — говорила она, — по-моему, в любой интеллигентной семье должно быть правило: каждый встречается с кем угодно и не отдает при этом отчета!

«Что ж, — хмуро подумал я. — Получается, у нас неинтеллигентная семья?»

Тут я увидел, что рядом стоит жена, глаза ее полны слез, подбородок дрожит.

— Опять? — проговорила она.

— Что — опять?! — вешая трубку на рычаг, закричал я. — И по телефону разговаривать нельзя?

— Да! — закричала она. — Нельзя!

Тесть вдруг захрапел особенно громко.

Ранним утром, спустив коляску по лестнице, мы вышли на прогулку. Было холодно. Дорога, разъезженная вчера, так и застыла остекленевшей гармошкой.

Мы двигались молча. Было удовольствие в том, чтобы катить коляску: чем-то напоминало езду на велосипеде или — из детства — бег со звенящим катящимся колесом на упругой изогнутой проволоке.

Мы въехали в пустой парк. Во льду были видны вмерзшие листья, ярко-зеленая трава. Сходя с дороги, я разбивал каблуком лед над пустотой, — открывались теплые парные объемы со спутанной травой.

— А ты чего чулки эти напялила? — спросил я. — Других, что ли, у тебя нет?

— А мне другие нельзя. У меня ноги тонкия. Тонкия! — важно проговорила она.

— Все равно! — сказал я.

— Ну ладно, — сказала она. — Теперь я буду тебя слушаться...

Потом мы скользили по ледяному склону, придерживая колясочку...

— Ло-рк! Смеется!

## V. Жизнь сложна

Прошло семь лет.

— Ех! — говорила жена, разливая чай. — Я в промтоварный сейчас заходила, такая там шерсть! Очень редко бывает! Очень! — жена покачала головой.

«Да-а, — подумал я. — Пора, видимо, братья за ум, порезвились — и хватит. Начинать пора солидную, основательную жизнь, пора в очередь становиться, как все!»

Грустно это было понимать, но я понял.

Я надел халат, пошел к себе в кабинет, сел за стол с целью начать новую жизнь.

Вдруг я увидел, что в луче солнца пунктиром блеснула паутина.

«Пунктиром... блеснет паутина!» — похоже на начало стиха.

Гляжу — все ниже она к столу опускается, а на конце ее сучит лапками маленький паучок!

Куда же он? Как раз в бутылку с чернилами, которую я открыл, собираясь заправить ручку! Шлеп! Успел только схватить его за паутинку, вытащить, мокренького, поставить на сухой лист. Паучок быстро забегал по листу, оставляя каракули. Вдруг я с удивлением разглядел, что получают буквы!

— Г... Д... Е... где-то я тебя видел!

Нахальство какое! В моем собственном доме где-то он меня видел!

Прелестно!

Еще штанишки такие мохнатые на ножках! Поднял я его вместе с листом: «Давай! Мне такие наглецы в хозяйстве не нужны! Я сам, может, неплохо пишу, конкурентов в моем собственном доме мне не надо!»

Паучок с ходу понял меня, — утянулся на паутинке и где-то под потолком непонятно исчез.

Успокоился я, стал писать письмо, — вдруг снова, разбрызгивая кляксы, шлепается на лист, бежит:

— Х... хоть бы пальто жене купил, подлец!

Тут я уже не выдержал, выхватил из ящика ножницы, стал щелкать ими над столом. Но никак паутину лезвиями не поймать: то сверкнет, то снова исчезнет, то снова сверкнет, совсем уже в стороне от стола. Долго прыгал я с ножницами, щелкал, совсем запарился. Исчезли, вроде,

паучок и паутина. Но надпись на листе осталась: «Хоть бы пальто жене купил, подлец!»

— Что за напасть? Не хватает еще, чтобы в моем собственном доме какие-то паучки меня критиковали!

Гляжу — снова спускается. Вскочил я, выбежал на кухню, взял долото, молоток, на всякий случай — лазер. Ну держись, думаю, дитя неестественного отбора!

Вижу вдруг: жена чистит картошку и тихо усмехается. Та-ак! Все ясно. Паучков подучать?

Пошел в кабинет, разложил в готовности инструменты. Паучок снова окупился в чернила, потом подтянулся на паутинке, прыгнул на лист:

— С... Т... О... П! Стоп! Перерыв! Короткий отдых!

Ну что же, перерыв так перерыв! Пошел на кухню к жене. Она говорит:

— Посмотри-ка, что за странное сооружение там на горизонте?

У нас за окном открытое пространство — далеко видно. И действительно, на горизонте что-то непонятное появилось... На высоких железных ногах какая-то площадка, на ней какие-то мощные окуляры, — сверкают сейчас, против солнца, всю кухню заполняют своим блеском!

— Да это не сооружение, — говорю. — Это, наверное, неземной пришелец показался на горизонте...

Сначала хотел было пошутить, но неожиданно сам вдруг поверил, испугался, громко закричал.

Потом вдруг икота началась!

И главное, с каждым иком оказываешься в каком-то неожиданном месте!

Ик!.. Высокая оранжерея, до самого стеклянного потолка растет какая-то дрын-трава.

Ик!.. На острове каком-то, вернее, на обломке скалы, среди бурного моря.

Ик!.. Похороны мои. Жена, седая совсем. Любимый мой ученик плачет, размазывая черные слезы по лицу пишущей лентой, которую я ему подарил.

Ик!.. Ну, слава богу! Снова на кухне оказался! Скорей попить холодной воды, чтобы больше не икать!

Вечером пошли в гости к Хиуничевым — Лехе с Дийкой, — я Лехе про иканье свое рассказал, Леха сморщился высокомерно:

— Ты все витаешь? Пора уже за ум взяться!

— Думаешь, пора?



— Что ты в лавочке своей высидишь, со своими прожектами? Идеи гениальные не каждый год рождаются, а кусать надо! Что ты дождешься-то там, если даже Орфей, со всеми пыльными-мыльными, не больше двухсот имеет?

Сам Леха давно уже «в ящик сыграл», определился в солидное место, где оклады не зависят «от всякой там гениальности», как он выразился.

— Командировочные! Премияльные! Наградные! И дома никогда не бываешь — семье подспорье! Ну, хочешь, завтра же о тебе поговорю?

Очаровательные наши дамы как бы не слушают, мнут перед зеркалом какую-то тряпку, но тут застыли, я вижу, ушки наострили. . .

— Но это ж отказ будет, ты понимаешь, от всяких попыток сделать что-либо свое!

— Кому это нужно — «твое»! — с горечью Леха говорит. — Жило человечество без «твоего» и дальше проживет.

Попили чаю с козинахом, — Дия научилась варить такой козинах: зубы у гостей мгновенно слипаются, до конца вечера все молчат. Только в прихожей уже, нас провожая, Дия говорит мне ласково, как близкому своему:

— И ты, видно, такой же, как мой!

— Какой — такой?

— Тоже как следует шарф на шею не можешь наматывать!

— Ну почему же? Наоборот! Я лучший в мире наматыватель шарфа на свою шею!

Потом мы ехали молча домой, — жена, отвернувшись, в черное окно трамвая смотрела.

— Ну, слышала? — наконец я ее спросил.

— Слышала! — сощурившись и выпятив подбородок, ответила она. — Но ты ведь, конечно, не согласишься на это. Тебе главное — несуществующий свой гений лелеять. . . ждать, пока свалится на тебя какой-то неземной шанс. А как семья твоя живет, тебе безразлично, что у других все есть, а у нас ничего! — она заплакала.

— Ну ладно уж! — не выдержав, сказал я. — Подумаем!

Хотя, чего, собственно, думать? Все ясно уже!

На следующий день я к Лехе в контору проник, — почти полдня пробивался.

Леха в кабинете своем меня принял, заставленном почему-то железными шкафами.

— Ну правильно, старих! — дружески мне говорит. — Мы тут с тобой такого накрутим!

По плечу хлопнул, — начальник-демократ!

И началась новая моя жизнь!

Приезжаешь с папкой чертежей в какие-нибудь Свиные Котлы, выходишь из маленького деревянного вокзала, на автобус садишься... Автобус километра через полтора проваливается, как правило, в яму.

Все привычно, спокойно заходят сзади, начинают выталкивать автобус из ямы. Вытолкнули — автобус взвыл радостно и уехал.

— Ничего! — спутник один мне говорит. — Это бывает! Японцы говорят — пешком надо больше ходить!

Идем километров пять, постепенно превращаясь в японцев.

В гостинице, естественно, мест нет. Дежурная говорит:

— Но скажите хоть кто вы такой, что мы места вам в гостинице должны предоставлять?!

— Я мнс! — гордо говорю.

— Майонез? — несколько оживилась.

— Мыныэс! — говорю. — Младший научный сотрудник!

— А-а-а! — с облегчением говорит. — Таких мы у себя не поселяем. Были бы вы хотя майонез, другое дело!

Что ж делать-то? Куда податься? Где-то должна быть тут жизнь, бешеное веселье, шутки, легкий непринужденный флирт?

Нахожу наконец «Ночной бар» — большой зал, и, что характерно, царит в нем мертвая тишина.

— Тут, — спрашиваю, — бешеное веселье бурлит?

— Тут-тут, — говорят. — Не сомневайся!

Называется — ночной бар, а практически, я понял, сюда только те идут, кому ночевать негде: транзитники, командированные и т. п. Добираются из последних сил, ложатся лицом на стол и спят.

Глубокий, освежающий сон.

Вдруг драка!

Подрались дворники и шорники! Шестеро дворников и семеро шорников! Встаю с ходу на сторону дворников, обманными движениями укладываю двух шорников.

Становится шесть дворников, пять шорников. Тут же встаю на сторону шорников, обманными движениями укладываю двух дворников. Становится четыре дворника и пять шорников. Тут же встаю на сторону дворников.

Появляются дружинники, говорят: «Пройдемте!»

Приводят в отделение. Скамейка. Перед ней стол, покрытый почему-то линолеумом.

Лег на него лицом. Глубокий, освежающий сон.

Тут загудело что-то. Отлепил лицо от линолеума, гляжу — над кожаной дверью надпись зажглась: «Войдите!»

Вхожу. Сидит капитан. Стол почему-то уже покрыт паркетом.

— Ну что? — говорит. — Допускали проничность?

— Откуда? — говорю.

— А что было?

— Да просто все, — говорю. — Подрались дворники и шорники. Шестеро шорников и семеро дворников. Встаю с ходу на сторону шорников, обманными движениями укладываю двух дворников. Становится пятеро дворников и шестеро шорников... Ой, извините, — говорю, — перепутал! Подрались шесть дворников и семь шорников...

Закачался капитан, застонал. И транспарант вдруг зажегся: «Уйдите!»

Выхожу в коридор — ко мне две дружинницы, хорошенькие!

— Можно, — говорят, — мы вас перевоспитаем?

— Можно! — сразу же отвечаю.

Привезли меня в Дом культуры. Да еще вахтер спрашивает их:

— Это с вами, что ли?

Что еще значит — «это»? Сейчас как дам в лоб!

— Ну, смотрите, — они мне говорят. — Тут у нас работают кружки: кулинарный, танцевальный, курсы кройки и житья. Выбирайте любой. Только сначала мы вам должны показать, как вести в обществе себя, как недорого, но элегантно одеваться.

— А я и так элегантный! — говорю. — У меня и справка об этом имеется!

Показываю.

— Ладно, — говорят.

Повели меня в танцевальный кружок. Шаровары натянули, картуз, на сцену вытолкнули, — там уже всюю пляска!

Потом в кулинарный меня привели. Быстро там коронное свое блюдо сготовил: пирог с живым котом. Жюри только начало корочку разрезать — кот выскочил, возмущенно стряхивая с ушей капусту. Аплодисменты.

Потом еще закончил курсы кройки и житья. Потом затеяники в перину меня зашили.

— Все, — говорят, — больше кружков у нас нет.

— Нет? — говорю. — Жаль!

Утром Леха приехал, с рабочими и аппаратурой, — все вошло наконец в свою колею.

Раненько, еще в темноте, возле гостиницы садишься в служебный автобус. Автобус трогается, едет по темным улицам. Все в автобусе начинают кимарить. Далеко нам на полуостров наш добираться.

— Не помешаю, — сосед мой меня спрашивает, — если ноги вам на колени положу?

— Конечно, конечно! — вежливо говорю.

Всегдашняя моя бодрость. Все буквально меня восхищает, — такое правило! Помню, в детстве еще, часами, вежливо улыбаясь, сидел над неподвижным поплавком, стесняясь бестактным своим уходом огорчить... кого?! Рыбу? Поплавок? Абсолютно непонятно.

И сейчас стараюсь держаться всегда, не вешать на людей свои проблемы... Но понял: только настырные люди, недовольные, всего и добиваются. А я — весело всегда: «Как жизнь-знь-знь?!»

«Ну, у этого-то все в порядке!» — все думают.

А Леха ноет все, жалуется, в результате машину себе выклянчил, дачу строит. При этом продолжает ныть, что нет для машины запчастей, для дачи пиломатериалов. И все сочувствуют ему, забыв, что речь-то уже — о даче и машине! Серьезным человеком его считают. Проблемы у него! А я так... Очень это все обидно.

Почему должен я постоянно чьи-то тяжелые ноги на коленях держать?

За окном тьма. Предутренние часы. Самое трудное для человека, тревожное состояние.

Мозг не проснулся полностью, не успел на все привычную лакировку навести.

Белая бабочка судорожно протрепыхалась по лобовому стеклу. За стеклами не пейзаж, а какой-то негатив. Белые бабочки пролетают. Привидение машины в белом чехле. Толстые белые перила моста. Сейчас, если в лес возле

шоссе углубиться, наверное, только бледную поганку найдешь.

Вот наконец шлагбаум черно-белый перегораживает дорогу — это уже более или менее веселая расцветка!

За шлагбаумом уже стало светать. Свернули на бетонку. Вода в ведре для окурков от вибрации сморщилась выпуклым узором... Подъезжаем: белые известковые горы. Вот наша площадка...

На базе ее — каменоломня. Гора белого камня, гора песка. В горе песка ласточки успели насверлить гнезда. А говорят еще — инстинкт у них! Вот дуры!

Устанавливаем конструкцию на стэнд, тянем провода. Пиротехники долбят известняк, закладывают взрывчатку. Включаем приборы, ставим на нуль. Ложимся. Машем рукой взрывникам: «Давай!» Потом распахиваем до предела рот, закрываем ладонями уши. Тишина, потом резкий, заполняющий все кишки, хлопок воздуха. Не усе-лась еще известковая пыль — бежим к нашим конструкциям, обмеряем...

За день перетряхнет всего тебя взрывами. И так тридцатый день подряд.

На закате возвращаемся. Типичный южный городок. Мужчины в домашних тапочках, сидящие на корточках возле ларьков. Здание «Облвзрывпрома», наполовину взорванное. Выходим из автобуса, — волосы от пыли стоят колом, в уголках глаз грязь.

Лехе говорю:

— Ну когда ж ты отпустишь меня домой? Говорил, на две недели всего, а уже второй месяц пошел!

— А что, плохо тебе, что ли?

— А что ж хорошего-то? Согласился тебе помочь, а ты, пользуясь моей мягкостью...

— Хочешь, поезжай! — грубо мне Леха говорит. — Но денег не получишь!

— Так, да? Ну хорошо!

Плюнул, ушел к себе в номер. Открыл портмоне, — там, упруго напружинившись всеми мускулами, лежал рубль.

Да-а-а... Только такие тяжелые, настырные люди, как Леха, добиваются чего-то. А я...

Стал я укладываться. Темно. Но сна и в помине нет! Как там балда эта без меня?!

Завалила наверняка все, что я поручил ей, и даже то, наверное, чего я ей не поручал!

А я почему-то здесь. «Надо» считается. Если каждому «надо» покорно поддаваться, то вскоре окажешься... неизвестно где!

Ночь душная, неподвижная, не вздохнуть. Но в гостиной, несмотря на это, бешеное общение. То и дело слышно: стук в дверь, вкрадчивые, глухие голоса.

Ко мне почему-то никто не стучит. Постучите, а?.. Слабеющей рукой открою уж задвижку!

Да нет, мало кому я тут нужен!

Странно как сосед мой храпит, сначала: «Хр-р-р!», потом тоненько: «О-о-о!», потом неожиданно: «Ля-ля, ля-ля-ля!»

Всю ночь с открытыми глазами лежал, ждал — может, опомнится Леха, постучит?

Только под утро Леха пришел. Деньги мои мне сунул.

— Ну ладно! Поезжай! Скоро и я приеду. Лорке привет!

Вспомнил все-таки, что он мне друг!

Радостный, прямо из аэропорта ворвался домой, начал будить жену.

— Не встану! — она говорит.

— Нет, вставай! Вставай и убирайся!

Обрадованно:

— Из дома?

— Нет. В доме.

— Я в одиннадцать встану.

— Нет, сейчас!

— Нет, в одиннадцать!

— Нет, сейчас!

Сунула кулачок под подушку, вытащила часы.

— А сейчас и есть одиннадцать! — захохотала.

Везет ей.

Потом я в контору забежал. Там как раз в этот момент плафон отвалился с потолка. Тут я вошел, поймал плафон, поставил его на стол — и снова уехал, на четыре месяца!

Теперь все больше один стал ездить, без Лехи. Леха, правда, командировки свои мне отдавал, чтоб я отмечал их, а деньги — ему.

— Зря ты это, — неоднократно я Лехе говорил. — Куски жизни теряешь, новые ощущения!

— Уж годы не те, чтоб за ощущениями гнаться! — Леха отвечал. — Давно пора и тебе это понять!

Помню, после очередного моего возвращения пошли к ним. У них уже к тому времени интерьер образовался. Кошка, подобранная под цвет интерьера. Интеллигентные гости в гостях — Володя Доманежьевский, литературовед!

— Вот, — жена моя сразу жаловаться начала, — купил мне эту дурацкую шаль за четыре с половиной рубля и теперь все время заставляет зябко в нее кутаться!

— Да, чего раскуталась-то? — говорю. — Кутайся давай!

Традиционный разговор.

— Возмутительно вообще, — Леха говорит. — Мы с Дийкой пять лет в очередь на чудо записаны, все сроки прошли, деньги уплачены, а чуда никакого, хоть умри!

— Ну, не знаю! — в спор я полез. — По-моему кое-каких простых вещей еще не хватает, а чудес-то как раз навалом!

— Например?! — строго Дия меня спрашивает.

— Например? Недавно совсем: поехал я в Москву, выхожу в Москве, спускаюсь в метро, засыпаю — просыпаюсь на станции метро в Ленинграде. Снова еду в Москву, сажусь в метро — просыпаюсь в Ленинграде!

— Ну, это ерунда! — Леха говорит. — Вот тут, я слышал...

Конечно, про летающие тарелки речь завел. Будто на земле все настолько ясно, что летающие тарелки понадобились для возбуждения.

— А отдохнули вы как? — оживленно к Дийке и Лехе жена обратилась. — Только из отпуска приехали — и не рассказываете ничего. Противные какие!

— Все хоккей было! — Леха отвечает. — Все схвачено было — лучшие отели, лучшие поезда. Из кабаков фактически не вылезали. Загорали, купались!

Поглядел я на них: бледные оба, как черви мучные!

— Мне-то ты не ври! — говорю ему. — Не ездили вы ни в какой отпуск, дома сидели!

— Да ты что, опалел, что ли? — Леха возмутился. — Вот билеты в оба конца, квитанция на белье... счета из лучших гостиниц, из кабаков.

— Ну ясно, — говорю. — Отчетность всегда в порядке у тебя. А в отпуск не ездили вы, только квитанции где-то достали!

— Ты, что же, за идиота меня принимаешь?

— Конечно!

— Кто же отпуск так проводит, чтоб только по бумажкам все сходилось, а больше ничего?

— Ты! — говорю. — Ты давно так живешь. Чтоб все было как положено, а сути давно уж нет!

Неловкая тишина воцарилась.

— Я слышал тут, — тактично Доманежьевский вступает, — вышла книга американского физиолога одного (начинен буквально такими вот заемными сведениями!). «Живи после смерти», кажется, называется. Так он записывал показания людей, побывавших в состоянии клинической смерти. И многие слышали там голоса, зовущие их, что свидетельствует, как он считает, о наличии загробного мира!

— Странно, — не поворачиваясь ко мне, усиленно общался Леха с интеллигентным гостем. — Я тоже ведь был в состоянии клинической смерти. Но никаких голосов не слышал оттуда!

— Значит и там тебя никто видеть не хочет! — я захохотал.

Тут Леха не выдержал, повернулся ко мне, губы затряслись.

— А сам-то ты! — Леха выговорил с трудом.

— Да-а-а... — вздохнул я. — Ну и водка нынче. Чистый бензин! Видно, на мне обратно поедем вместо такси!

## *VI. Муки*

### *не святого Валентина*

Провожая мою маму на пенсию, ей дали от института четырехкомнатную квартиру.

Потом моя младшая сестра вышла замуж за москвича, и, когда у них родился ребенок, мама переехала на время туда — нянчиться с внучкой.



Так мы остались в квартире вдвоем с женой. Дочка по-прежнему жила у родителей жены, у деда с бабушкой, — считалось, что так удобнее. По воскресеньям мы ездили к ним, обедали, разговаривали с дочкой, потом, когда она пошла в школу, помогали делать ей уроки на понедельник.

И нас это, надо сказать, вполне устраивало, — считалось, что руки у нас развязаны для каких-то выдающихся дел. Но годы шли. С годами все тяжелее давались мне эти поездки, жена обижалась, что я совсем не люблю дочь, — месяцами ее не вижу, и хоть бы что!

Нет, я, конечно, скучал иногда по ней, но ехать туда, общаться по заведенной программе с тестем и тещей... когда у меня сейчас такое буквально что состояние... выше моих сил!

Сначала тесть солидно пожимает руку, приглашает к столу, потом следуют одни и те же вопросы, и обязательно в одном и том же порядке: «Как здоровье?», «Как дела?», «Какие планы?» — причем, отвечать надо быстро, и обязательно одно и то же, любое отклонение, даже просто перестановка слов вызывает долгое недоуменное молчание.

И главное, не выскочить из-за стола, не выйти на улицу, потому, что тесть сразу же недоуменно скажет:

— За папиросами, что ли? Так вот же они!

И попробуй ему объясни, что ты выскочил так... во все не за папиросами!

Конечно, я понимал, что они очень любят внучку, а также свою дочь, мою единственную жену. И ко мне относились неплохо, да и я, в общем-то, любил их, но ездить туда было выше моих сил. И я ездил все реже.

Мы пытались делать иначе, — привозили на выходные дочку к себе. Но так тяжело было видеть, как дочка, веселая в субботу, в воскресенье то и дело поглядывает на часы и часов в пять, вздыхая, начинает собираться в обратный путь.

— Ну все! — возвратившись однажды от них, сказала жена. — Надо Дашу забирать к себе.

— Почему?

— На-ды так! Нады-ы! — выпячивая по своей дурашливой привычке подбородок, произнесла она.

— Но почему?

— Надоело ей со стариками жить, вот почему! А главное, в школе своей она со всеми поссорилась, не может

там больше учиться, плачет каждую перемену. Вот почему!

— Странно... а мне она ничего не говорила! Мне отвечает всегда, что все нормально!

— Тебе разве скажешь! — махнула рукой жена.

— Ну что ж... — сказал я. — Но только год уж пускай доучится до конца!

— Это понятно! — весело сказала жена. — А я зато с Дийкой договорилась, что мы на каникулах у них на даче будем жить!

И вот настал вечер, когда Даша переезжала к нам...

Я вышел в прихожую, прислушался. Девятый час, а жена с дочкой еще не появились. Тревожные мысли, над которыми раньше я издевался, теперь захватили меня.

Но что могло случиться? Метро, автобус?.. Тут воображение не подсказывало ничего ужасного. Может, погас свет и они застряли в лифте?

Я быстро щелкнул выключателем, — свет есть!

Потом внизу послышалось завывание лифта. Я подошел к двери, стал слушать. Лифт остановился на площадке, но голосов не было. Заскрипел открываемый замок соседней квартиры.

Я вернулся в комнату, сел.

«Да, плохо! Ни в чем нельзя на нее положиться! — привычно устало думал я про жену. — Даже привезти дочь от бабки, и то нельзя быть уверенным, что она проделает это без происшествий!»

Я абсолютно извелся, когда услышал наконец скрип открываемой двери, увидел свет, проникший с площадки.

Первым в квартиру, часто и горячо дыша, вбежал песик (подаренный дочке за хорошее окончание учебного года), подбежал и, встав на задние лапы, передними стал перебирать на моих коленях. Потом, насмешливо тараща глаза, появилась дочь, кивнула и пошла в прихожую раздеваться. С ободранным картонным чемоданом ввалилась жена, обиженная и уставшая.

— Представляешь? — кивнув на чемодан, она горько вздохнула.

«Надо же, как трогательно огорчается! — подумал я. — Словно для нее это новость, что дочь жила у деда с бабушкой, — и откуда взяться там модному чемодану?»

— Зато, говорят, в школе нашей со следующего года

будут занятия в бассейне, — сказала жена и направилась в кухню.

Там Даша играла с песиком и, увидев меня, подняла быстро голову и улыбнулась.

На кухне жена взбила омлет и вылила его из мисочки на сковородку.

— Во сколько завтра едете-то? — спросил я.

Она пожала плечами.

— Как так?

— Не знаю, — сказала она. — Звоню все время Дийке, она не отвечает.

— Но вы договаривались или нет?

— В общем, да.

— А когда?

— На той неделе еще.

— А вчера не могла созвониться? Позавчера? Трудно это было? Или невозможно?! Мало ли что могло случиться за эти дни?

Жена отвернулась к плите, заморгала, что означало у нее приближение слез.

Я ушел в комнату, сел на диван, сидел, автоматически сводя и разводя два маленьких черных магнитика, оставшихся, наверное, от какой-нибудь «Маши не хочу каши», стараясь отвлечься, успокоиться их маленьким, выскальзывающим сопротивлением.

— Что, папа? — в комнату вошла встревоженная Даша.

— Ничего, — сказал я, погладив ее по голове.

Я надел ботинки, вышел на лестницу, хлопнув дверью.

Та-ак! И это дело завалено! А Даша, особенно последние дни, так мечтала о том, что она поедет к Хиуничевым на дачу, будет вместе с их трехлетней дочкой Катей поливать грядки, как они будут бегать по лесу!

— Там, наверно, ландышей уже много. — Поддерживая в ней бодрость в последние дни занятий, я сам часто поднимал эту тему.

— Нет, — серьезно подумав, как всегда, отвечала Даша. — Ландышей еще нет. Только внизу, у ручья есть.

— Но вы-то знаете небось это место?

— Конечно! — небрежно отвечала Даша. — Мы с Каткой в прошлом году каждый день туда носились!

Да я и сам радостно думал, как хорошо будет оказаться ей в сосновом лесу после тяжелых занятий в кон-

це года, тем более, как рассказала однажды жена, Даша, выйдя после контрольной по математике, потеряла сознание. Меня эта история очень перепугала, — что же это такое... в чем дело? Может быть, просто переутомление? Даша занималась так старательно, дотошно, и вот наступили каникулы, она собрала свои вещи в старый чемодан... и вдруг выясняется, что никуда они не едут!

Я стоял, слушая ровные гудки в трубке. У Лехи с Дийкой — никого! Все ясно! Собственно, это давно было ясно, что Хиуничевы не горят желанием приютить нас у себя на даче. Мы сами давно прервали семейное общение с ними и только перед самым летом, в ожидании каникул, резко возобновили. Эта хитрость, конечно, пита белыми нитками, — и обидчивый Леха, конечно, ее раскусил. И вот результат: долгие, тягучие гудки в трубке. «Нас нет, а вы живите, как знаете!»

Я нервно топтался во дворе. Главное, тяжело было возвращаться к дочке, что-то ей объяснять...

— Ничего! Утро вечера мудренее! — сказала жена.

— Мудренее! — сказал я.

Утром, когда дочь с женой еще спали, я снова позвонил... Нет... никого! Тягучие гудки.

— Ну как? — спросила дочка.

— Пусто! — сказал я.

— Ух, мама! Уж не могла договориться! — сощурясь, Даша посмотрела на выходявшую из спальни мать.

— Ну, что будем делать? — садясь в прихожей на стул, спросил я.

— Они на даче, точно! — подумав, сказала Даша.

«Может, они на кладбище поехали? — подумал я. — Троица сегодня, все на кладбище едут».

— А поедем к ним. Нет, так нет! — сказала жена.

Я представил, как они с дочкой, со щеночком на поводке подходят к даче, — и никого там нет, ворота закрыты. Только представить себе, как они будут идти потом обратно!

— Ладно, съездим! — решил я.

Я открыл чемодан, стал перекладывать вещи в сумку.

— Английский берем?

— А как же? — вытаращив глаза, сказала Даша. — Обязательно надо будет там английским заниматься!

В электричке песик спокойно уснул. Даша читала английский. Я, не отрываясь, смотрел в окно.

«Как долго едем-то! — думал я. — С прошлого года помню эти торчащие из воды черные палки. Сколько едем, а самое только начало пути!»

Наконец мы вышли на станции, и, спустившись с платформы, сразу пошли по ноздреватому после дождя песку. И сразу же почувствовали чистый, промытый дождем, прохладный воздух!

По дороге Даша, разрывая мое сердце, все рассуждала о том, что дядя Леша с тетей Дией, конечно, уже взяли Катю из детского сада.

— Любому хочется отдохнуть от этих занятий! — рассудительно говорила она.

Мне все хотелось добежать первому до дачи, узнать, как там обстоят дела, вернуться с какой-то определенной вестью, чтобы жена и дочь не шли так, в сомнениях и переживаниях, по дороге... Но, сдерживая себя, я шагал с сумкой рядом, чуть впереди.

И вот показался за оградой двор, у сарая серый бок «Жигулей».

— На месте! — небрежно сказал я.

Словно услышав команду, песик стал рваться на поводке. Даша побежала за ним, но я с сумкой обогнал их, чтобы в случае чего принять удар на себя! Мы подошли к калитке. Леша, остроносый, в берете обстругивал какую-то доску: поставив ее на топчан посреди двора, с наслаждением прищурил глаз, готовился нанести снайперский удар, — и тут он увидел нас.

— А-а-а... И с собачкой! — только и произнес он и, не в силах сдержать своей досады, скрылся в бане, которую он строил, наверное, лет пять.

Даша со щенком в руках стояла у закрытой калитки. Из бани раздался стук топора.

К счастью, страдания в жизни не тянутся долго — этого не выдерживают ни жертвы, ни палачи, — и вот уже с крыльца дома спускалась Дия, громко говоря:

— Дашка! Какая ты большая стала! А это что с тобой за безобразная женщина? А это что за командированный с узлом?

Жена быстро подхватила ее тон. Дия открыла калитку, и, обнявшись, они с женой, болтая на тарабарском своем наречии, ходили по двору.

Трехлетняя Катя, не обращая внимания на Дашу, хотя они так дружили год назад, сразу, конечно, бросилась к щенку. Но Даша спокойно ждала, пока та опомнится и поздоровается, — характер у Даши был твердый, дожидать ситуации она умела, тут я даже иногда ей завидовал.

Не дождавшись приветствия, Даша присела к щечочку, и они стали щекотать его вместе с Катей.

— Сходите, девочки, погуляйте с ним в лесу! — сказал я, быстро закрепляя этот альянс.

— Ленья! — густым своим голосом закричала Дня. — Может, ты покинешь свой скит, хотя бы по случаю приезда дорогих гостей?

— Должен же я закончить эту сторону, раз решил! — с досадой отвечал Леха.

Я сел на раскладной стульчик посреди двора.

— Телеграмму получили от Риммы, — высунувшись вдруг из бани, проговорил Леха, — шестого приезжает, точно уже! Так что ничего, к сожалению, не получится!

И тут же скрылся обратно.

Собрав силы, я вошел к нему в клейкий, пахучий сруб.

— Да-а-а... Здорово ты тут развернулся!

— Шестого, говорю, Римма приезжает, Дийкипа мать, — упрямо повторил Леха.

— А? Ну и что? — небрежно и весело сказал я, хотя веселья и небрежности осталось у меня очень мало. — Но до шестого-то могут тут девочки пожить вместе, тем более, видишь, как они обрадовались друг другу!

— До шестого я ничего не говорю. До шестого — пожалуйста! — сломался Леха.

Тут из леса (как по сценарию) с криком и визгом выскочили разругавшиеся, радостные девочки, за ними, взмахивая ушами, как крыльями, мчался щенок.

Поглядев на них, Леха вонзил топор, вышел из бани и, наконец, поздоровался с моей женой и дочкой.

— Что, Лешенька, — не давая остыть железу, жена выхватила из сумки бутылку. — Может быть, с легким паром?

— С легким паром, с легким паром! — подхватил я.

Через час я шел к станции. На последней прямой я обогнал старичка и старушку и, спохватившись, высоко подпрыгнул, чтоб показать им, что быстро иду я просто

от избытка энергии, а вовсе не из-за опасности опоздать на электричку!

...В городе я вдруг почувствовал, что я один, что обычные заботы на время отпали.

«Что-то я давно не ночевал дома!» — бодро подумал я, впрыгивая в автобус.

Автобус переехал мост. Я все собирался выйти, позвонить (кому?), но на первой остановке не вышел, подумав, что на следующей автоматы стоят прямо у автобуса... Но почему-то опять не вышел и так доехал до самого дома.

«Ну ничего, — бодро подумал я, — зато чаю сейчас пошью! Хорошо попить горячего чаю с лимоном в холодный вечер!»

Потирая руки, я отправился на кухню. Но заварки в коробке не оказалось. И лимона не было. И вечер, в общем-то, был не такой уж холодный.

Я побродил по пустой квартире.

Да-а-а... Помнится, два года назад, когда жена уехала в отпуск и через пять минут вернулась, забыв билет, квартира была уже полна моими гостями.

— Вот это да! — с изумлением, но и с некоторым восхищением сказала тогда жена. — В шкафу они у тебя были, что ли?

Нет, они были не в шкафу, — они прятались во дворе, за мусорными баками, ожидая момента! Да... теперь, конечно, не то! Видимо, возраст. Тридцать лет. Еще двадцать девять лет одиннадцать месяцев — ничего, по тридцать лет — это уже конец.

Видимо, жизнь прошла. Не мимо, конечно, но прошла. С этой умиротворяющей мыслью я и уснул.

Проснулся я необычно рано. По привычке я стал искать на стене пятно света, сквозящего между шторами, — по расположению этого пятна я определял время довольно точно. Но пятна на стене не было.

«Значит, пасмурно, дождь!» — подумал я, и сразу же возникло почему-то ощущение вины.

Потом пятно на стене стало проступать, сперва бледно, потом все ярче и ярче наливаясь солнцем.

Я вскочил, отодвинув штору: на кусок ярко-синего высокого неба со всех сторон надвигались набухшие тучи. Я смотрел некоторое время на этот кусочек с надеждой, но потом задвинул штору, оделся, поел и, сдуваемый ветром, выпел на улицу.

«Что за лето?» — с отчаянием думал я.

С таким трудом, ценой таких унижений удалось пристроить дочку на шесть дней на дачу, на воздух, и надо же — пошел дождь, они с Катей даже не могут выйти погулять! Что я, метеоролог, что ли, виноват, что лето выдалось в этом году такое холодное?..

— У тебя жена в отъезде? — спросил приятель на работе.

— А что, есть хорошие девушки? — автоматически, думая о другом, спросил я.

— Да нет... Я не к тому. Вид у тебя какой-то неухоженный.

На следующий день, отпросившись с работы, я поехал к своим. Время в электричке промелькнуло в этот раз быстро, я соскочил с платформы, побежал по дорожке.

Дочь выскочила из калитки, бросилась навстречу, стукнулась в живот головой. За оградой лаял щенок, выпрыгивая из высокой травы, чтобы посмотреть, кто это приехал.

Я вошел в дом, обнял жену. Щеку мою защипало, — я понял, что она плачет.

— Ну, в чем дело?! — злобно спросил я.

— Взвалили тут все на меня! — сжав свои маленькие кулачки, утирая ими щеки, рыдала она. — А магазины все закрыты, ничего нет. Вот, достала только это! — она ткнула кулачком в маленькую синеватую курочку, которая лежала, поджав тоненькие лапки. Жена умела создавать жалобные картины, когда ей нужно было изобразить одинокую свою, печальную участь...

— Лешка совершенно не разговаривает! — всхлипнула она.

— Так... в лес-то хоть ходите? — обратился я к девочкам.

— Нет. Холодно очень, — грустно вздохнув, сказала трехлетняя Катя.

— Эх вы, мерзлячки! — бодро сказал я. — Быстро надевайте курточки, сапоги!

— А где папа твой? — спросил я у Кати.

— Папа в городе, — вздохнув, сказала она.

В лесу действительно было очень холодно. Подгоняемые мною, девочки дошли до ручья. Там было не только



холодно, но и сыро. Свисающие из тугих трубочек белые шаррики ландышей казались олицетворением зимы.

Возвращаясь обратно, я увидел, что ворота в ограде широко распахнуты и посередине двора стоят «Жигули». Леха, стоя на коленях у багажника, вынимал оттуда банки с краской, долго осматривал каждую, нюхал, подбрасывал.

— Что это у тебя?

Этого вопроса, видимо, Леха и дожидался.

— Да краску вот купил, — ответил он. — Пол на кухне хочу покрасить к приезду Риммы, а то ворчать начнет, как всегда, что дача запущена.

— Как же в комнаты придется входить? Через окно? — легкомысленным тоном спросил я.

Леха молча покачал головой: «Ни за что!» — и с банкой ушел в дом. Уже в отчаянии я стал бегать с девочками, взбадривать щеночка (совершенно не справляется, сукин сын, со своими функциями!) и, когда смех и лай сделались практически непрерывными, пошел на кухню.

— Что ж теперь, — не выдержав легкого тона, заговорил я. — Из-за твоей чертовой хозяйственности все должно рушиться?!

— Что все? — пожав недоуменно плечами, спросил Леха.

— Для чего ты дачу-то строил? Чтоб дочка была счастлива, верно? И конечная цель уже достигнута — посмотри в окно! А теперь ради какой-то промежуточной цели ты хочешь порушить цель конечную, понимаешь?!

Взглянув в окно, я спросил у Кати:

— Нравится тебе, Катенька, с собачкой играть?

— Нравится, — робко пропищала она.

Мне немало приходилось в жизни интриговать, но впервые я интриговал с помощью трехлетней девочки и щеночка!

И все зря!

Не слушая меня, Леха опустился вдруг на колени и стал измерять пядями пол, что-то бормоча.

Расстроившись, я ушел в лес.

«Все ясно! — думал я, шагая по лесу. — Такой тип людей, — и ничего им не объяснишь! Преодолевая трудности, так привыкают к ним, что забывают о конечной цели, упиваясь трудностями как таковыми! И главное, нет никакой возможности им доказать, что девяносто девять

процентов проблем и несчастий создают они себе сами, своими же руками!.. Хотя, с другой стороны, — несколько уже успокаиваясь, думал я, — будь Леха на каплю другим, не было бы дачи и вообще не о чем было бы дискутировать!»

Я спустился вниз, перепрыгнул ручей.

Да-а-а... Когда-то мы жили примерно в этих местах, посланные в студенческие каникулы на мелиорацию... Какое счастливое, безоблачное житье тогда было!

Днем с друзьями бегали по болотам, опрыскивая химикалиями чахлые кусты, вечером веселились... Потом я, не чувствуя никакой усталости, шел за двадцать километров, туда, где жила с яслями знакомая медсестра, и часа в четыре утра возвращался от нее обратно. Как раз тогда были белые ночи (как, впрочем, и сейчас, но сейчас я как-то их не заметил). Было светло, я шел напрямик по пружинистому глубокому мху, подходил к неподвижному озеру, спускался в гладкую холодную воду и плыл.

... Когда я вернулся на дачу, Катенька плакала, по лицу ее текли длинные слезы. Даша стояла молча. Жена спускалась с крыльца, толкая перед собой коленом набитую сумку.

— Что, едете уже? — мимоходом спросил Леха, отрываясь от пола.

Жена, не глядя на него, кивнула.

— ... Ну, так позвоните? — не выдержав тишины, проговорил он.

Я сунул руку в окно, мы молча обменялись рукопожатием.

— Дашенька, бери Рикки, — светским тоном проговорила жена.

Даша постояла неподвижно, потом сняла со стула поводок и пристегнула к ошейнику щеночка.

Песик упирался, жена тащила его, ошейник сполз ему на уши...

— Матери скажем, что он на машине нас до станции довез! — после долгого молчания сказала жена, когда мы шли уже по дороге.

Я кивнул.

— Ну ничего! — говорила в электричке жена. — Зато пожили все-таки на свежем воздухе!

— Мне не понравилось в этот раз, что погода холодная, — тараща для убедительности глаза, произнесла Даша.

Домой мы приехали поздно, молча попили чаю и легли.

— Ничего! Я уверена, все как-то устроится! — безмятежно сказала жена.

«Копечпо! — подумал я. — Обязательно! Как тут может устроиться-то?! Приучил ее в свое время ни в чем не видеть трагедии, и сам теперь на этом горю!»

«Что ж делать-то? — лежа ночью без сна, думал я. — Что Даше сказать, когда она утром проснется? Старалась, так хорошо закончила второй класс, удивив всех обстоятельностью и серьезностью; так мечтала интересно прожить каникулы, и вот из-за разболтанности родителей придется ей провести лето между мусорными бачками и пивным ларьком!»

Утром я спустился по лестнице к почтовым ящикам, посмотреть, нет ли какого-нибудь письма. В последнее время почему-то я все ждал какого-то письма, даже замочек на ящике сломал, чтобы быстрее можно было запустить руку, — по письма не приходили.

Я спустился... В одной из дырочек ящика что-то белело! Вынув, я сразу разорвал конверт. Письмо было от двоюродного брата Юры.

«Здравия желаем!

Сим письмом спешу уведомить вас, что, спихнув наконец все дела, ослобонился душой и телом, поэтому готов принять вас с достоинством вашим семейством на берегах великой русской реки Волги. Следующие факторы дают основание предполагать, что может иметь место весьма насыщенный культурный отдых:

- 1) Лодка с мотором «Вихрь — М».
- 2) Польская трехкомнатная палатка (Игорек тоже собирается прибыть с семейством).
- 3) Пропуск-разрешение на житье на малообитаемом острове-заповеднике.
- 4) Огромный запас рыболовных снастей (некоторые из них на грани законности, но это — тайна!).

Идем! Надеюсь, ты не забыл наш зимний договор, хотя заключался он в состоянии некоторого подпития.

Необходимо взять:

- 1) Одежду на случай холода и жары.
- 2) Энное количество банок тушенки.
- 3) Неограниченное количество огненной воды.

4) Несколько флаконов ДЭТы (на Волге в этом году необыкновенный вышлод комаров, — мириады!).

Мы все очень надеемся, что Дашу отпустят с вами, ее здесь ждут и Мишка, и Димочка.

Все!

Срочно звони.

*Твой друг и брат Юра».*

— От кого это? — спросила в прихожей Даша, как только я вошел.

— От дяди Юры. Помнишь, к нам зимой приезжал? Приглашает нас на Волгу.

— А что, поедем! — кивнув для убедительности головой, сказала Даша. — А будут там какие-либо дети? — важно спросила она.

— Мишка, сын его. И Димка, сын Игоря.

В прихожую вышла из спальни жена.

— Приснился мне сон, что мы плывем по какой-то реке.

— Все правильно, — сказал я. — Вот, Юрка нас приглашает.

— Ведь говорила же я, что все устроится! — сладко потягиваясь, сказала жена.

Снова она со своей беспечностью неожиданно оказалась права!

В тот же день я дозвонился в Саратов, потом, отстояв три часа в очереди, купил им билет на самолет (сам я, как выяснилось на работе, мог освободиться не раньше, чем через неделю).

И вот мы ехали уже на экспрессе в аэропорт Ржевка. За окном мелькали пироккие проселки, холмы, речки, словно мы уже прилетели куда-то далеко. Аэропорт оказался маленький, сельский. В зале было душно, преобладали старухи с корзинами.

Щеночек пугался шума самолетов, скулил... Хотели было оставить его у бабушки, но он так рвался с поводка и сипел, что решено было взять его.

Скрепя сердце, я оставил их в неказистой этой обстановке, вскочил на последний в этот день экспресс. Автобус отправился. Они, уменьшаясь, все так и сидели неподвижно в сквере, хотя начал вдруг накрапывать крупный дождь.

Всю неделю меня мучила эта картина — как сидят они в сквере под дождем. Один раз вечером я даже поехал туда, чтобы посмотреть, так ли там действительно все печально? Оказалось, что так.

И вот наконец с чемоданом и тяжелым рюкзаком я ехал туда как пассажир.

В салоне самолета было сумрачно, слова из-за мягких кресел доходили глухо.

На промежуточной посадке в Ижевске я вышел на воздух. Самолет стоял в пустом, глухом конце аэродрома возле каких-то вагончиков-мастерских. Было холодно и темно (я и забыл уже, что летом, оказывается, может быть такая тьма!).

В Саратов прилетели под утро. Аэропорт показался мне южным, — горячий воздух, колючие стриженные кусты, цикады.

Я побродил по площади и в темноте еще уселся в автобус. Автобус тронулся, я задремал. Потом вздрогнул от ощущения какой-то громадной пустоты. Я придвинулся к стеклу... Автобус катился через знаменитый саратовский мост, — огоньки пароходов внизу казались такими же далекими, как звезды.

На рассвете я доехал до маленького заволжского городка Маркса и там вдруг впервые почувствовал, что оказался на Востоке, — возле автобусной станции сидело несколько казахов в халатах.

По спуску, отделанному серым камнем, я спустился к бензиновой воде, подошел к человеку, сидевшему в моторке, и договорился. Сначала мы промчались по узкой протоке, затемненной высокой землечерпалкой, потом вдруг выскочили на огромный простор, ограниченный лишь на горизонте высокими круглыми горами, словно срезанными острым ножом со стороны воды. Дальше по краю разлива горы поднимались еще выше, в долине между горами, совсем высоко, стоял маленький розовый домик.

Последний раз я плывал по Волге давно и сейчас, оказываемый водной пылью, удивлялся, — такого гигантского простора я не ожидал!

— Амур! — кивнув головой в сторону шири, сказал водитель.

— Как Амур? — изумился я.

— Лодка типа «Амур», — усмехнулся водитель. — Со стационарным двигателем. Три тысячи.

— А-а-а, — я поглядел на большую лодку, идущую по фарватеру стремительно и мощно.

Потом, слепя, мелькнула отмель, обсаженная чайками, дальше с этой же стороны (противоположной горам) потянулись низкие песчаные острова, узкие блестящие протоки. Изредка мелькали на берегах моторки, виднелись палатки. Я стал понимать, как нелегко будет в этом лабиринте найти своих. И вдруг увидел на длинном песчаном мысу, почти исчезающем в блеске воды на горизонте, крохотное черное пятнышко, быстродвигающееся туда-сюда, подпрыгивающее.

— А это ведь песик наш! — обрадовался я. — Что еще может здесь быть такое быстрое и черное?

И вот я уже выпрыгнул в воду, вышел на песок.

— Ты самый заметный, самый видный на всем побережье! — я чесал опрокинувшемуся щеночку живот, — перекатываясь на спине, он довольно урчал.

Потом откуда-то сбоку наскочила дочь, одетая в какой-то незнакомый свитер, в чьи-то ботинки.

Я вдруг почувствовал, как лицо мое стало набрякшим, потным, плохо управляемым. Я вспомнил, что взрослые должны показывать детям пример, стал делать важные, серьезные рожи.

С песчаного берега спускалась жена, почему-то в брезентовой куртке с нашивками командира студенческих строительных отрядов.

Потом, стряхивая с рук тесто, подошел Юра, саратовский брат.

После, из леса по тропинке вышел московский брат Игорь:

— Ха, Валя! Где это тебя так подстригли?

Обцепленный со всех сторон сразу всеми, я выбрался на невысокий песчаный уступ, сел за стол.

... Вскоре, утомленный броском через пространство, я залез в палатку и крепко уснул.

Очнувшись от тяжелого сна часа через два, я вылез из палатки и испугался: вроде бы должен наступить день, но небо оставалось низким и темным, освещение было темно-красное, словно в гигантской фотолаборатории. С высокой горы за рекой дул резкий ветер, — занавеска на продуктовой полке отстегнулась и громко хлопала.

— Как приехали, все такая погода, — сказала жена. — Обычно весь день в глубине острова проводим, а то тут с ума можно сойти.

— А где Даша? — спохватившись, спросил я.

— С ребятами на внутренней протоке, рыбу ловит. . . Ну что ты, там целая драма!

Я огляделся, удивляясь мужеству дочки, которая, как рассказывала жена, и в этих условиях непрерывно находила себе увлекательные дела.

По дорожке, окруженной засохшими листьями ландышей, я двинулся в глубь острова.

Поперек дорожки, среди кустов, лежали ровные кучи хвороста, так, как их оставил разлив. Некоторые хворостины висели высоко на ветках. Перевалив песчаный холм, я спустился к внутренней протоке, — этот рукав реки, заслоненный островом, продувало меньше, вода была яркосиней. Зайдя по щиколотку в воду, неподвижно стояли с удочками: Даша, высокий худой Миша, сын Юры, и пухленький веснушчатый Димочка, сын Игоря.

Димочка вдруг дернул удилицем, и серебристая рыбка промелькнула в воздухе и упала в воду.

— О, горе мне! — кривляясь, завопил Димочка.

Даша и Миша повернули к нему улыбающиеся лица.

«Ясно! — подумал я. — Видно, Димочка придумывает слова в этой компании!» Конечно, Даше нелегко с ребятами, которые, к тому же, старше ее, — один на год, другой — на два. Наверняка она чувствует неравенство и, при ее характере, сильно переживает.

Тут Даша дернула удилицем, и довольно крупная плотва, размером с ладонь, долетела до берега и запрыгала на песке.

— О! Крокодайл! — сказала Даша.

— И у меня крокодайл! — тонким своим голосом закричал Миша.

Я спустился к ним, велел идти обедать, взял обе их трехлитровые банки с рыбой.

Жена жарила лещей на печи, выложенной в земле, искры, отрываясь, летели из высокой трубы по ветру.

Поставив банки на берегу, я вместе с ребятами сел к столу. Дима и Миша сели, обнявшись и хохоча, стали говорить о своем, не обращая внимания на Дашу, сидящую напротив.

— А мне «Фольксваген» не нравится! — нахальным своим голоском говорил Димочка. — Знаешь, как бабушка его назвала? Горбушка!

Ну почему они так демонстративно на нее не смотрят? Неужели им трудно — что-нибудь ей сказать? Или в их возрасте все это совершенно непонятно?

Даша вдруг встала, перешла на их скамейку (я физически почувствовал, как трудно ей преодолеть это расстояние) и что-то, улыбнувшись, сказала им. Ребята засмеялись, но не над ней, а, как почувствовалось, ее словам, чего она и добивалась.

«Молодец!» — с облегчением подумал я.

Жена поставила на стол сковородку.

Наступило наконец успокоение. Ветер утих. Все вокруг было серым, ровным. Только трехлитровые банки, поставленные на пляже, светились, как два зеленых фонаря. Иногда там мелькал увеличенный темно-красный плавник рыбешки.

... На стол, заваленный рыбными остатками, залитый чаем, слетелись осы. Даша вдруг вскочила посреди разговора, сначала стояла, держась руками за горло, потом вскрикнула и выбежала из-за стола. Я догнал ее, обнял. Она стояла, широко раскрыв рот, потом с усилием глотнула и пошла обратно к столу.

— Нахальство! Я осами не питаюсь! — еще со слезами на щеках, улыбаясь, сказала она.

— Давай горлышко посмотрим, — подходя к ней, сказала Майя, Юркина жена. — Она укусила тебя?

— Да.

— Прямо в горле?

Даша кивнула.

— Дай-ка я посмотрю, — сказала Майя.

Сощурившись, она некоторое время смотрела в темноту горла, потом, погладив Дашу по голове, сказала:

— Ну, ничего страшного! Если что-нибудь будет, прокатимся на катере, сходим в больницу, но я думаю, что все уже позади.

— Ну, за выздоровление! — сказал Юра, разливая вино.

Наконец-то он развеселился, а то меня удивила поначалу его хмурость, столь не соответствующая, кстати, тону письма!

Разгорелось веселье.



— Нахальство! Я осами не нитаюсь! — вопили ребята, охотясь за осами по всему столу.

Обед достиг апогея, все кричали, хохотали, в голове стоял какой-то звон. Потом я увидел, что жена, бросая на меня лукавые взгляды, о чем-то шепчется с Юрой и Игорьком. Для меня давно уже не составляли тайны эти ее заговоры в конце обеда, — опять, конечно, подговаривает всех куда-то мчаться, плясать, веселиться, и даже здесь, на необитаемом острове, не оставила своих дурацких привычек.

— Уговорила! — громко сказал Юрий.

— Ну, а с детьми кто останется? — спросила Наташа, жена Игоря.

— Я!

Я поднялся и ушел в лес. Я слышал громкие их голоса, потом треск перегруженного мотора. Я видел сквозь ветки, как лодка медленно скрылась за островом.

Я вернулся в лагерь. Дети, одурев от непрерывного возбуждения, начав с охоты на ос, теперь уже окончательно сходили с ума, — палатка, в которую они забрались, ходила ходуном, нервно-веселые крики, хохот, визг щенка доносились оттуда.

Потом, как это часто бывает, излишнее веселье окончилось ссорой.

— Фиг тебе! Ясно, фиг! — зло кричал Димочка.

— Дима, прекрати! — услышал я голос дочери.

Потом была долгая напряженная пауза.

— Миша, — спокойно проговорила дочь. — Может быть сходим на наше место?

«Молодец! Одного отсекает!» — подумал я.

Миша молчал... Ну чего же он?!

— Ну ладно! — вдруг злорадно заговорил Димочка. — Отгадай тогда, Даша, такую загадку: «В болоте родился, три раза крестился, с врагами сражался, героем остался!»

Наступила тишина.

«Что же это такое? — мгновенно вспотев, стал думать я. — Три раза крестился... с врагами сражался... что же это?!»

— Стыдно, Даша, — ехидно вдруг проговорил Миша.

— Ну, не знаешь? — ликуя, спросил Дима.

— Город, в котором ты живешь! Эх ты! — проговорил Миша.

— А... вспомнила, — небрежно сказала Даша.

Разговор в палатке продолжался, — давно уже я так не переживал за каждое слово! Я было сунулся в палатку. . .

— Папа, выйди! Не видишь, мы разговариваем! — топнув ногою, крикнула Даша, опять как бы выставляя себя главной.

Я вышел. Уже темнело. Пора было кормить детей ужином, но этой очаровательной затейницы, увлекшей всех в неизвестность, не было и в помине!

Стало совсем темно, только над горой была узкая бордовая полоса.

«Что они там делают-то? — думал я. — Давно уж, наверное, все закрыто!»

Безмолвно промчалась в темноте белая «Ракета», удивительно близко, — до этого они проходили гораздо дальше.

Было ясно уже, что с этими идиотами что-то случилось, другого объяснения их отсутствия быть не могло!

Глухой ночью, когда я хрустел в лесу сухими деревьями, стаскивая их на берег для большого костра, я вдруг неожиданно услышал их громкие голоса, и звонче всех, был, конечно, голос жены, неестественно оживленный.

— Конечно, он ничего не сделал! — говорила она.

Я бросил тяжелые жердины, которые волок к лагерю, и, повернувшись, ушел в лес.

«Что же такое? — думал я. — Вроде бы обычная жизнь, без каких-либо событий, а такие переживания, почти невыносимые».

Помню, в ночь перед операцией, я и то переживал значительно меньше, чем сейчас. . . Возраст?

Я начал вспоминать, с каких пор характер мой, мое насмешливое, легкое отношение ко всему стали изменяться. И тут я еще смеялся, и над этим тоже. Пожалуй. . . Я вспомнил один вечер, день рождения Лехиной дочки. Когда-то мы сами дружили не разлей вода. Теперь мы собирались только на детские праздники, пытаюсь так же, как дружили когда-то мы, подружить детей. Но удивительно, это почему-то не получалось, — то один, то другой ребенок, обиженный, приходил на кухню, где выпивали взрослые, мать или отец сажали его на колени, успокаивали. . . Беззаботного веселья не получалось. Пришлось все-таки помогать им. Леха поставил веселую музыку, дети, разбившись по парам, стали плясать, — и

вдруг я увидел, что Даша, робко улыбаясь, пляшет в стороне одна. Я почувствовал, как что-то горячо и остро ударило в голову и сердце.

— Прекрати, слышишь... Прекрати, — уже тише повторил я.

Да... Пожалуй, этот момент. Кончилась легкая, беззаботная молодость, началась, мягко выражаясь, вторая половина.

Я долго стоял в темноте неподвижно, потом услышал рядом тяжелый вздох.

«Кто это?» — удивился я.

Я переступил с ноги на ногу и услышал, как громко хрустя, то ли олень, то ли лось умчался в глубину острова.

Я возвратился в лагерь. Жена, искусственное возбуждение которой еще не перешло в обычно следующий за этим приступ гордой обидчивости, пыталась зачем-то разбудить спящих детей.

... Утром на острове царила полная ахинея. Печка была не разожжена, завтрак не готовился, жены вообще не было.

Брат Юра, еще более хмурый, чем накануне, зайдя по колено в воду, возился с мотором, — после вчерашней увеселительной прогулки он почему-то не работал.

Брат Игорь, элегантно подбоченясь, высокомерно подняв брови, давал советы, ценные научно, но абсолютно неприменимые в конкретной ситуации.

Потом я увидел, что из леса с озабоченным видом показалась жена.

— Что там?! — спросил я.

Какое-то плохое предчувствие охватило меня.

— С песиком нашим что-то странное творится, — сказала она. — Всю ночь где-то пропадал. Утром пошла я в лес, вижу — бежит, но как-то странно, и вдруг зарычал. Руку протянула к нему — отпрыгнул. Загривок топорщится...

— А пасть? — поворачиваясь, спросил Юра.

— Что пасть?

— Этого только не хватало, — пробормотал Юра.

Снова отвернувшись, он начал разбирать реверс, Димка и Миша, демонстративно обнявшись, ходили по пляжу, не обращая на Дашу ни малейшего внимания.

Майя вдруг отвела меня в сторону и тихо спросила:  
— Как Дашенька... нормально спала?

— Вроде бы да... — неуверенно проговорил я.

— Ну, слава богу! А то, честно говоря, я очень боялась, — укус осы в горле! Многих к нам привозили с такими отеками! А в горле даже маленькая опухоль, сам понимаешь, — начинается задыхание. Но теперь уже абсолютно ясно — все обошлось.

— Та-ак, — проговорил я, садясь на поваленный ствол ивы.

Даша, насупившись, сидела за столом, — тут откуда-то выскочил щеночек. С криком она бросилась его ловить, прижала между корней, щеночек, зарывчав, укусил ее.

Стало тихо. Все подумали одно и то же, но никто не сказал.

— ... Не нравится мне это! — произнес наконец Игорек, важно хмурясь.

— Ты что это, ты что, а? — жена хлестала щенка поводком.

— Надо срочно сделать укол, — сказала Майя.

— Катер-то сломан! — показал я.

Юра быстро вбежал в воду, дернул заводной шнур, — мотор задымил, застучал, но винт по-прежнему не вращался.

— У егеря за протокой есть моторка! — прокричал Юра.

Я побежал через лес к протоке, потом, спохватившись, вернулся за Дашей. Лицо ее только начинало сморщиваться для плача, — так быстро все это случилось.

Взяв ее за руку, я побежал, но, оглянувшись, увидел, что Юра машет мне рукой.

Винт почему-то заработал. Игорек и Юра, упершись изо всех сил, пытались оттянуть катер назад, — как стрелу в луке.

— Работает! — прокричал Юра, когда я подбежал.

— Падай! — проговорил Игорек.

Я схватил под мышку Дашу, другой рукой схватил за шкуру щенка, ввалился в лодку. Ногами я запихнул щенка в передний рундук, — щенок страшно рычал, пытаясь выбраться.

Братья опустили лодку, и она вылетела на широкую воду.

Даша на заднем сиденье плакала, и в плаче ее слышалась отнюдь не только обида на щенка. Щенок яростно грыз мне ботинки, борясь за жизнь.

Как камикадзе, я вылетел на фарватер, промчался рядом с буюм. Лодка выскочила из-за острова на ветер и волну. Ударяясь о воду, она глухо звенела, как сбрасываемое с палубы на воду пустое ведро.

Все забыв, я сделал встречной лодке отмашку не с той стороны, — мы едва разошлись, рядом скользнул борт, человек в лодке яростно крутил у виска пальцем.

Я быстро проскочил мимо высокой, закрывающей небо, землечерпалки и вошел в гавань.

И тут же винт снова остановился, — медленно, по дуге моторка приближалась к наклонной каменной набережной.

Наконец стукнулись носом в берег, я выключил мотор, стало тихо. Щенок выскребся из рундука, перевалился через борт, быстро доплыл до берега, выполз, встряхнулся, потом повернулся к воде башкой и начал лакать.

«Водобоязнь! — понял вдруг я. — Бешенство называется же «водобоязнь!» Бешеная собака не пьет и боится воды. Значит, это не бешеная! Ну, прекрасно!»

Щеночек продолжал быстро лакать, иногда только поглядывая на меня, и взгляд этот ясно говорил: «Ну, ты и ненормальный!»

Продолжая сидеть, я опустил руку, зачерпнул горсть бензиновой воды, вытер лицо.

Да-а-а... А еще говорят — возраст. Выходит, возраст этот похлестче будет, чем любой другой!

Перед глазами моими мелькнули загорелые ноги в туфлях и белых носках, Даша спрыгнула с лодки на берег, уверенно прицелкнула щенка на поводок, они взобрались наверх и вот уже весело вместе прыгали высоко наверху.

Посидев еще некоторое время, придя в себя, я тоже вылез...

Потом мы плелись по душным пыльным улицам, я заходил в магазины, обвешанные мушиными липучками, покупал хлеб, сахар, чай. Когда я заходил в магазины, щеночек, удерживаемый Дашей, скулил, вставал на задние лапы, царапался в стекло.

Потом, купив все, что можно, мы шли обратно. Уложив свертки, я взялся за мотор. Надо было найти специальный вкладыш-палец вместо сломавшегося. Я долго громыхал,

искал его в многочисленных инструментальных ящиках в лодке и, наконец, — большая удача! — нашел!

Напрягшись, высунув язык, я старательно вставлял палец в паз... Потом, распрямившись, с тревогой увидел, что погода разбушевалась. Там дальше, за узкою протокой, на ширине, ветер дул все сильнее и бессмысленней, на темных волнах начали появляться белые барашки. Ну зачем это, какой в этом смысл?

Я посмотрел на Дашу и на собачку.

— Может, переждем эту ерунду? — бодро кивнув в сторону стихии, предложил я.

— Нет. Мама будет волноваться, если мы не приедем, — наморщив лоб, подумав, произнесла Даша.

— Эх!

Мы плюхнулись в лодку, выехали на простор.

— Спрячься за лобовое стекло, пригнись! — сказал я Даше.

Даша спряталась за лобовое стекло, пригнулась, гулко кашляла там.

Широко дула низовка — ветер против течения, поднимающий самую сердитую волну. Как мы ни прятались за лобовое стекло, быстро промокли насквозь.

Вечером у Даши было 38,6. Майя, как лечащий врач, напоила ее чаем, дала аспирина. Даша валялась в палатке три дня — раскладывала засушенные ею листья, что-то писала в своих тетрадах. Под разными предлогами я то и дело заходил к ней.

— Ну как там погода? — садясь в постели, спрашивала она.

Потом мы носили ей еду, потом вытягивали из-под нее простыню, стряхивали на ветру песок и колкие крошки, потом, взмахнув, снова стелили, — Даша в это время стояла, держась рукою за стенку палатки. И главное, за все дни, пока она болела, никто из ребят ни разу к ней даже не заглянул. Понятно, другой возраст, другие интересы, — но все же?

Только поздно вечером, когда все уже засыпали, мы с женой могли спокойно попить чаю.

Да-а-а... Ну и жизнь!

На пятый день объявилась новая напасть — егерь!

Сначала он с диким треском промчался вдоль всего берега на моторке, потом с оглушительным тарактеньем

нависал над палатками на вертолете, потом вдруг явился пешком, неожиданно молодой и стеснительный.

— Это... устарело уже, ваше разрешение, — краснея, бормотал он, крутя в огромной своей руке нашу бумажку.

— Бутылку ему надо было, вот чего! — зло сказал Юра, когда егерь ушел.

— Ну да? — удивился я. — Мне показалось, что он такой...

Юра только махнул рукой.

— Что, уезжать велят? — высовываясь из палатки, спросила Даша.

На следующее утро мы все проснулись от парастающего грохота. С треском ломая кусты, выехал высокий колесный трактор. Сзади него волочился изогнувшийся петлями толстый трос. Трос отнесло песком в сторону. Прыгая и извиваясь, как удав, он задел и свалил столик для зубных щеток, врытый возле берега, потом свалил, зацепив, палку, на которой вялилась рыба, потом выдернул угловой кирпич из печки, и печка завалилась. Трактор с треском въехал в кусты и там неожиданно затих. Егерь слез с трактора, подошел к нам со своим двухлетним пацаном на руках, — покачиваясь, неподвижным взглядом смотрел на нас.

— Ты чего это... с тросом? — еле сдерживая бешенство, спросил я.

— Да тут понтоны тягали, — с трудом ворочая языком, проговорил он.

Потом он стал демонстрировать, какие забористые словечки знает его двухлетний сынок. Тесно окружив его, мы счастливо смеялись.

— Ладно... к обеду, может, буду, — проговорил он, возвратился к своему трактору и с треском уехал в лес (называется егерь!).

Даша собиралась долго и кропотливо, — перекладывала гербарий, отдельно упаковывала найденную в лесу задохшую змеиную шкуру.

— В школе же все это мне понадобится! — говорила она.

— В какой школе-то? Эх! Еще ничего не известно, — с английской-то школой договоренности нет, вполне может получиться, что весь второй класс она учила английский понапрасну...

Когда мы ждали на автобусной станции, навалилась страшная черная туча, стало темно, подул ветер и несколько светлых перекасти-поле, прихрамывая, выкатились на площадь.

На вокзале в Саратове творилось что-то невообразимое. Не было ни одного места на полу, где не сидели бы на вещах люди, — чаще всего почему-то с плачущими детьми.

— Ну как же уехать? — прорвался я наконец к дежурной по вокзалу.

— Понятия не имею! — злобно ответила она. — Все дополнительные поезда отменены.

Я не стал ее расспрашивать дальше, по опыту знал, что все так напряжено, что только тронь — прорвутся отчаяние и злоба.

Я вернулся в набитый зал, где ждали меня жена, дочка и песик.

— Ну как? — спросила меня Даша.

Собрав все остатки энергии, я прорвался через плотную толпу к кассе, ничего не объясняя, только толкаясь, — и через два часа, измятый, постаревший, выбрался из этой адской толпы с билетами. . .

— А с кобелем своим куда лезете? — сказала плотная, похожая на печь, проводница, когда мы подошли к вагону.

— А. . . что?

— Разрешение есть на провоз?

— А где, скажите пожалуйста, его получать?

— В городе, где ж еще! — ответила она и своим плечом в колючей шинели оттеснила нас от площадки и отвернулась.

Мы возвратились обратно в вокзал.

«Это конец!» — подумал я.

Жена и дочь смотрели на меня. . . Я вдруг расстегнул чемодан, схватил взывшего щенка, сунул его в чемодан и защелкнул замки.

— Ты что? — проговорила жена. Губы у нее затряслись. . .

— Быстрей! — яростно сказал я.

Проводница посмотрела на нас подозрительно, но пропустила. Когда она вошла в купе отбирать билеты, песик,



потрясенный и оскорбленный, сидел на полу, а на столике лежала пятерка.

Она плюнула на песика, зло схватила пятерку и, резко, со скрипом задвинула дверь, исчезла.

Поезд качало на стрелках. За окном мелькали деревья. Да-а-а...

## VII. Попытка развода

Туго повернулся ключ, едва растворилась дверь. Чувствовалось, что в квартире у нас давно никто не был, — тяжелый застоявшийся запах, повсюду пыль.

Заглянули хотя бы грабители: проветрили бы квартиру, а заодно бы и прибрались.

— Ну вот мы и дома! — сказал я.

Мы вошли в комнату. Странное дело: все цветы упали с подоконников, валялись на полу. Горшки разбились, рассыпалась земля. Видимо, те мощные ветки, которые тянутся от стволов к солнцу, уперлись в стекло и наконец посталкивали горшки с подоконника.

Странные растения, сами себя не могут рассчитать. Цветы-самоубийцы — это что-то повенское!

Жена, выругавшись, взяла веник, принялась подметать.

— Ну все, — сказал я. — Меня пет!

Закрыв дверь в кабинет.

Я-то знал, что буду сейчас делать!

На языке у меня давно вертелась фраза: «Нежное зеркало луж».

Я сел к столу и стал писать:

Как темно! Мы проходим наощупь.

Я веду тебя, тихую, слабую.

Может, ждет нас ответственный съемщик,  
Сняв с ковра золоченую саблю?

Вот окно. Два зеленых квадратика.

Станут тени зелеными, шаткими.

В сквер напротив придут два лунатика

И из ящика выпустят шахматы.

... Тени ночи вдруг сделались слабыми.  
Темнота струйкой в люки стекает.  
И овчарки с мохнатыми лапами  
В магазинах стоят вертикально.

Ты берешь сигареты на столике,  
Ты проходишь по утренней улице —  
Там, где тоненький, тоненький, тоненький,  
Мой сосед в этот час тренируется!

Во!

При чем же все-таки «нежное зеркало луж»?  
Я снова взял карандаш.

## ДОЖДЬ

Ужасный дождь идет, спасайтесь!  
Внизу у самого асфальта,  
Мелькают остренькие сабельки,  
Сверкают маленькие всадники.

Они то выстроятся к стенкам,  
То вдруг опять придут в движенье.  
В каких-то тонкостях, оттенках  
Причина этого сраженья!

Ах, кавалерия! Куда ты?  
Стою я мокрый, изумленный.  
На клумбах, словно на курганах,  
Чуть-чуть качаются знамена.

Я встал, подпрыгнул, шлепнул ладонью о потолок.

— Резвишься? — появляясь, сказала жена.

— А что? — еще не отдышавшись, спросил я.

— В школу надо сходить, вот что!

— В какую школу?

— В английскую, — в какую, в какую! А то из той-то,  
где бабушка с дедушкой, Даша ушла, а в эту еще не за-  
писали ее.

— А ты, что ли, не могла раньше поинтересоваться?  
Не перед самыми занятиями?

— Честно говоря, я ходила. Но мне отказали. Гово-  
рят, район не тот. Соседний с нами дом еще принимают  
в ту школу, а наш дом уже нет. — Она вздохнула.

Та-ак! И это на мне. И знает ведь, как я обожаю та-  
кие дела!

Но лучше быстрее этим заняться. Школа с углубленным английским, все классы могут быть переполнены. Если все рухнет — для Даши это трагедия. И мнение о родителях: значит, мало на что они на этом свете способны!

Я приехал в школу, волнуясь. Надписи на всех дверях по-английски. «Принсипал» — это, наверное, и есть «Директор». Запах в школах тем же остался, что и раньше. Старые волнения вспомнились — не исчезли еще, оказывается, хранятся в башке! Все-таки, что ни говори, а самое нервное время жизни — школа! До сих пор сны снятся, как ты чего-то не знаешь и боишься, что сейчас спрыснут. Навсегда комплекс тревог отпечатался.

«Но мне-то что, — вдруг подумал, — я-то поволнуюсь тут час, а Даше каждый день... Если конечно, — тьфу, тьфу, тьфу!»

— За мной будете! — встал мужчина в замшевой куртке.

«Проклятье, — подумал я, — еще претендент, и главное — впереди меня! Может, единственное место в классе освободилось, и он его как раз займет!»

Сколько раз меня нерешительность моя губила, — пока медлил, колебался, другие раз-раз — и в дамках! Не выдержал, приблизился к нему:

— Простите, вы в какой класс?

От волнения даже не заметил, что вопрос курьезно звучит.

— Я в первый, — улыбаясь, ответил он.

— А, ну тогда хорошо, — успокоился.

Улыбнулись.

В фойе понемногу набираются старшеклассники, — еще летние, независимые, в джинсах... Какая-то толстая женщина их приветствует, видимо уборщица:

— Мать моя! Один лучше другого! Ну что, соскучали без школы? — добрые морщинки у глаз.

Все ясно. Добрый ангел!

И тут стукнула дверь, появилась дама в прекрасном кожаном пальто, с ней девочка, как раз, паверно, третьего класса.

— А, здрасте! — ласково уборщица их встретила, провела к кабинету директора, у самой двери поставила. —

Вот тут и стойте. Как Александра Дмитриевна придет — сразу к ней. Она вас ждет.

Глянула нахально на нас, повернулась, ушла.

Проклятье. Что ж делать? Кричать, доказывать? Как бы все не испортить, если она знакомая Александры Дмитриевны.

С мужчиной в замшевой куртке переглянулись, вздохнули, руками развели.

— Да-а... А еще говорят: маленькие дети — маленькие хлопоты... — сказал он.

— Разрешите! — услышали мы резкий голос.

Кожаная дама закрыла собой дверь, а тут директриса появилась.

— Пожалуйста, пожалуйста! — дама отстранилась.

Директриса кинула на нас неласковый взгляд, повернула в двери ключ. Кожаная дама за ней ворвалась, буквально на ее плечах...

— Вениамин Машинович в Паланге сейчас, но он... Обменялись мы взглядами с мужчиной.

— Ну, это надолго, наверное, — говорит. — Покурю.

Я кивнул. Он на воздух вышел, видно: стоит под окном, курит.

— ...Спасибо. Обязательно передам. Непременно. Всего вам доброго! — кожаная дама пятилась из кабинета.

— Прошу! — в дверях директриса. — Вы ко мне?

В окно посмотрел — мужчина курит, ни о чем не ведает. В такие вот напряженные минуты и важно порядочность сохранить. А так, в спокойной-то жизни, чего легче!

— ...Нет. Передо мной еще мужчина. Сейчас позову.

Тот благодарно кивнул, бросил окурок, побежал.

Долго его не было. Видно, дело серьезное, раз она так его выспрашивает.

— Прошу!

Я встрепнулся. Не своими шагами прошел по ковровой дорожке, боком сел к столу.

Приблизительно минут через пять я выскочил из кабинета, хотел подпрыгнуть, вовремя опомнился...

— Ну как, папа? — сразу спросила Даша, когда я вошел.

— Нормально, — небрежно ответил я.

— А насчет учебников не спросил?

— А что? Нету? — я перевел взгляд на жену.

— А я откуда знала? — пожала плечами она.

— Понимаешь, в той школе мне не дали, потому что знали, что я уйду. А в этой, наверно, меня не было еще в списках, — объяснила Даша.

— Ясно! — сказал я. — Ну, это ничего. С учебниками уладим как-нибудь, без учебников не останешься!

— Надеюсь! — улыбнулась Даша.

— А я тоже тут сделала одно дело, — смущенно-хитро улыбаясь, промолвила жена, прикрывая кончиком языка верхние порченные зубы.

— Какое, интересно?

— Денег достала! — она высунула язык.

— Ну? Где? — обрадовался я.

— Дяде Симе книги она продала, — сказала Даша.

— Та-ак, — я бросился в кабинет. — Ты что... совсем уже? Половину библиотеки, самых любимых поэтов моих!

— Да? — вздохнув, сказала жена. — А я думала, ты их не любишь...

— Так вот. Быстро звони этому твоему Симе, пусть тащит книги назад, пока он не загнал их по спекулятивной цене!

— Нет.

— Что нет?

— Он обидится.

— А мне-то что? Десять минут назад я не знал ни о каком Симе, ни о каких его обидах... Это все твое творчество! Мне надо только одно — чтобы книги мои снова на полках стояли, а эмоции меня не волнуют.

Скорбно кивнув, жена вышла. Потом я слышал, как она в той комнате набирает номер, потом очень тихий — специально, чтоб я не мог разобрать, — долгий разговор.

— Ну все! — появляясь, сказала жена.

— Что все?

— Все улажено. Сейчас Симка приедет. Непонятно, чего было так психовать?

— Непонятно? — в ярости спросил я.

Минут через сорок появился Сима. Сухо поздоровавшись, он стал обиженно смотреть в сторону.

— Ну... принес книги?

— Какие книги?

— Которые ты сегодня купил вот у нее.

— А? Так их уже нет.

— Так. А где они?

— Я не для себя их покупал, — глядя в сторону, оби-

женно проговорил он. — Для брата... вернее, для его жены.

— Ну, и у нее уже, конечно, нельзя их забрать?

— Ну почему же? Можно, — пожав плечами, произнес Сима. — Только она в Индию улетела полчаса назад, — добавил он, глянув на часы.

— Та-ак. Уже и Индия показалась на горизонте! — я глянул на жену.

— Значит, элементарно, — весело сказал я. — Надо просто съездить мне в Индию и взять там у нее мои книги. Я правильно понял?

— Ну почему же так все оглуплять? — дернув плечом, произнес он. — Достаточно просто будет выслать ей деньги, и она вышлет ваши книги. Только там не рубли, в Индии. Там рупии, кажется. Можете рупии достать?

— Ну конечно же! — сказал я. — Значит, я достаю рупии, отдаю их тебе, ты отсылаешь их своей сестре, она присылает тебе мои книги и ты приносишь их мне?

Сима кивнул.

— Видишь, как все, оказывается, просто! — повернулся я к жене. — Значит, все? — спросил я у Симы.

— Ну почему же все? — снова обиженно отворачиваясь к окну, проговорил он.

— Так... а что еще? — спросил я, глядя на жену.

— Не знаю... Мне Лора сказала, вы еще какие-то книги хотите продать. Я схватил такси, примчался... — он пожал плечами.

Жена мне усиленно подмигивала, хотя вроде бы она должна была подмигивать ему.

— Иначе он приехать не соглашался! — наконец сказала мне она. — Ты уж, Симка, вообще! Сколько замечательных книг взял, практически за бесценок, а теперь и остальные хочешь забрать!

— Не знаю. Ты мне сказала. Я взял такси, приехал. — Сима смотрел в сторону.

— Ну видишь? — сказал я жене. — Человек на такси приехал! Ясно тебе? Чего, Сима, тебе нравится еще из моего добра?

Забрав вторую половину библиотеки, Сима, обиженный и недовольный, уехал.

— Зачем ты эти-то книги ему отдал?! — как бы вываривая абсолютному несмышленишу, спросила жена.

— Вали отсюда! — я затрясся.

Через час я подошел к ней. Она лежала ничком на кровати, уткнувшись в подушку.

— Слушай меня внимательно и запоминай: никогда, нигде и ни за что ничего не делай! Так будет значительно легче и тебе и мне!

— Вот это мне нравится! — она радостно подскочила. Быстро же улетучилось ее расстройство!

Но главные неприятности этого дня, оказывается, были еще впереди. Часа примерно в три раздался звонок. В дверях стоял хмурый человек с мешком.

— О! Приехали наконец-то, — проговорил он. — А то мы дверь у вас хотели ломать.

— Зачем же дверь-то ломать? — растерялся я.

— Сейчас увидите! — ответил он.

И, подойдя к телефонной розетке, вырвал ее из стены и положил вместе с телефоном в мешок.

— В чем, собственно, дело? — дрожащим от волнения толосом произнес я.

— Вовремя надо платить! — ответил он и хлопнул дверью.

Я посмотрел на моих домочадцев.

— Наверное, это из-за того счета, — очаровательно смутившись, проговорила жена.

— Какого того?

— Вот, — потупясь, она протянула мятый листок.

— Симферополь? Это зачем?

— Это я Дийке звонила. Они тогда с Лешкой поругались, и она к матери уехала. Могу я поддержать свою подругу? — нахально пытаюсь перейти в наступление, сказала жена.

— Да... но не за пятнадцать же рублей!

— Это я согласна, — она кивнула.

— И это ведь в марте еще было, чего ж ты раньше-то не сказала?

— Я боялась, ты ругаться будешь, — потупилась она.

— Да? А теперь не боишься? Странно.

— Боюсь.

— Но ведь, наверное, и повторные напоминания присылали?

— Присылали. А я их прятала, — с упрямством отчаяния, повторила она.

— Ну, и чего ты добилась? — я кивнул на то место, где была раньше телефонная розетка.

— Добилась! — повторила она.

Я махнул рукой.

— Так что же теперь делать? — через некоторое время спросил я.

— Надо на телефонную станцию обратиться, — рассудительно сказала дочка.

— Ну, и кто пойдет? — я посмотрел на жену.

О! Трет уже кулачками под глазками! Надо же, как трогательно! Картинка Пикассо «Любительница абсурда».

— Мне, видимо, выпадет это счастье?

— А хочешь, мы тебя проводим? — сразу же развеселившись, проговорила жена.

Вместе с собачкой они отправились провожать меня до автобуса. Солнце сверкало в лужах, глаза от блеска и ветра слезились.

— Кто последний? — входя на телефонный узел, задал я привычный вопрос.

— Я! — кокетливо поворачиваясь, ответила старушка в панамке и, обратившись к своей собеседнице, продолжала: — ... Нет, телефон у нас есть. Ни одного дня без телефона я не жила! И до войны, когда мы у отца жили, он концертмейстером был Мариинского театра, имелся у нас телефон, и после того, как он скончался, телефон остался. В блокаду, правда, ненадолго отключили, но после снятия ее сразу же восстановили. Только я заявление подала, буквально в тот же день поставили телефон. — Она произносила «телефон».

«Чего же она делает тут, если телефон есть у нее?» — отвлекшись от своих тяжких мыслей, подумал я.

— Правда, четыре года назад, когда мы от коммунальной квартиры отгородились, телефон в той половине оставили жильцам. Как они устроили эту мерзость — их дело. Но муж в тот же день, он техник был крупного завода, надел все свои награды, пошел в исполком — и нам буквально через месяц установили телефонный аппарат!

«Ясно, — вдруг понял я. — Просто надыбалась старушка место, где она счастливей, удачливей других, и хвастается. Все правильно!»

— Ладно! — повернулся к ней, — так уж и быть, давайте ваш телефон.

— В каком смысле? — надменно проговорила она.

— Ну, в смысле — номер ваш. А то телефон-то у вас есть, да никто, видимо, вам не звонит?



— Ну почему же? То брат, то племянник!

— Ну тогда хорошо.

Все остальные в очереди молча сидят, с нетерпением глядят на дверь в кабинет. Надеются, что с катушкой оттуда выскочат, помчатся, на ходу разматывая телефонный шнур. Но получается, скорее, наоборот. Красные выходят оттуда, расстроенные, бумаги свои, на которые такие надежды возлагали, в портфель обратно суют, не падают.

Скоро и мне. Мандраж некоторый бьет, не скрою. Это когда-то я считал, что все на свете могу. А теперь... кислота жизни всех разъедает. Жи-зень!

— Нет, — снова старушкин голос прорезался, — я без телефона ни одного дня не жила!

Молодец!

Лампочка загорелась над кабинетом. Я пошел.

Чего только я не делал перед тем начальником! И бумаги предъявлял, что я являюсь несусветным гением и красавцем, и генеалогическим деревом своим тряс, и чуть не плясал!

— Ничего не могу поделать, — только повторял он, — такое положение: через неделю после последнего уведомления телефон отключается.

— Ничего, значит?

— Я уже говорил.

И кнопку нажал.

— Сейчас, как дам по лбу! — трясясь от ярости, выговорил я.

В коридоре, как и все, я пытался засунуть свои бумаги в портфель.

За что я ненавижу свою жену — за то, что она меня все время в ситуации такие толкает, где я так остро несостоятельность свою чувствую! И главное, чувство это останется на всю жизнь, на другие мои дела распространится! Вот так.

Вернулся домой, стал из кувшинчика цветы поливать. Даже такие вещи, про которые принято говорить: «Да это так, жена балуется», — и те целиком на мне!

— Какие у тебя дальнейшие планы? — жена спрашивает.

— Побриться, — отвечаю, — постричься, сфотографироваться и удавиться!

О-о! Заморгала уже...

— А белье кто в прачечную отнесет?

— Никто!

И все! Кулачками глазенки свои трет. Поглядел я на крохотные ее кулачки, с синенькими прожилками, и вдруг подумал: «А ведь загонит она меня этими вот самыми кулачками в могилу!»

Впервые ясно так это почувствовал!

... В прачечной такая же юркая старушка обнаружилась, как на телефонном узле. Стояла поначалу за мной, потом заметила женщину впереди, к ней перекинулась...

Вот чем теперь загружен мой мозг!

— ... училище закончил, устроился. Форму носить не надо, оклад двести тридцать, как у научного работника. Говорю ему: «Зачем ты тогда училище-то кончал?» «Мамо! — говорит. — Не учите меня, как жить!» Теперь женился. Бабу свою к нам привел. Техникум у нее кончен, на фабрике «Светоч» работает. И с первого дня у них — симоны-гулимоны, дома и не увидишь. Дочка растет — им хоть бы что. «Посмотрите, мама, за Викочкой!» — и хвост трубой. Но дочка, правду сказать, такая уж умница да красавица! В первый класс в прошлый год пошла, одни пятерки только домой приносит...

Гляжу потом — к другой уже бабе, поближе к цели перебралась:

— ... но зато, — слышу оттуда, — такая умница да красавица, в четвертый класс осенью пошла!

Вот оно как! Уже в четвертый!

Сунула в окошко свой узелок и, резко смолкнув, ушла.

Потом самодовольный без очереди сдал. Вошел важно в помещение — женщины льстиво заговорили, повернувшись к нему:

— Вот это, сразу видно, мужчина, мне бы такого! И дела, чувствуется, идут у него — будь-будь! И вот жене помогает, не дает ей в квартирное помело превращаться, как другие мужья. И курточка-то какая славная у вас, всю жизнь себе мечтала достать...

Самодовольный выслушал важно, потом говорит:

— Все мечтают. Не продам. Бензином пахнет?

— Есть немножко, — женщины загомонили.

— Правильно! — кивнул. — Сейчас заправлялся. Разрешите без очереди сдать, мотор остывает!

— Пожалуйста, пожалуйста! Настоящего хозяина сразу видать!

А я, по-ихнему, получаюсь — кто?!

Потом я долго мыкался по двору, ждал, когда телефонная будка освободится — позвонить.

Теперь в любую погоду, и в дождь, и в холод, надо на улицу выходить, чтобы позвонить!

В одной будке молоденькая девушка, в другой — усталая женщина лет сорока. Но голоса их переплетаются то и дело.

— Ну, Боб! Ты один! — захлебываясь восторгом.

— ...Позавчера на бровях пришел, вчера на бровях...

— Ладно! — смеется молодая. — Меня эти прихваты не колышут!

— Я ему говорю: «Николай! Что ты делаешь! Погляди на ребенка!»

— Ладно! Не надо меня за дурочку считать! — счастливо смеется.

Целая жизнь, как прочерк, между будками этими вместилась.

Окна зажигаются, освещают двор.

Обе женщины одновременно из будок выходят.

Сунулся в ту, где молодая была, запах вдохнул.

Лехин номер набрал.

Дийка в отъезде оказалась, — пошел к нему поговорить по душам.

— Все! — я сказал. — Пора поднять семью на недостижимую для себя высоту, иначе смерть.

— Точно! — Леха горячо подхватил.

— А баба-то у тебя есть хоть какая-нибудь сейчас?

— Есть вообще-то, — довольно-таки вяло Леха ответил. — Но так, в основном, для отчетности. Для самообмана.

— Ну хоть хороша она? Душевная?

— А-а! — махнул рукой Леха. — Такая же стерва, как и Дийка, даже хуже!

Вот именно. То-то и оно!

Я уже уходил однажды от жены, но как-то странно все получилось: ушел я к известной балерине, а вернулся от дворничихи. Искусство балерины меня покоряло, да и просто как человек она меня искренне восхищала. «Да, —

думал я. — Это женщина четкая, деловая, с такой не пропадешь». Но именно с ней я чуть было и не пропал... Непрерывное напряжение, жизнь, рассчитанная по секундам, функциональность каждого движения и интонации. Я убежал от нее во двор и там был подобран жалостливой дворничихой. Она привела меня в свой флигель, облезлый и старый, с воротами, окованными железом (когда-то он, видимо, был каретной).

— С женкою, что ли, поругался? — с присущей простым людям пронизательностью спросила она.

Я стыдливо кивнул.

— Так ты и жрать, наверно, хочешь? — догадалась она.

Я снова кивнул.

— На, жри! Небось и самогоночки заглонишь?

«Вот так! — в сладком алкогольном дурмане думал я. — Злобная, глупая жена и эта вторая, бездушная карьеристка, никогда так душевно не поинтересуются, что у тебя болит. А эта! И главное, бескорыстно!»

— А это кто? — испуганно спросил я, увидев вдруг за пологом на кровати спящего старичка.

— А-а, муж мой! — злобно сказала дворничиха. — В летаргическом сне, восьмой год уже!

Однако, когда она скрылась на кухню, старичок открыл один глаз, хитро подмигнул мне и снова закрыл.

Я был потрясен! Неужто я был предназначен вместо него?

— Чего не жрешь-то совсем? — возвращаясь, спросила дворничиха.

— Я ем.

Растрогавшись, я быстро, как молнию, открыл перед нею душу, стал подробно рассказывать, что и как... Лицо ее приблизилось к моему... и вдруг я почувствовал, как сильные руки поднимают меня и несут.

— Э-э! — закричал я, но было поздно...

Я прожил в каретной десять дней, подружился с летаргиком, который уговаривал меня тоже погрузиться в летаргию, но, подумав, я все-таки не решился.

Через неделю я вернулся домой и решил никуда больше не уходить.

Поэтому, изливаясь перед Лехой, я знал уже, что это бессмысленно, что никуда я не денусь, да и никуда деться!

Тридцать первого августа я вернулся с работы и застал дома только дочь, жены не было.

— А где мама-то? — спросил я.

— Не знаю, — расстроенно усмехнулась Даша. — Какая-то подружка к ней заглянула, и они убежали. Сказала, что скоро вернется...

— А сколько прошло уже?

— Четыре часа.

«Та-ак, — подумал я. — А что муж с работы вернулся, ей на это наплевать».

— Баба Аля приехала! — сказала дочь.

— Как? А где же она?

— Пошла в собес.

Так! Приехала мать, что делает она два раза в год, а жены, как будто специально, нет дома, и когда она вернется?..

Я долго сидел на кухне, пил чай, посматривал в зеркало на стене, отражающее улицу. На остановке скапливалась жиденькая толпа, потом в зеркало вползал длинный троллейбус и, стерев отражение очереди на остановке, уползал на другой край зеркала.

Потом показался еще троллейбус, остановился. И я увидел, как мать обходит троллейбус сзади, торопливо двигая головой влево-вправо, переходит дорогу... Спешит!

Я почувствовал, как внутри все сжалось... Хоть мать-то меня любит, торопится, почти бежит!

Я открыл дверь и, улыбаясь, стоял сбоку, ожидая... Мать быстро вышла из лифта, увидев меня, улыбнулась, чмокнула в щеку.

— Началось? — тревожно спросила она, устремляясь в комнату.

— Что? — удивился я.

Оказывается, спешила она на премьеру многосерийного телевизионного фильма, боясь опоздать!

Потом мы сидели с нею рядом, молча и неподвижно, глядя по телевизору многосерийку, которая, честно говоря, веселила очень мало.

— А это что за новости? — разочарованно отвернувшись от телевизора, мать кивнула на оборванный телефонный провод.

— Ничего! — сумел бодро выговорить я. — Без телефона как-то даже спокойней.

— А! — мать расстроено махнула рукой. — Нельзя квартиру на вас оставить!

Ну, когда-нибудь я уж отомщу за это жене, — за то, что приходится сейчас улыбаться, изображать перед матерью этакого супермена-весельчака, которому все нипочем, даже утрата телефона.

— А что Лорка, совсем, что ли, дома не бывает? — спросила, нахмурившись, мать. — Все-таки завтра первое сентября, дочь в новую школу идет, могла бы появиться хотя бы на час!

«Да, — улыбаясь, но внутренне задыхаясь от ярости, думал я. — Умеет жена моя закрутить ситуацию! Первое сентября, приезд матери, вырванный телефон, — неслабый наборчик!»

Резко поднявшись, мать ушла к себе в комнату, и долго ее не было. Потом она вернулась: в очках, добродушно шурясь, разглядывая какой-то помятый листок.

— Давно это, не помнишь?

— Что это?

— Да вот, на флюорографию вызывают! — озабоченно, но не без гордости сказала она.

Улыбаясь, я обнял ее, и так мы некоторое время стояли посреди комнаты.

Потом, высвободившись, мать с озабоченным лицом направилась к себе в комнату.

Я собирал дочку в школу, с наслаждением чинил гладкие, пахучие карандаши из набора «Кохинор».

Я понял вдруг, откуда это: «Все для ребеночка!» Просто притупляется с годами острота ощущений и лихо-радочно пытаешься почувствовать все с прежнею силой через ребенка.

Даша легла, уснула мать. Я некоторое время прислушивался к завыванию лифта, потом заснул сам. Начался сон, который часто посещает меня при тяжелом настроении, — сон документальный, но все равно страшный. Мне снилось, как мы с женой в первый год нашей совместной жизни ездили в Ригу.

Женились мы как-то по инерции и легкомысленно, и вдруг почувствовали, что сделали что-то серьезное. Веселые друзья, душевные подруги, компании — все исчезло, как волшебство. Мы оказались совершенно в другом мире и большую часть времени — предоставленными самим себе.

И вот наступил первый в нашей совместной жизни Новый год. В Новый год без людей быть не годится. Мы стали звонить по прежним компаниям, но нас нигде уже не хотели.

С полного отчаяния мы решили поехать на Новый год в Ригу, тогда это было очень престижно: «Нет, мы Новый год справляли в Риге... Чудесно, чудесно!»

Стояли дикие морозы, — пришлось перебежкой добираться от метро до автобусного вокзала, то и дело заскакивать в парадные, прижиматься там к батареям, хоть чуть-чуть отогреваясь для следующей перебежки.

Помню, я оглянулся, — из зева метро валил пар, как из действующего вулкана.

Наконец мы ворвались в автовокзал, стали стучать окостеневшими пальцами по скамейке.

Билеты были только на дополнительный рейс. Жена с сомнением посмотрела на меня.

— Ну что же, поедem на дополнительном! — бодро произнес я.

На вокзале было не намного теплее, чем на улице. Нашего дополнительного долго не подавали, — что-то там чинили, как объясняли нам сведущие люди.

И долго ругался в диспетчерской, пока меня оттуда не выкинул толстый шофер. Пытаясь совладать со своим лицом, переделать гримасу обиды на улыбку, я вернулся к жене, бодро сказал:

— Сейчас поедem!

Когда мы сели в автобус, пар изо рта нас испугал.

— Ничего, печка у него от двигателя работает — разогреется! — сказал какой-то знающий пассажир.

Поднялся тот самый шофер, с которым я ругался в диспетчерской, Валера-толстый, как называли его в разговоре другие водители, хлопнул дверцей, и мы поехали.

Это был страшный путь. В автобусе не только не стало теплей, но гораздо холодней, — отопление в этом резервном автобусе не работало.

Сначала слышались слабые крики возмущения, но Валера даже не оборачивался. Потом все испуганно замолкли, оцепенели. Вдоль дороги то и дело попадались замерзшие машины, под моторами их горели яркие костры из ветоши и бензина.

Наконец появилась первая автостанция. Застывшие, негнущиеся, мы вошли внутрь. Вот, оказывается, где на-

чинается сама дрожь, — в тепле! Мы уже не разговаривали, жена исчезла куда-то, потом вернулась.

— Смотрела расписание... обратных автобусов до утра нет, — крупно дрожа, произнесла она.

Из дверей вырвался ярко-освещенный автобусными фарами пар. Раздались протяжные гудки, — надо было ехать дальше.

За время стоянки автобус еще больше остыл. Кожу на голове схватило ознобом, корни волос колочились. Потом стали лопаться бутылки, лед разрывал их.

Дальше я помню только, как был я потрясен поведением водителя, — шарф болтался на вешалке рядом с ним, но он нарочно его не надевал. Где-то под Псковом, когда все уже окончательно стали замерзать, он оглянулся, снял вдруг с себя пальто и повесил на вешалку...

И вот путь этот не забылся, вьелся холодом в глубину костей и теперь снился.

Снова тянулось темное шоссе, белые заиндевевшие деревья, проплывающие вдоль стекол. Рядом — осязаемое, но невидимое присутствие жены.

«Вот морда! — подумал я. — Даже и во сны мои влезла! Ну все! Хватит!» — и с этой гневной мыслью я выскочил из сна и, приподнявшись, посмотрел на ее постель — постель была не разобрана. Ну ладно!

Утром я накормил рыбок в аквариуме, полил цветы, выгладил фартук дочке, проводил ее в новую школу.

Вот я, оказывается, кто: друг детей, а также животных. А я-то думал!

Пора на службу, но жены все не было. И тут обязательно полагается волноваться, глядеть в окно, против таких правил не пойдешь, — вот, что противно! Песик и тот вставал задними лапами на стул, передними на подоконник и, вытянувшись, шевеля усами, смотрел на троллейбусную остановку.

Но ей это, конечно, все равно!

Я посмотрел на часы. Половина десятого. Как раз сейчас должен начать в нашей конторе свой доклад молодой коллега: прекрасный, талантливый, робкий. А я величественно опоздаю или вообще не явлюсь... Вот до чего она меня довела!

— Лорка так и не появилась? — хмуро произнесла мать, проходя мимо с тряпкой, намотанной на швабру.



Ну все! Хватит! Не только переживать, но еще притворяться спокойным и веселым перед матерью, перед всеми остальными... Хватит!

В районном суде, набитом неожиданно битком, как вокзал, я долго пытался пролезть хоть в какую-то дверь... безо всякого абсолютно успеха. Наконец я достал листочек бумаги и, так и не найдя, где бы с ним можно было приткнуться, улегся с отчаянием на каменный пол, приспособился писать.

«Прошу развести меня...»

— Это что еще? — надо мной нависла толстая уборщица. — На полу еще приладились писать. А ну встань!

Я вскочил, яростно скомкав листок, швырнул его в сторону урны и, хлопнув задрезавшей стеклянной дверью, выскочил на улицу.

Резкий ветер сдул мою шляпу в лужу. Весело крутятся, она поплыла по воде. Я стоял не в силах нагнуться и выловить ее. От блеска и ветра глаза мои слезились, изображение расплывалось...

Когда я вернулся домой, я тут же услышал оживленные голоса, доносящиеся с кухни. Мать весело рассказывала жене о московской своей внучке. Главное, из-за отсутствия жены выражала недовольство мне, а теперь, когда подлинная виновница явилась, мать, как ни в чем не бывало разговаривает с ней... Все-таки любят они друг друга как ни странно!

— Явился! — произнесла жена таким тоном, словно меня не было три дня и три ночи.

— Ненадолго, — выговорил я сквозь зубы, — где наше свидетельство о браке?

— Да брось ты! — легкомысленно сказала жена. — Зачем это тебе?

Повернувшись, я кинулся в кабинет.

— А где Даша? — в новой уже роли выступила жена. Встревоженная орлица, не заставшая в гнезде своего птенца!

— В школе! — как можно сдержаннее выговорил я.

— Ха! — она засмеялась, потом, испуганно глянув на меня, прикрыла ладошкой рот. — Вот это да! То-то я гляжу, почему это все в белых передниках идут? Чтой-то, думаю, наверняка тут скрывается!

Демонстративно вынув из стола и пронеся по воздуху

свидетельство о браке, я положил его в карман и направился к двери.

— А ты куда? — встревоженно спросила жена.

— Не догадываешься? — произнес я.

— Ой... а как же? Я столько накупила всего!

Я вышел в прихожую, злобно перевероршил все свертки. Бананы! Финики! Прихоти миллионерши! Еще один ее ненавистный для меня облик: «Элегантная женщина, покупающая все необходимое для дома!»

Хлопнув дверью, я вернулся в кабинет. Она ворвалась вслед за мной:

— Разрешите облобызать! Умоляю, один лишь поцелуй!

— Вали отсюда! — закричал я.

Через минуту, робко постучавшись, она показалась с подносом в руках, скорбно-дурашливо уронила на грудь кудрявую головку. На подносе лежал банан, финики в блюдечке, стоял высокий бокал с кефиром.

— Ты понимаешь хоть, что денег у нас совсем почти не осталось? — поглядев на все это великолепие, сказал я.

Она кивнула.

— Ну что ж, — вздохнув, произнесла она свою любимую фразу, — будем жить скромно, ни в чем себе не отказывая!

Я только махнул рукой.

— Когда хоть окна-то вымоешь?

— Это вопрос? — она наморщила лоб. — Это вопрос, требующий ответа? Это вопрос не риторический, нет? — весело дергая меня за рукав, спрашивала она.

— Нет.

— Жаль. — Она вздохнула. — Так редко встречаешься со своим мужем, и при встрече одни только упреки.

— Почему? Не только упреки, но и угрозы.

Улыбаясь, мы глядели друг на друга.

— Ты где была-то?

— На кухне, — сразу ответила она.

— Нет! Ночью?

— А... у Дийки, всю ночь с нею проговорили. Она в жутком состоянии. Леха из дому ушел, сказал, что навсегда.

— Да? — оживился я. — Как же мы с ним не объединились?

— А ты разве тоже уходил?

— Да.

— Ой, а я и не заметила! — она засмеялась, потом, испуганно захлопнув рот, посмотрела на меня.

— Вот, — я протянул ей рубль. — И этого нам должно хватить до конца жизни. Поняла?

— Ну, если так, до конца жизни осталось недолго! — весело сказала она.

Потом пришел кафельщик, вызванный матерью, и под мерные удары зубила я закончил стих, начатый давно:

Сидит гардеробщик, стоит гардеробщик,  
Но вот почему гардеробщик не ропщет?  
Карьера ему полагалась иная:

Он должен был ночью стоять, где пивная,  
И громко свистеть, чтоб мурашки по коже,  
И шубы срывать с одиноких прохожих...

Но все получилось спокойней и хуже:  
Раздав номерки, он сидит на диване  
И долго не может понять — почему же  
Его так волнует процесс раздевания?

Но вот, отогнав эти мутные волны,  
Откинув со лба хулиганскую челку,  
Он ходит веселый, он ходит довольный  
И вешалка сбоку походит на елку!

## VIII. Бездна

Вечером я гулял с песиком во дворе.

— Знаешь, почему все нынче собак заводят? — обратился ко мне с разговором пьяный сосед. — Потому что чувствуют — жизнь всех на одну тропку загоняет. Чувствуют, что у них так же будет, как и у прочих, необычного ничего уже не будет. Остается собакой себя выразить. Логично?

— Ну как же? — возразил я (последнее время я много об этом думал). — А бездна? Мы ж на краю бездны живем! Что ж здесь обычного, скажи?

— Какая бездна-то? — удивился он.

— Да вот же! — указал я наверх.

— А-а! — он махнул рукой. — Шея устанет вверх все смотреть.

Он ушел, и скоро пошел к своей парадной и я.

Да, думал я, он прав. Спокойно и плоско мы живем, даже страх смерти куда-то исчез (до самых последних, наверное, мгновений). Со спокойной усмешкой произносим мы: «Все там будем!» — причем с особым удовольствием неопределенное «будем», а слово «там» не воспринимаем совсем.

Все время смотреть в бездну страшно, — это понятно! И правильно сделали, наверно, отгородившись от бездны фанеркой. Только постепенно нарастает уверенность, что за фанеркой этой ничего и нет.

Я вспомнил вдруг одно далекое детское лето... Прямо за домом, где я жил тогда, начиналось зачарованное пространство.

На языке здравого смысла это называлось — пустырь за домами, где люди держали сараи. Для нас это было, как я понимаю теперь, — зачарованное пространство.

Там, среди зарослей горячих фиолетовых цветов был фундамент каменного дома, с темной сырой лестницей вниз, в подвал. В подвале этом были свалены почему-то круглые серебристые коробки с черной сгоревшей киноплёнкой. Иногда туда спускался небритый мужчина с мешком, накладывал в мешок гору коробок и уносил. Как доложила наша разведка, из коробок этих он делал электроплитки.

Наша организация называлась «Черная кошка», мы проникали всюду, наш принцип был: «Мы знаем все — нас не знает никто!»

Особенно опасной, но важной считалась экспедиция в трамвайный вагон, где хранилась продукция (или отходы) какой-то артели — матовые алюминиевые трубы разной длины. Нужно было быстро выскочить из полыни, открыть двери вагона и быстро-быстро — не остаться последним! — напихивать в карманы и за пазуху трубки, потом выскочить и, чувствуя страх и ликование, мчаться обратно в полынь.

Потом настало время посетить сарай-корабль. Операция готовилась долго и тщательно. Лежа в лопухах, мы

целыми днями изучали окружающую обстановку... Хозяев этого сарая было двое: трясущийся мужчина, видимо контуженный, и толстый парень. Они приносили лестницу, приставляли ее к борту своего корабля-сарая, залезали, отпирали люк и, перетянув лестницу, слезали по ней вниз, — и что-то там делали весь день: слышался гулкий стук, шарканье рубанка, кашель, гулкий разговор. Поздним вечером они вылезали обратно, забирали лестницу и уходили.

Однажды мы провели в нашей засаде целое утро, но хозяева так и не появились. Мы подождали еще час и поняли, что сегодня они не придут.

— Вперед! — прошептал Виталий.

Зампрая, мы перебежали пустое пространство, вскарабкались по корме на палубу, подползли к люку, сколотили замок и, повисев на руках, спрыгнули вниз.

В корабле-сараяе было темно, пыльно, луч света проникал через люк. Виталий с грохотом полез вдаль, в темноту. Потом на стене появилась его большая качающаяся тень, — он зажег керосиновую лампу. Показался верстак с прибитой доской-упором, подвешенные на стене инструменты, ведро с гвоздями. На полке цветные непрозрачные бутылки с красками. Под ногами грохотали железки — какие-то шестигранные палки, шестеренки.

— Громи! — выговорил Виталий, и мы, подхватив железки, начали громить все вокруг, переворачивать, разбивать, потом, подвинув к люку верстак, возбужденные, тяжело дыша, вылезли и бросились врассыпную.

На следующий день к кораблю-сараяу была выслана разведка. Мы лежали под широкими листьями лопухов, среди красноватых стеблей, и вот — затихли! — к сараяу приближались хозяева. Они приставили лестницу, влезли и тут увидели, что люк открыт. Контуженный спустился вниз и, разъяренный, выскочил наверх.

Он стоял, тяжело дыша, озирая полынные заросли. Он знал, что мы где-то здесь, но не знал точно где.

— Если какая-нибудь сволочь... мне попадет! — контуженный не договорил и оглушительно выстрелил...

Ошалевший, я опомнился на другом конце пустыря... Оказывается, у него есть пистолет!

Но не ходить туда мы уже не могли, — это было наше зачарованное пространство: от старого, брошенного, ни-

куда не ведущего шоссе до речки за кораблем-сараем, узкой, заросшей, но глубокой.

Помню, как мы с Виталом ползем среди мясистых, бордово-розовых стеблей лопухов, доползаем до края и, тихо отстранив последний лопух, смотрим на корабль-сарай, на котором появилась вдруг огромная мачта!

— Антенна... для передатчика! — горячо шепчет мне на ухо Витал, и я скорее по дозам теплоты, чем по звуку, угадываю буквы, которые он говорит.

Мы ползали туда каждый день, — визг пилы, шарканье рубанка, стук молотка слышались одновременно, непонятно было — сколько у них рук?

То лето кажется теперь длиннее, чем все, что было после него. Потом я уехал и — через целую жизнь — вернулся, но это лето все еще не кончалось.

Я проснулся в нашей комнате, затемненной тяжелыми шторами, взял с близкого стула будильник, чтобы разглядеть стрелки, и вдруг он раздребезжался, прямо мне в лицо!

Я встал, оделся и побежал искать Витала, — мы не делились так давно!

Дом его был на пустыре, далеко вокруг не было других домов. Он состоял из двух соединенных флигелей за каменной стеной. Я нажал дверь — она открылась. В комнате никого не было. Я вошел. У окна их комнаты рос высокий сиреневый куст, и свет проходил в комнату через дырку в этом кусте узким лучом. Вдруг стало темно, и опять светло. Свет — темнота, свет — темнота сменялись все быстрее и быстрее. Обернувшись, я успел понять, что с ветки перед окном, замахав крыльями, слетела птица.

Я долго неподвижно стоял в тишине, потом тихо щелкнул суставом пальца, почувствовав, что щелчок скопился. Может, Витал во втором дворе? Обогнув флигель, я вышел во второй глухой двор. Там было тихо и жарко. Я пошел обратно. Ну ясно, он там, где самое интересное, — корабль-сарай!

Я пробежал через заросли, но сарая на месте не оказалось! Я удивленно смотрел на пустое место, потом случайно глянул вдаль и увидел, что по речке уплывает корабль-сарай...

И тут что-то щелкнуло у меня внутри и развернулось, как зонтик или как вырвавшаяся из чехла бабочка.

Я не смог тогда сказать, как называется это чувство... Потом мог его назвать, но самого чувства уже не было.

Я долго жил, уверенно считая кольцо автобуса концом света, и лишь совсем недавно беспокойство снова посетило меня.

Может, это было влияние кометы, приближающейся к нам?

— Ухожу! — сразу сказал я жене, вернувшись домой.

— Куда?

— В бесконечность!

— Что, новый пивной бар?

— Нет. В первоизданном смысле.

— Да брось ты! — ласково сказала жена. — Вечером ребята придут. Посидим. Дод расскажет анекдот...

Вот этого я как раз и не хотел!

— Ну, об экологии поговорим! — идя на крайнюю уступку, сказала она.

— Ну хорошо... тогда я завтра пойду!

— Завтра сложнее, — озабоченно заговорила она. — Завтра Марфа Даниловна обещала зайти.

И вот так всегда! Вместо кометы имеем уже Марфу Даниловну. И так любая резкая идея обволакивается, усыпляется, подменяется!

— А что тебя конкретно там интересует? — поглядев на меня, спросила жена.

— Комета.

— Какая комета? — строго вдруг спросила она (словно некоторые из комет известны ей своей легкомысленностью).

— Когоутека.

— Кого-кого?

— Когоутека!

— Ах, Когоутека! — с облегчением сказала жена, как будто это в корне меняло все дело. — Так вот же она!

Она бросила мне журнал. Но никакой кометы там, естественно, не было, — была клякса, вернее, отсутствие кляксы на темном фоне.

Нет, в этот раз я на эту подмену не соглашусь. Я уже имел вместо вихря — одноименный пылесос, а вместо галактики — одноименную соковыжималку.

— Все! — сказал я себе. — Сейчас или никогда!

— Тебе бы лишь из дому уйти! — зло проговорила мне вслед жена.

Я выскочил на улицу, впрыгнув в автобус. Я доехал до конца, посмотрел: никакой бездны наверху не было, все забивал свет согнутых фонарей.

Я сел в загородный автобус и вышел возле одинокой будки, стоявшей на краю огромного темного поля.

Я долго хлюпал по грязи и воде и, только войдя в полную темноту, поднял голову.

О-о-о! Вот это другое дело!

... Но где же комета? Я долго искал ее среди бесчисленных звездочек и вдруг увидел ее в самом низу, у горизонта, — тусклая звездочка с летящим от нее маленьким лучиком... Во-от! Я пристально смотрел на нее, и мне показалось, что она движется, — лучик чуть-чуть развернулся. Потом я заметил, что лучик еще вырос. Что такое? Об этом ничего не писали! Сердце вдруг запрыгало, как пойманная рыба... Точно! Приближается! Знал бы я, что это так страшно!

И тут, словно вспомнив обо мне, лучик повернулся и стал светить в мою сторону!

Это уже не мерцанье — свет! За кочками на пустыре протянулись длинные подвижные тени.

Слепящий шар приближался все быстрее, — и вот весь мокрый пустырь, всегда темный по ночам, осветился ярким мертвенным светом!

Быстро стал нарастать страшный грохот. Я почувствовал, что земля подо мной дрогнула. Я сделал шаг, поскользнулся, упал. Земля прыгала подо мною как живая.

Потом я поднялся и увидел, как по насыпи, сотрясая все вокруг, промчался тяжелый товарный поезд...

То хохоча, то снова испытывая возвращающиеся приступы ужаса, я приехал домой и лег.

Проснулся я на какой-то длинной веранде. Солнце освещало ее через крайнее оранжевое стеклышко. Я долго лежал неподвижно. Солнце передвинулось, светило через следующее стеклышко — красное, потом через следующее — зеленое... и, быстро миновав все стекла террасы, скрылось за дощатой стеной. И почти сразу же показалось в начале, снова светило сквозь оранжевое стеклышко, потом через красное... Прошло через все стеклышки еще быстрее и почти сразу же засверкало через первое... Третий круг... Четвертый! Я закрычал.



Я заболел. Официально считается, что я простудился, шастая по пустырю. Но на самом-то деле — меня продуло из бездны.

Прошло некоторое время, прежде чем я стал выздоравливать. Ко мне постепенно возвращались слух, зрение, нюх, причем, свежие, обостренные, словно бы отдохнувшие и встряхнувшиеся, и сопровождалось это давно забытым блаженством.

Как рыхло, кусками, с клейким прохладным ветерком отпадают кипы страниц в перелистываемой книге!

На дне чистой, вымытой, блестящей чашки свет лежал контуром яблочка.

Я поднялся, вышел в прихожую. В плоском луче солнца пыль закручивалась галактиками. Вот сверкнула муха, как комета. Я закашлялся и увидел, как в пыли проплыли три волны кашля.

Я спустился на улицу. По стене высокого дома медленно ползла тень строительного крана и вдруг, дойдя до конца, быстро скользнула за угол.

Потом я посмотрел вверх — солнце было на месте.

## *IX. Уход*

Мы сидели на кухне с женой и дочкой.

— Так ты, значит, Барбосом была? — жена засмеялась.

— Да, — усмехаясь, ответила дочь.

— А ты в шапке была?

— Конечно!

— А этой... Жужу кто был? — спросил я.

— Светка Ловицкая, — небрежно ответила Даша.

— Ловицкая?

— Ну да. Она полька.

— А она в чем была? — спросила жена.

— Она ни в чем. Только с бантом на шее, и лапы, то есть руки, — дочка усмеялась, — держала на такой красивой пуховой подушечке. Ей папа такие подушечки из Польши привозит.

— А что он, в Польшу часто ездит? — сразу встрепнулась жена, с упреком поглядев на меня: «Вот видишь!»

— Да нет, — объяснила Даша. — Он вообще в Польше живет. А Светка с мамой здесь.

Мы с женой поглядели друг на друга.

— Может, и мне тоже в Польшу за подушечками? — усмехнулся я.

— Пожалуйста! — обиженно сказала жена. — Можем хоть вообще развестись! Выменяю я себе комнатку в центре и буду жить припеваючи. Еще умолять меня будешь, чтобы зайти ко мне на чашечку кофе с коньяком.

— В таком разе, я думаю, придется приносить с собой не только коньяк, но и чашечку кофе!

Усмехаясь, мы глядели друг на друга, и вдруг резкая боль, почти забытая, скрючила меня.

— Чего это ты? — недовольным тоном спросила жена.

Я не ответил. Продолжая улыбаться, выпрямился. Но сам-то за эту секунду оказался совсем, можно сказать, в другой опере. Все понятно. Опять! Рецидив болезни! Какой-то я получаюсь рецидивист.

После завтрака, сказав, что помчался на работу, я пошел в поликлинику. И вот снова — выветрившийся почти из сознания медицинский запах, длинные унылые очереди с разговорами о болезнях. Что делать? В молодости мы все кажемся себе вечными и гениальными. . .

Нормальный ход человека: юность — семья — больница. Еще, кому дико повезет, — творчество. И мне повезло. Все-таки, положила руку на сердце, сделал кое-что, — и в работе, и в жизни. О чем же, собственно, еще мечтать? Все нормально. Нормальный ход.

— У кого двенадцатый номерок?

— У меня! — рыхлый мужчина ответил.

Подсел я к нему, и тут же он с больничной непосредственностью стал рассказывать:

— Сейчас хирурги через какую-то трубу прямую кишку у меня смотрели. . . Говорят, какие-то полипы у меня там.

— Да?

— Я что думаю? Не рак ли это? Может, направление в онкологию у них попросить?

— .....

— А у вас, извиняюсь, что?

— Рак пальто!

Да-а. Веселая у меня теперь компания!

Другой мужчина, интеллигентный, элегантно одетый, к нам подсел.

— Я, собственно, не по своим делам сюда, — виновато улыбнувшись, говорит. — Насчет сына узнал.

— Ну и как?

— Считают, не больше трех месяцев жить ему осталось. Да сын и сам уже об этом догадывается!

— Ну... и как?

— Просит все, чтобы мы брюки ему шили, с раструбами внизу, как модно сейчас. Мы шьем.

Было тихо, потом появилась маленькая красноносая уборщица, стала мести, стуча шваброю по ножкам кресел. Особенно она не усердствовала, половину оставляла, — видно процесс этот не особенно ее увлекал...

Двенадцатый номер, сидевший передо мной, вдруг стал изгибаться, сползать с кресла, болезненно гримасничать. Я хотел уже спросить его: «Что с вами?» — но тут он дотянулся до бумажки, оставленной возле его кресла, и щелчком подбросил ее в общую кучу...

Наконец я вошел в кабинет.

Врачиха спросила мою фамилию, достала из папки мою карточку и стала читать. Долго, не шевелясь, она читала мою карточку, потом стала писать. Писала минут пятнадцать, не меньше, потом закрыла карточку, положила ее и захлопнула папку.

— Все, — сказала она.

— Как все?! — я был потрясен.

— А что вы еще хотели бы?

— Я?.. Да, собственно, ничего. Может, мне к хирургу на всякий случай зайти?

— Зайдите, — она пожала плечами.

Хирург, крупный лысый мужчина, размашисто ходил по широкому светлому кабинету.

— Видели? — он обвел рукою свой кабинет.

Как надо отвечать? Видел? Или — нет?

— А вы думаете, это они? Я все отделал своими силами! Благодаря старым связям с генеральными директорами предприятий. Вы видите, — он постучал ногтем по стене, — бак-фанера. Вы строитель, кажется, — он мельком поглядел на мою карточку.

— Да.

— Вы представляете, что это значит — достать бак-фанеру?

— Представляю.

— И я, благодаря своим связям, достал бак-фанеру на всю поликлинику. Я говорю им: «Пожалуйста, берите!» И знаете, что они мне отвечают?

— ... Что?

— У нас нет для этого транспорта!

Он сардонически захохотал, потом, обессиленный, брякнулся рядом со мною в кресло, посмотрел мне в глаза, умно и пронизательно, как единомышленнику. Мы мило побеседовали с ним о бак-фанере, и я пошел.

Дома меня не ждало особенно сильное сочувствие. Жена, как я понял, отнеслась к болезни моей, как к мелкому недоразумению. Поведение мое вызывало у нее лишь недоумение и презрение: в то время, как настоящие люди зарабатывают бешеные деньги и одевают своих жён, этот выдумал какую-то глупость, никому больше не интересную, кроме него!

Но поругаться мы в этот раз не успели: пришел Леха.

— Вот что, старик, хватит дурака валять! — сурово проговорил он. — Один раз ты проэкспериментировал со своим организмом, теперь тебе надо к хорошему хирургу. Хватит! Дийка вот сговорила тут через своих знакомых. Тут вот написано, к кому и куда. Скажешь, от Телефон Иваныча...

Я посмотрел:

— Ядрошников... Интересно. И первый мой хирург Ядрошников был... Ну тот, который практиковался на мне.

— Однофамилец! — сурово Леха говорит. — Этот классный специалист, все рвутся к нему. По полтора года в очереди стоят, чтоб под нож к нему лечь. Благодарите бога, что у Дийки знакомые такие!

— Благодарю.

Пошел по указанному адресу. Больница та самая, в которой я и раньше лежал! Говорю вахтерше:

— Мне к Ядрошникову.

— К Федору Ляксандрычу?

Тут только и понял я: это же Федя, который первую свою и одновременно первую мою операцию делал! Когда-то просил, чтобы оперировать его допустили, а теперь, наоборот, все рвутся к нему. Надо же, какой путь проде-

лад! И с моего живота восхождение его началось. Просто счастлив я был это узнать.

— Счас он выйти должен, — вахтерша говорит.

И появляется гигант Федя! Но выглядит потрясающе: бархатный костюм, сверху замшевая куртка, кожаное пальто переброшено через руку.

— О, — тоже обрадовался, увидев меня. — Снова к нам?

— Ну как? — я на него внимательно посмотрел. — Жизнь удалась?

— Да, — говорит. — Пошли дела с твоей легкой руки. Сели мы с ним в машину. Федя выжал на своем «Жигуленке» под девяносто, потом говорит:

— Домой надо срочно, дома меня ждут. Так что извини, около метро тебя выброшу.

— Девушка, что ли? — улыбаясь, спрашиваю.

Федю даже перекорезило.

— Да ну! — возмущенно говорит. — Вот еще! Придумал тоже, девушка... Клиенты! Клиенты меня ждут. Рентгенограммы смотрю их, анализы. Решаем мирком да ладком, кто башляет мне за операцию, кто нет. Знаешь, как говорят: «Кто лечится даром — даром лечится!» Тебя на какое записать?

Вылез я у метро совершенно убитый. Знал бы я, что таким он окажется, не помогал бы ему карьеру начать. А он разогнался, гляжу, и вот как использует свой талант! А где я возьму деньги (сто рублей)? Я и семье-то, уходя, семьдесят пять всего оставляю (все рассчитано). Да-а. Жизнь не удалась.

Прихожу домой. Жена спрашивает:

— Ну что?

— Договорился, в принципе.

— Ну, а как тебе твой хирург?

— Потрясающе! — говорю. — В твоём вкусе.

— Вот это здорово, повезло тебе! — радостно говорит. — А где будешь оперироваться?

— Да в той же самой больнице. На Обводном.

— Ну-у, как не элегантно! — разочарованно жена говорит.

— Ну ясно, — говорю. — Ты бы, конечно, мечтала, чтоб я в «Астории» оперировался или, в крайнем случае, в «Европейской».

Кивнула. Смотрели, улыбаясь, друг на друга.

Потом она в магазин отправилась, я на кухне сел, ту-по в окно смотрел и по-новой вдруг загрустил.

Возвращается она, видит меня, говорит:

— А когда тебе уходить-то?

— Девятого, — встрепенулся.

— Ну, — легкомысленно говорит, — это еще черт знает когда!

Конечно, черт знает когда, но и я тоже знаю — через четырнадцать дней.

Стал в кабинете бумаги свои раскладывать: это — сюда, это — туда. Стихи свои прочитал. Странные какие-то! Откуда взялись они, непонятно, куда зовут — тоже неясно. Какая перспектива их ждет? Никакой! Прочитал еще раз — и безжалостно сжег! Но по одному экземпляру на всякий случай оставил.

Потом Дзыня приехал на немислимом «шевроле», целый веер вариантов передо мной развернул: одна больница, другая, при этом одна лучше другой!

— Ну прямо глаза разбегаются! — ему говорю. — И это все, чего ты в жизни добился?

Обиделся, ушел.

Оставшиеся дни отдыхал я, читал, чего за свою жизнь не успел еще прочесть, с дочкою разговаривал, театры посещал... Но настал все-таки последний день. У всех когда-нибудь последний день настанет!

Встал рано я, по квартире побродил. Жена с дочкою спали еще. Дочь, как специально, накануне тоже заболела, ангиной, в школу не пошла. Посмотрел я на нее: температура, видно, губы обметанные, потрескавшиеся, спит беспокойно.

Это только считается — счастливое детство. На самом деле самая тяжелая, пожалуй, пора. До сих пор самые тяжелые сны — про школу.

Теперь она в новой школе. Как радовалась вначале, но потом все так же сложилось, как и в прежней. Человека-то не изменишь!

Я вспомнил, как в один из первых школьных дней она вбежала ко мне в кабинет, торопливо натягивая халатик, радостно закричала:

— А у нас гости!

И вот все расклеилось. Заболела — никто из «гостей» ее не навестил...

Почувствовав, что я смотрю на нее, дочка открыла глаза, улыбнулась.

... В этот день температура поднялась у нее до тридцати девяти. У меня все, что я ни съедал, тем же путем выходило наружу. И даже песик, желая, наверно, внести свою лепту, старательно наблевал посреди ковра.

Только одна жена, со свойственным ей легкомыслием, не унывала: приплясывала по квартире, подтирала за песиком, тормошила нас.

— Ничего, продержимся! — говорила она.

Потом я делал прощальные визиты.

Дзыня на этот раз не хвастался своими вариантами, поговорили нормально.

— Как ты думаешь, жизнь удалась? — Дзыня спросил.

— Конечно! — ответил я. — Была ведь она? Была! Любовь... тоже. Работа была! Друзья есть. Самое глупое, что можно сделать, — это не полюбить единственную свою жизнь!

Потом я к Лехе зашел, но Леха после ссоры с женой принял меня довольно сурово.

— Ну все, старик, ухожу в небытие! — сказал я.

— Надо говорить: «в небытиё!» — сварливо проговорил он, и больше никаких эмоций с его стороны не последовало.

Дома меня ждал необыкновенно изысканный ужин, жена подавала все торжественно, гордясь.

— Балда! — сказал я. — Ведь мне ж всего этого нельзя!

Она обиделась. Бодро простившись с дочкой, я погасил свет, лежал на диване, рассматривал полки с книгами, любимые картинки на стенках. Ночь была светлая: возле самого окна светила луна. Потом раздался тихий стук, дверь отъехала, и в щель просунулась кудрявая головка жены:

— Можно к тебе, а то мне страшно, — сказала она.

— Входи, — приподнявшись на подушке, ответил я.

— ... Ой, ну ты где? — услышал я потом ее голос.

Она уронила свою головушку мне на ключицу, и я ощутил, как слеза, оставляя горячий след, течет по коже.

— Спокойно! — сумел проговорить я.

Поцеловав меня, жена быстро ушла.

... Когда я поднялся, жена, дочка и песик лежали на кровати уютным клубком. Женщины не проснулись, а пе-

сик, молча, не открывая глаз, хвостом указал мне на дверь. Послушно кивнув, я зашагал на цыпочках.

В автобусе было битком. Едва подстерег себе место, надо мной угрожающе нависла толстая женщина. Она нависла надо мной, как туча, дыхание ее напоминало отдаленный гром. Потом, воспользовавшись торможением, как бы случайно ткнула толстым пальцем мне в глаз.

— Возмутительно! — заговорили все вокруг. — Совсем обнаглели, мест не уступают!

Я отвернулся, глядел в окно. Неткнутый глаз тоже почему-то слезился, все расплывалось.

... О, родной, великолепный, волнующий запах больницы! Федю я нашел в ординаторской: повернувшись к окну, он смотрел рентгеновский снимок.

— О, привет, старик! Пришел?

Я кивнул.

— ... А принес?

Что я мог принести, когда и семье осталось всего шестьдесят пять рублей?

— ... Извини, старик, я занят, — отворачиваясь к окну, проговорил он.

Я вышел из ординаторской, сел в темном коридоре на холодную батарею. Вот так! Пожертвовал своим животом для его учебы — и вот результат! Знал бы я тогда... Ну и что? Все равно бы то же самое сделал. Правильно Леха говорит — жизнь меня ничему не учит. Но, может быть, это и хорошо?

Никакой ошибки и нет. Просто ничего не опасался, ничего не остерегался, слишком верил в уютное и веселое устройство жизни, — и, ей богу, не жаль!

— Здесь нельзя сидеть! — сказал врач с широким лицом и узкими глазами (потом я узнал, что его фамилия была Варнаков). — ... Зайдите ко мне.

— Понимаете, — медленно заговорил он после осмотра. — Заплату вам можно делать только из вашей же ткани. И главный вопрос — в каком состоянии сейчас эта ткань?

— А так, до операции, этого нельзя узнать?

Он молча покачал головой.

— Шансов на благополучный исход — пятьдесят из ста.



— Тогда, может быть, мне все же к Ядрошникову попроситься?

На лице его промелькнуло колебание. Конечно, приятно свалить тяжесть на другого — пусть такую операцию, пятьдесят из ста, делает другой.

— Нет! — покачав головой, твердо ответил Варнаков.

Потом последовали процедуры, я глотал длинную толстую кишку, сдавая сок. Такая медсестра сок у меня брала — я все бы ей отдал, не только сок!

— Не пойму, — говорит, — что вы там такое гуторите, через зонд?

— Я гуторию, не худо бы нам потом встретиться.

— Надо же, — восхищается. — Одной ногой, можно сказать, уже в могиле, а лезет!

Потом я лежал в темноте, думал, вспоминал. Ведь и отца замучила эта же самая болезнь. Конечно, наследственность — великая вещь, но зачем же с такой точностью передавать и болезни?

Я заснул. Сон начался как-то сразу, ничем не отгороженный от яви. Мы с женой, самым любимым и самым ненавистным существом на свете (это остро ощущается даже во сне), идем по какой-то незнакомой улице, мимо серого здания без окон.

— Я тут вчера умер, — бодро, как обычно, говорю я. — Тельце бы мое надо получить, а?

В темном помещении я протягиваю свой паспорт, обгрызенный по углам нашим любимым щеночком. Человек в пенсне поворачивается на крутящемся кресле, раскрывает шкаф за спиной и брезгливо протягивает мне мое тельце — маленькое, с болтающимися ножками.

Весело поблагодарив, я кладу тельце в карман. Потом мы выходим на балкон и оказываемся над каким-то городом, на страшной высоте.

— Да... Вот и вся жизнь! — глухо сбоку произносит жена и, уткнувшись в мое плечо, начинает рыдать.

Я проснулся испуганный. Что это за город, над которым мы стояли?...

Полежал в темноте, вытер горячие слезы на щеках. Второй сон тоже накатился неожиданно. Жара. Темнота. Я с закрытыми глазами лежу голой спиной на шершавых досках причала, ощущая поблизости присутствие друзей. Глаза закрыты (во сне!). Из окружающей тьмы по доскам передаются лишь крепкие, дребезжащие, учащаю-

щиеся удары пяток, потом пауза, и от воды доносится прохлада. Несколько ледяных капель плепаются на живот, кожа блаженно вздрагивает... Я полежал так, потом вытолкал себя из этого сна со странной тревожной мыслью: такой прекрасный сон пусть досмотрит дочка!

Проснувшись, я лежал в палате, усмехаясь, удивляясь странному течению своих мыслей во сне.

Под утро я опять уснул и окунулся в сон — такой легкий, счастливый, что проснулся весь в счастливых слезах... Мы с любимыми моими друзьями (только сейчас я чувствую, как, оказывается, их помню и люблю) мчимся в открытой машине по влажной улице за серебристой пистерной «Пиво», подняв тяжелые пистолеты, стреляем и, вытянувшись, смеясь, ловим губами прозрачные струи, бьющие из дыр...

Утром я лежал побритый, готовый, собранный.

Открылась дверь, и в палату вошел Федя.

— Ты? — изумился я.

— А! — улыбнулся он. — Онассисом с вами все равно не станешь!

...Общий наркоз — это как будто лезешь сам, с каждым вздохом все дальше, в темную душную трубу, все больше затыкая собой приток воздуха, задыхаясь... и, когда чувствуешь, что уже все, не вздохнуть, делаешь отчаянный рывок назад, но сознание медленно, как свет в кино, начинает гаснуть...

После больницы я лежал дома. Раздались звонки, явился Алексей.

— Ты чего делаешь?

— Лежу. А что?

— Дзыня совсем плох, полное отчаяние! Подписал какой-то хитрый контракт, — уезжает!

— Туда, что ли?

— Угадал!

— А где мы с ним встретимся? У него? — вставая, заинтересовался я.

— Нет. У него нет смысла. Решили на даче у меня, чтоб никого больше, только мы!

— На тачке его поедем? — спросил я, наспех собравшись.

— Нет. Тачки теперь нет у него. Тачку он оставляет.

— Ясно.

Дзыня, подтянутый, затянутый, натянутый, как всегда, стоял на платформе, личико его посинело, налилось злобой.

— Что такое? Почему?! — тряс перед лицом растопыренными ладонками, завопил он. — Только что ушла электричка, неужели нельзя было успеть?

— Да с этим разве сделаешь что-нибудь? — сразу переходя на его сторону, ответил Алексей.

Так! А я поднялся, совсем еще больной, в темпе собрался, разругался с женой.

— Ну ладно! — проговорил Дзыня, лицо его немножко разгладилось. — Я и сам, честно говоря, опоздал.

Мы засмеялись.

...Электричка ползла по высокой насыпи. Внизу был зеленый треугольник, ограниченный насыпями с трех сторон. В треугольнике этом зеленел огород, стояла избушка и был даже свой пруд с деревянными мостками, и единственный житель этого треугольника стоял сейчас на мокрых досках с кривой удочкой в руке. Жизнь эта, не меняющаяся много лет, с самого детства, волновала меня, — но попасть в этот треугольник мне так и не удалось.

Загадочная эта долина мелькнула и исчезла, навстречу грохотал товарный состав с грузовиками, накрытыми брезентом.

Сойдя на станции, мы долго пробивались к даче по осыпающимся, норовящим куда-то уползти песчаным косягам.

Дача была темная от воды, краска облупилась, торчала, как чешуя. Леха дернул разбухшую дверь, мы поставили на террасе тяжелые сумки, начали выкладывать продукты на стол.

— А сигарет ты, что ли, не купил? — испуганно обратился Дзыня к Лехе.

— Нет. Я думал, ты купишь, пока я за этим езжу! — Леха кивнул на меня как на главного виновника отсутствия сигарет, хотя я в жизни никогда не курил.

— Ничего! Можно день провести и без них, — примирительно проговорил я. — Не за этим мы, кажется, приехали сюда, чтобы курить.

Дзыня повернулся ко мне, его остренькое личико натянулось обидой, как тогда на платформе, хотя в обоих этих случаях виноват он был ничуть не меньше меня.

— Об тебе вообще речи нет, — скрипучим, обидным тоном, столь характерным для него в последнее время, заговорил Дзыня. — Ты можешь жить без того, без чего ни один нормальный человек жить не станет.

Довольный своей фразой, он улыбнулся язвительно-победной улыбкой: Леха тоже глядел на меня, как на виновника каких-то их бед... Ну ладно! Я вышел во двор, начал колоть сырые дрова — лучшее средство тут же вернуться в больницу, — чтобы успокоить наконец лютую их, непонятную злобу... Нет, конечно, дело не в сигаретах и не во мне, просто устала немножко душа, особенно у бывшего счастливчика Дзыни.

На крыльцо высунулся Дзыня.

— Слушай, если не трудно тебе, — с прежней язвительной вежливостью выговорил он, — принеси, пожалуйста, воды. Хочется чаю выпить, а то бьет все время какой-то колотун.

Конечно же! Об чем речь! Кто же, как не я, должен носить им воду!

Когда, тяжело переступая по сырому песку, я вошел с полными ведрами во двор, Дзыня и Леха, покачиваясь, стояли на крыльце, и Дзыня, поправляя на остреньком своем носике очки, говорил Лехе:

— Нет! Не могу я поехать с тобой за рыбой. Я ведь с лодки могу упасть. Видишь, как я падаю! — Дзыня, не сгибаясь, упал с крыльца в песок. Показал.

— Да, — озабоченно почесав в затылке, согласился Алексей. — Падаешь ты действительно здорово! Ладно, оставайся! Поедем с ним.

Дзыня поднялся, долго внимательно глядел на меня.

— Что за идиот? — возмущенно говорил он. — Месяц, как из больницы, и таскает полные ведра. Ждать же надо, пока рана зачмокнется, — соединив ручонки, он показал, как это произойдет.

— Виноват! Больше такое не повторится, — я с облегчением опустил ведра на крыльцо.

Потом я сидел на террасе в шезлонге, как бы заработав себе право на отдых, глядел на красного, залитого слезами Леху, дующего в печь, на Дзыню, — обмотав горло шарфиком, он умело парезал на досочке мясо.

«Эх!» — меня осепило. А ведь я один на всем свете и знаю, какие это прелестные люди. Никто больше не знает, — да и откуда всем знать? Надо жить было вместе с

самого начала, вместе пытаться повернуть время вспять, вместе пытаться угнать эскалатор на станции метрополитена «Владимирская»... Да ведь и про меня, понял я, никто на свете не знает, кроме них двоих!

— Утро... гуманное... утро... с едою! — козлиным своим голоском затянул Дзыня.

Потом мы гуляли по лесу, перепрыгивали канавы с красной, настоящей листьями водой, топали по серо-голубому мху, находили белобокие брусничины с глянцевыми листиками, порою — темными.

— Эх! — сказал я Дзыне. — И ради каких-то денег ты хочешь уехать!

— Не в деньгах фокус! — строго поглядев на меня поверх очков, выговорил Дзыня. — Тебе этого не понять, — и снова нервно улыбнулся.

— А видели, какая девушка прошла? — меняя тему, оживился я. — А?

— Мне кажется, ты слишком приземист для нее, — уже ласково улыбнулся Дзыня.

— Ну и что? — обрадовавшись, заговорил я. — Подойдем к ней. Скажем: вот тебе приземистый, а вот коренастый. Выбери!

— Этот идиот по-прежнему уверен, что женщины от него без ума, — переглянувшись с Лехой, как умный с умным, произнес Дзыня.

— Конечно! — голос мой гулко звучал в пустом лесу. — Ирка влюблена! Галька влюблена! Только вот Майя, как всегда, немного хромает.

Но друзья уже не слышали меня, они снова были заняты настоящим мужским делом — отыскивали окурки.

— Ты по карманам, что ли, окурки прячешь? — пытался развеселить я Дзыню, но безуспешно.

— Нет? — не сводя с него глаз, выдохнул Алексей.

— Почему я обязан обеспечивать всех куревом?! — вдруг истерически закричал Дзыня. — Я никому ничем не обязан! Никому! — Дзыня повернулся и, перепрыгивая на тоненьких своих ножках через канавы, не оборачиваясь, удалился.

— Что ж это такое? — воскликнул я. — Собрались мы, друзья, дружим двадцать лет, расстаемся неизвестно на сколько, а говорим о каких-то окурках!

Дзыня остановился. Потом обернулся.

— А ведь этот слабоумный, кажется, прав! — улыбнулся он.

— Может, в магазин еще успеем? — глядя в сторону, сухо произнес Алексей.

Но мы не успели. На станции магазин был закрыт. Только дощатая уборная, ярко освещенная изнутри, излучала сияние через щели. Рядом ловил окнами тусклый закат длинный одноэтажный барак ПМК — передвижной механизированной колонны.

— Зайду, — сказал Дзыня. — Может, хоть здесь сделаю карьеру?

Он вышел через минуту с маленьким коренастым человеком. Человек сел рядом с нами на скамью.

— Вообще, уважаю я таких людей! — произнес он.

— Каких?

— Ну, вроде меня! — ответил он.

— Ясно. А покурить случайно не будет?

— Есть.

— А какие? — закапризничал Дзыня.

— «Монтекристо».

— Годится!

Поворачиваясь на скамье, коренастый протягивал нам по очереди шуршащую пачку. Рейки скамьи играли под его мускулистым маленьким задом, как клавиши.

— Пойду, пену подниму — почему не грузят? — пояснил он нам и пропал во тьме.

Потом мы ехали на его грузовике, фары перебирали стволы. Осветилось стадо кабанов, — сбившись, как опята у пня, они суетливо толкались, сходя с дороги.

Потом мы снова сидели на террасе. Смело кипел чайник, запотевали черные окна.

— Ну, а как Лорка? — спросил Дзыня.

— Нормально! — ответил я. — И чем дальше гляжу, тем больше понимаю: нормально! Недавно тут поругались мы с ней, так и дочка, и даже щенок к ней ушли. Что-то в ней есть! — усмехнулся я.

— Вообще, она неплохой человек, — снимая табачинку с мокрого языка, кивнул Дзыня.

— А... с Аллой Викторовной у тебя как? — спросил я.

— Никак...

— Ясно. А у тебя с Дийкой? — я повернулся к Лехе. Леха не отвечал.

— А в больнице как у тебя? — перескочил на более легкую тему Дзыня.

— Нормально! — ответил я. — Говорят, что, когда с операции меня везли, я руки вверх вздымал и кричал: «Благодарю! Благодарю!»

— Да-а. Только могила тебя исправит! — язвительно улыбнулся Дзыня.

И вскоре снова началась напряженка: спички кончились и остыла печка.

— Неужели нельзя было сохранить последнюю спичку?! — трясся перед личиком ладошками, выкрикивал Дзыня.

— Слушай... надоел ты мне со своими претензиями! — окаменев, выговорил Алексей.

Дзыня плюхнулся на пол террасы, долго ползал, ковыряясь в щелях, и наконец вытащил спичку, обмотанную измазанной ваткой, — какая-то дама красила ею ресницы и бросила.

Дзыня тщательно осмотрел спичку, чиркнул, понес огонек к лицу. Леха стоял все такой же обиженный, отвернувшись. Я дунул, спичка погасла.

Мы все трое обалдели, потом начали хохотать. Мы хохотали минут десять, потом обессиленно вздохнули, словно вынырнув из-под воды.

— Ну все! — произнес я коронную фразу. — Глубокий, освежающий сон!

— Эй! — закричал Леха, вышедший во двор. — Вы дураки! Давайте сюда!

По темному небу катился свет, — северное сияние! — словно какой-то прожектор достиг бесконечности и блуждал там.

— А почему не цветное? — обиделся Дзыня.

— Тебе сразу уж и цветное! — ответил я.

Ночью погасшая было печь неожиданно раскопегарилась сама собой, — трещала, лучилась сквозь щели и конфорки. Мы молча лежали в темноте, глядя, как розовые волны бежали по потолку.

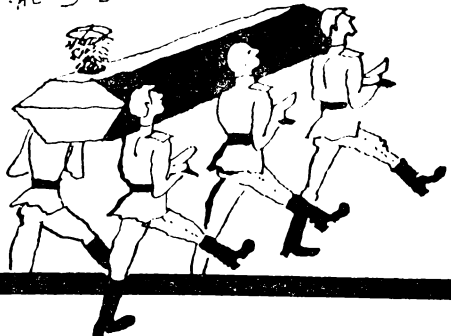


... с прободой и бородой



... а ты попу свою давай!

Тебя уж так не будут выносить!







# 2



*По-нашему,  
по-водолазному*





## Первая хирургия

**В**о всех казенных помещениях, где отрешаешься от себя и переходишь в другое состояние, обстановка неудобная и тоскливая, — почему же, спрашивается, здесь, в приемной больницы номер сто три, должно быть как-то по-другому? Чего ты, собственно, ждал? Все как всегда. Тусклые зарешеченные лампы под сводами, старый кафельный пол, осевший в сторону зарешеченного окна, белые топчаны, застеленные клеенкой. За окном, ясное дело, еще темно, — а чего ты ждал? — раннее утро ноября, — чего ты ждал?

Или, может быть, вместо больничной пижамы

надеялся получить собольих халат? Хватит сходить с ума — переодевайся и иди.

— Ну кто там в первую хирургию? — нетерпеливо произносит невыспавшаяся, хмурая сестра. — Ты, что ли? Давай шевелись! — с фамильярной грубоватостью, присущей всем медработникам, произносит она.

Все правильно. А чего ты ждал? Невольниц гарема?

Широкий, с таким же скопленным кафельным полом, коридор, освещенный синими мертвенными лампами, потом — темная крутая лестница.

На холодной тесной площадке стоят уже больные в очереди к автомату — надо сообщить близким, как пережили они ночь.

Конечно, в более удобном месте автомат поставить было нельзя! — с привычным уже раздражением думаю я.

Вдоль очереди больных, спускающейся по лестнице, мы поднялись на второй этаж, в высокий коридор, с окном до пола в дальнем конце.

— Сюда тебе! — сеструха, как я уже прочно ее называл, показала стеклянную полудверь (бывшая дверь была разделена теперь пополам).

Я вошел в узкий, обмазанный серой масляной краской пенал, в котором запах лекарств настаивался уже, наверно, лет сто. Вдоль стен стояли шесть коек, в два ряда.

Да-а... Говорили мне умные люди, что надо любимыми путями устраиваться в Академию — там хоть условия.

В отчаянии я присел на свободную среднюю койку. На койке в углу лежал неподвижный распластанный человек с серым пористым лицом. С высокой стойки от перевернутых банок к нему тянулись резиновые шланги.

На крайней койке у двери лежало какое-то тело, глухо и, как мне показалось, яростно завернувшееся в одеяло.

На койках в другом ряду все одеяла были откинuty — клиенты вышли.

Я посидел, уперевшись ладонями в холодную кроватную раму, потом, резко вытолкнувшись, вышел в коридор.

Я долго шаркал по величественному этому коридору к светящемуся высокому окну, запотевшему в верхней его части.

У нижних стекол его в зарослях фикуса стояли больные в мятых пижамах и смотрели вниз на асфальтовый

больничный двор: посередине двора желтел одноэтажный флигель с замазанными окнами, рядом фонарь дребезжал оторванной крышкой, возле его столба завивались уже спиральки снега, — да, вот уже и снег!

Из флигеля шестеро солдат вынесли на плечах оббитый гроб. На крышке его топорщилась каракулевая папаха с алым верхом.

— Да... солидно дело поставлено! — с завистью и одобрением произнес кто-то.

— Тебя уж так не будут выносить! — подколот насмешник.

— Это уж само собой! — мрачно подтвердил он.

— В спецотделении лежал, — да не помогло!

Под медленные рыдания оркестра гроб донесли до автобуса.

— Небось из дуба гроб-то! — снова проговорил завистник.

Больной с короткими ногами и длинной забинтованной головой, качнув марлевыми «ушками», живо повернулся к нему, оживленно-простодушно заговорил:

— Нет, то не дуб! Сосна! Сосна! Но сделано хорошо! Чисто! — с ударением на «о» проговорил он.

Я посмотрел на заледеневший, заносимый узорами снега газон, и пошел.

— Большой, говорят, генерал был! — догоняя меня, проговорил «зайчик» с марлевыми ушами. Я свернул в палату, но и он оказался здешним, занял койку напротив.

Плюхнувшись, я лежал на спине. Вернулись еще двое: маленький человечек со сморщенным лицом, с крохотными ручками и ножками, с внимательным взглядом через очки, и длинный кудрявый парень в лыжном костюме, чем-то обиженный.

— Пойми ты! — говорил маленький, тшательно придерживая что-то ручонками на груди. — Он правильно к тебе пристал! Он, может, по форме был не прав, — разговаривал с тобой, как жандарм, — но по сути он прав! Дежурный врач — а больные шастают по больнице!

— А! — падая на койку, заговорил парень. — В Софье Перовской я был, здесь же на терапии лежал — нигде не было такого бардака! Не отделение, а...!

Он резко снял со спинки кровати наушники, натянул их на уши. К спинке его кровати была прикручена

проводом лампочка — чувствовалось, что он устроился у себя в углу капитально, со знанием дела.

Он вдруг резко стащил наушники, глянул на «зайчика».

— Ну что, белая шапочка? — заговорил он. — Может, сыграем еще, или боишься? — видно было, что насмешки над этим наивным селянином составляют одну из немногих отдушин в теперешней его жизни.

«Зайчик» поднял свою длинную голову, простодушно улыбнулся — розовые шершавые щеки сложились по бокам, как мехи гармони.

— Можно, — выговорил он.

— А ты, капитан? — обратился парень к очкастенькому.

— Нет, Толя, — спасибо, не хочу! — сухо ответил капитан. — И ты, Петро, не играй! — он строго повернулся к «зайчику». — Жена что говорила тебе?!

Быстро переступая крохотными ножками, согнувшись и держа руки на груди, капитан вышел.

— Между прочим — отличный человек! — глянув на меня, произнес Толя. — Капитан был, первого ранга, весь мир объехал. Потом колоссальная неприятность у него вышла, результат — рак пищевода! А духом не сломился, приехал из Мурманска сюда, к профессору нашему пришел — он единственный в Союзе операцию эту делает: вырезает пищевод, вживляет кишку. И ждет: приживется кишка? Кой-где у капитана она прижилась, кой-где — нет еще. Поэтому и ходит, как мусульманин — согнувшись, руки прижав к груди. И хоть бы слово жалобы от него! — горячо закончил Толян.

Петро, подтверждая, кивал забинтованной головой.

В коридоре послышалось бряканье тележки, за тележкой вдвинулась неуклюжая наша сеструха.

— Ну чего? Кто по уколам соскучился? — заговорила она. — Давай, стягивай свое тряпье! — скомандовала мне. — Да не передом (все захохотали). Перед твой никому не нужен — зад давай!.. Ну все — натягивай! — она шлепнула меня по ягодице. — А Акимов где?

— В третью палату пошел! — доложил Толян, который, видно, был уже здешним Вергилием, все знал. — Книжку там обещали ему дать, мемуары Жукова.

— Ну что ж, пусть побегает потом за мной! — проговорила сестра.

Она подошла к телу, неподвижно скорчившемуся под одеялом:

— А дедуля наш все спит?

— Видно, молодость свою увидал! — улыбаясь, вошел довольный капитан, бросил толстую растрепанную книгу на тумбочку.

— Ну пусть спит тогда! — ответила сестра. — А ты попу свою давай!

Вздохнув, капитан безропотно исполнил ее приказ.

Выдернув иглу, она потеряла место укола ваткой, потом встала, подошла к распластанному, дождалась, пока из перевернутой банки истекнут последние капли, сняла, взяла с тележки новую прозрачную банку.

— Ну что, еще одну засосешь? — обратилась она к нему.

Губы распластанного впервые зашевелились.

Сестра подключила новую банку, повернула крантик на шланге.

— Ну все! — поворачиваясь, сказала она. — Все, кто на своих еще ногах, в столовую дуйте!

— Это разговор! — бодро вскочил Толян, схватил с тумбочки грязноватый граненый стакан. — А ты чего, не имеешь стакана? — поинтересовался Толян.

— А где мне его взять? — спросил я.

— А ты думал, — усмехнулась сестра, — принесут его тебе вместе с блюдцем?!

— Он привык, что ему в койку все подают! — враждебно выговорил Толян, выходя из палаты.

— Между прочим... не мешало бы повежливей обращаться! — дрожа, я сказал сестре и, подпрыгнув, повернулся лицом к стене.

Как все это знакомо уже мне!

— Ну, — не пойдете в столовую? — капитан притронулся к моему плечу. — Тогда — простите!

Быстро переступая, он вышел в коридор, внес низкое глубокое кресло, сел в него. С шуршаньем расстегнул пижаму: под пижамой была розовая резиновая трубка, воткнутая в живот. Капитан вытащил из тумбочки воронку, какую-то бутылку. Держа поднятую вверх руку с воронкой, другой он заливал бурду из бутылки. Я лежал лицом к стене, но хлюпающие, чавкающие, давящиеся звуки засасываемого вещества доставали меня.

«Говорят еще про какой-то загробный ад! — с отчая-



нием думал я. — А вот это же и есть ад, — вполне, видимо, заслуженный каждым из нас!»

Хлюпающие звуки, перемежаемые вздохами капитана, длились. Потом, наконец, он встал, застегнул пижаму, спрятал в тумбочку бутылку и воронку, вынес кресло и сам ушел.

Я, наконец, повернулся, — бок затек.

Петро, свесив короткие ноги, сидел на своей кровати, виновато улыбаясь.

— А вы почему не обедаете? — выговорил я.

— Нельзя мне нынче кушать-то! — вздохнул Петро. — Доктор сказал, на операцию завтра повезут!

— А долго уже лежишь тут?

— Три дня уж!

Три дня!

— По случайности сюда и попал! — смущенно улыбаясь, выговорил он. — К дочке в город приехал. Брусники ей привез, не пять ли кило? Взошел на лестницу к ней, и заметил ишшо, какие-то парни стояли. Помню еще, два парня и девка с ними. Поднял я руку к звонку — вдруг сзади меня чего-то как ахнет. Ну, дальше как затемнило все.

— А дальше что же?!

— Ушли. Шарфик взяли и очешник с очками. — Петр вздохнул. — Поднялся я, в звонок позвонил. Кровь по лицу идет. Дочка открывает: «Папочка, что с тобой?» Ну — вызвали «скорую», да сюда меня.

— Ну, а эти как же? Нашли?

— Следовательно заходил сюда, записывал! — удовлетворенно кивнул Петро.

— А... оперировать тебе что же будут?

— То другое совсем! — как колоссальной какой-то своей хитрости, улыбнулся Петро. — Эт-та, как покушаешь жирного, так словно перепояшет всего! — заведя короткую руку за спину, Петро указал. — Как доктор пришел наутро, на что жалуетесь, — я и указал доктору-то! — гордо закончил Петро.

— ... Ясно! — выговорил я.

Время с обеда до вечера тянулось томительно. Я раз, наверное, пятьдесят прошаркал по коридору — от окна до курилки в дальнем конце, где собирались любители фольклора и местный Боккаччо, утопая в клубах дыма, вдохновенно говорил:

— Мы-то удивились еще: надо же смелый какой — один, а нас троих не боится! Подгребают к нашей лодке и говорят: «Здорово, браконьеры!»

Пауза. Аппетитная затяжка.

— «... Ладно! — рукой рубанул. — Рыба ваша меня не интересует». Показывает удостоверение: капитан КГБ! «Скоро, — говорит, — в этом месте диверсант должен границу переходить, так что смотрите в оба. Чуть что — выстрел вверх!»

Я прошел мимо них в туалет. На подоконнике стояла огромная белая бутылка с хлоркой. В небе среди облаков скользила луна.

— ... Ну взяли, конечно, — возвращаясь обратно, услышал я. — А как?!

Все выжидательно молчали. Я остановился.

— А просто! — небрежно выговорил рассказчик. — Диверсант этот через порог шел, с камня на камень прыгал и, чтоб не смыло его, на палку опирался. — Оглядевшись, рассказчик взял в руку швабру с намотанной на нее мокрой тряпкой, уперся. — Сказали ему: «Стоять!», а он — тыр-пыр! — ни палку бросить не может, ни в карман залезть. Так и застыл! — рассказчик пренебрежительно отставил швабру, как Паганини, сыгравший на случайной скрипке.

Все молчали.

— А какой из себя диверсант-то был? — выговорил наконец кто-то.

— Да амбал, вроде вот этого! — рассказчик небрежно вдруг ткнул в меня.

Смертельно обиженный, я ушел.

В палате тем временем тоже завязался разговор. — Это како тебе? — повернувшись к капитану, взволнованно говорил Петро. — С новым трактором норму подняли, а трактор тот вязнет на наших участках, слеги подводим под него, себя вытащить не может, не то что лес. Пошел я к Агапьеву нашему — тот сидит, пишет статью: «Новая техника пришла в глухомань!» — «Почему ж в глухомань? — говорю. — У двоих нас техникум кончен». — «Ты политики не понимаешь!» — говорит. Ну, захлестнулись мы с ним. И с той поры никакой жизни не стало! Раньше, бывало, трактор хлыстов с участка притащешь — месяц топишь. За березу — за ту ругались, а за осину — ту нет. Теперича хоть пруток подынешь — штраф!.. Тут

жена пироги с капустой пекла, говорю ей: «Отнеси Агапьеву-то, может, пожалеет хоть, — все ж таки свеж!»

— Как же — пожалеют они тебя! — усмехнулся Толян. — Тут, я когда на комбинате еще работал, построили цех, досрочно, экономно, ура, ура! Только вот отопление не успели сделать, как надо. При плюс десяти приходилось работать! Ничего, мол, перебьются как-нибудь!

— Что ж, по-твоему, сволочи все кругом? — спросил я.

— А то нет? — Толян повернулся ко мне. — Тетка у меня всю блокаду в Питере прожила, у станка стояла с четырнадцати лет. Потом к сыну уезжала на Дальний Восток, вернулась. «Докажите, — один дух в жилконторе ей говорит, — что вы до войны еще были тут прописаны!» Ткнулась она в домовые книги: нет ее! Родители ее записаны, а она — нет! Оказалось, несовершеннолетних и не прописывали тогда — живи и все! Она ему: «Ну, ясно же, что с родителями жила — не сирота!» А он: «А кто это может доказать?» Она: «На кладбище сходите, спросите!» — «Следующий!» — кричит. Тогда она старую трудовую книжку отыскала, где написано, что с сорок второго года на «Лентрублите» работает. «Вот», — приносит. А он: «Ну и что? Может, ты работала в городе, а из-за города ездила». — «Как же ездила-то я, когда блокада была?!»

Толян задохнулся.

— Поиздеваются сначала над человеком, потом... — закончил он.

Наступила тишина.

— ... Чего к тебе дружки твои не заходят? — спросил Толяна капитан. — Ведь местный ты вроде бы как-пикак.

— Да куда местней! С Васькиного острова! — усмехнулся Толян. — А дружков — век бы их не видал! Через них сюда и попал!

— Как же это? — спросил я.

— Обыкновенно! — оскалился Толян. — Я тут грузчиком в магазине работал, так что какие дружки у меня, сам понимаешь. «Вынеси да вынеси!» — и весь разговор. Ну, однажды надоело мне, говорю им: «Да подождите хоть: затарю отдел — вынесу!» — «Ах так?» — говорят. И так уделали меня — с той поры по больницам гощу!

Наступила тишина.

— ... Ну, вы, говоруны! — вошла медсестра. — Спать давайте, гашу!

Заснуть в эту ночь было невозможно: каждый, оставшись наедине со своей болью, не спал.

Капитан долго мучительно кашлял, потом шли долгие, тягучие, гулкие плевки в банку, стук прикрывающей крышки — и снова кашель.

Распластанный в углу тихо кряхтел. Потом я услышал какое-то бормотанье. Я поднялся, поглядел: дед, скрывающийся весь день под одеялом, сидел, спустив ноги в толстых белых кальсонах, запустив пальцы в редкие белые волосы, и причитал:

— ... Ну, что это за больница такая?! Сил нет, как все болит, — хоть бы микстуры дали какой!

Я поглядел на него, потом поднялся. Дежурный врач сидел в ординаторской, в потрескавшемся кожаном кресле, оставив мощную волосатую руку, читал крохотный растрепанный детективчик.

— ... Гаврилов, что ли? — он недовольно глянул на меня красными глазками. — Ладно, скажи сестре, пусть уколует его.

Я пошел по темному коридору к светящейся лампе на столе у сестры. Рядом с ней в кресле сидела подружка, и сестра, вздыхая, рассказывала ей:

— Нет, не разведется он! Детей очень любит, особенно Сашку!

«Осенняя песня!» — подумал я.

— ... В шестую, что ли? — повернулась она ко мне.

Потом я заснул и проснулся от света и грохота. Дед, яростно свернувшись, снова лежал под одеялом, а эта королева-медсестра для чего-то зажгла свет и, грохоча, вталкивала в палату железную каталку! Она протолкнула ее в конец палаты, к тихо спящему распластанному, грубо выдернула из него все планги, перевалила его на каталку — даже голова его, не открывая глаз, замоталась туда-сюда. Потом она взвезла простыню и плавно накрыла ему лицо, оставив почему-то открытыми босые ступни. «Ведь озябнут же ступни! — подумал я и понял вдруг: — Нет. У него уже не озябнут».

Она протолкнула каталку через палату, железным углом стукнула о притолоку, где была уже отполированная выбоина, — сколько каталок уже вот так бились в нее!

Чуть развернув, сестра выкатила каталку, щелкнула выключателем, стало темно.

«И это — все?!» — хотелось у кого-то спросить.

Разбудил меня какой-то вольный, просторный звук: шипенье и звон воды, падающей в гулкое ведро.

Я лежал, продолжая пребывать в том роскошном, прохладном, счастливом сне, из которого так не хотелось уходить. Я лежал неподвижно, боясь потревожить его, но оп тут же начинал исчезать, как туман на заре! Я судорожно пытался схватить его обрывки, но обрывки сна как обмылки — чем крепче их берешь, тем быстрее они выскальзывают. И вот осталась лишь одна сладостно-непонятная фраза: «На Пучелянские сады», — но что это за сады я уже не знал.

В палате было свежо, чисто и тихо. Все проснулись уже, с некоторой утренней бодростью, но лежали еще неподвижно, ничего не говоря.

— Доброе утро! — вошла новая сестра, белая и прохладная, совсем не похожая на ту, что входила вчера. — Градусники поставьте!

Все, ежась, вздрагивая кожей, ставили холодные градусники.

— Будят зачем-то ни свет ни заря! До шамовки еще полтора часа! — заговорил Толян, но чувствовалось, что и у него настроение отличное.

— Тебе бы только бока пролеживать! — слышался незнакомый скрипучий голос, и все с удивлением увидели белого старика, севшего на кровати.

— Дед-то наш оклемался, гляди! — радостно проговорил Анатолий.

— Я еще на свадьбе твоей спляшу! — задирая высохший подбородок, выговорил дед. — Тапки дай! — сурово приказал он сестре.

Шаркая, дед ушел.

— А вы? Идете умываться? — подошел к моей койке капитан.

Через плечо его свисало махровое полотенце, в руке яркая паста, нераспечатанное туалетное мыло, — он словно шел купаться на пруд.

— Конечно! — поднялся я.

— ...Ну что? — вернувшись, дед обвел всех выпцетшими голубыми глазами. — Показать вам, как в козла надо играть?!

— Давай! — завелся Толян.

... — Заберите его от нас! — через час говорил Толян медсестре. — Всех обыграл, камня на камне не оставил!

Дед победно задирает подбородок.

Толян, улыбаясь, катая меж пальцев папиросу, двинулся в коридор, но тут же благоговейно возвратился:

— Обход!

Профессор, величественный и насмешливый, вошел в палату, за ним струилась его прохладная свита.

— Ну зачем же вы так передо мной обнажились? — насмешливо обратился он ко мне. — Я вас вовсе не об этом просил!

В свите захихикали. Профессор проплыл. Он присел возле капитана, пощупал возле горла.

— Глогаете?

— А разве можно?

— Конечно! — удивился профессор. — А для чего же, интересно, вы здесь находитесь?

Он вопросительно обернулся на свиту — свита потупилась.

— Готовитесь? — мельком спросил он у Петра.

Петр кивнул забинтованной головой.

— Молодцом, дедуля! — мельком глянув на деда, сказал профессор. — Покажите молодым, что наш брат еще стоит кой-чего!

— А со мной что? — настиг свиту у выхода голос Толяна. — Долго еще будем волюнку тянуть?!

— Ну зачем же так, Анатолий?! — профессор вернулся к нему, сел на кровать. — Ведь вы же у нас не новичок, как некоторые, — скоро уж диссертацию сможете написать! Знаете ведь: время и время!

Обласканный Анатолий остался, профессор ушел.

Вскоре появилась сестра.

— Акимов, к профессору!

Капитан ушел.

— Мальков, на гастроскопию!

Выругавшись, Толян встал.

— Что — больно, что ли? — не удержавшись, спросил я.

— А ты как думал, когда метровый дрын вгоняют в желудок? — оскалился Толян.

Вскоре вернулся капитан, покачиваясь от счастья, сияя:

— Я глотал сейчас! Представляете — глотал!

— А... как? — спросил я его.

— Через горло! — улыбнулся капитан. — Протягивает

мне ложку сметаны, говорит: «Глотайте!» — «Да вы что, — говорю ему, — Игорь Владиславович!» — «Глотай, сучий сын!» — сунул ложку сметаны в рот, я глотнул и чувствую: прошло!

Капитан ходил по палате, поворачиваясь то к одному, то к другому.

Потом пошли операции.

Выйдя из столовой, я увидел среди фикусов Петра — он столбиком сидел на диване, белые его ушки торчали над глянцевыми листьями.

Дойдя до окна, я хотел повернуть — но сел к нему.

— Ты сам-то... откуда, вообще? — выговорил я.

— Я с Паши! — с готовностью поворачиваясь ко мне, ответил он. — С Паши! Есть такая река.

— А-а-а... Наверное, рыбы там у вас!

— Е-есть! — Петр кивнул. — Сейгод ряпушка была — наготовили не семь ли банок?

— В уксусе, что ли?

— Не. В масле! Вроде шпрот выходит, — растопырив пальцы, Петр изобразил шпрот.

— А... ценные породы рыб?

— Нельма бывает. Как пойдет, бабы с нее тушек делают, котлет — ну, в курсе уже! — улыбнулся Петр.

В окне, на старой липе, появился человек. Коричневой бензопилой, с сиреневым дымком от нее, он спиливал отросшие сучья. Сук отваливался сперва медленно, потом все быстрее, и доносился стук его о мерзлую землю.

— Хорошо пилит! Чисто! — с ударением на «о» одобритительно произнес Петр.

— А сам-то кем работаешь?

Петр посмотрел на меня.

— Да помощником моториста бензопилы. Тот спиливает, а я вилкой ствол пихаю, чтобы упал, куда надо. Когда тихо — то ничего, а когда ветер крону ведет — то тяжко! — Петр виновато улыбнулся.

Из оперблока выскочил дежурный врач. Красные глазки его покраснели еще больше. Сквозь марлю на лице прокололась щетина.

— Этого давай... с прободой и бородой! — он указал мощной рукой.

Тележка с торчащей из-под простыни черной бородкой продребезжала по коридору.

Петра все не забирали.

Он долго еще маялся, шатался по коридору, потом пытался приткнуться к «декамеронщикам» в курилке...

— Алехов! — прокричала операционная сестра, морщась от дыма. — Сколько тебя можно искать?

— Меня, что ли? — Петр вздрогнул.

— Кого же еще-то? — усмехнулась сестра. — Ты такую фамилию себе откопал — второй такой не бывает!

Петр дернулся за ней, затем растерянно поглядел на зажатый среди коричневых пальцев окурков, положил его почему-то на ступеньку стремянки и, беспомощно глянув на меня, потопал.

В коридоре перехватил его капитан, взял за рукав:

— По сравнению с тем, что мне делали, твоя операция — так, детский лепет! Ждем!

Мы все вернулись в палату и ждали, поглядывая на часы.

— Помню, в сорок шестом, в Крыму стояли, — говорил капитан. — Темно вокруг было, ни огонька. Вдруг Ленька Пушкив, командир БЧ-2, веселый был, заводной — говорит: «Вон огонек какой-то в горах. Наверняка там винсовхоз какой-нибудь — вино, девушки! Пошли!» Ну, молодые были, отчаянные. Карабкались по каким-то обрывам, заблудились. Непонятно уже, где и находимся. «Ну, где девушки твои?» — спрашиваем у Леньки. «Вперед!» — Ленька говорит. И вдруг видим, огонек, к которому мы шли, в небо отделился — звездой оказался! Накинулись мы на Леньку, возиться стали. А ночь теплая была, полынь пахла. — Капитан помолчал. — Потом видим: спускается к нам с гор какой-то свет — исчезнет, потом снова появится. Наша машина оказалась — за водой ездил, за перевал. Попрыгали мы в кузов — там бочка с водой стояла, как начали мы ее пить! Сухо было. — Капитан закашлялся. — ... Потом посмотрели в помещении, какая это вода: жучки в ней какие-то плавают, головастики! И утром у всех понос у нас, кто ходил! — капитан засмеялся-засипел, ладошкой придерживая грудь.

— Ты, развеселился! Не больно-то! — заботливо подошел к нему Толян.

— Да. Недавно встретил я Леньку того Пушкива. «Где кудри-то твои?» — спрашиваю. «Одолжил!» — «А помнишь, как к девушкам в Крыму сходили?» — «А как же!» — смеется.

Капитан замолчал.



— Я тогда девяносто весил, — вдруг сказал он. — Так движения почти никакого: из каюты — на вахту, с вахты — в каюту!..

— А сейчас... сколько весите? — не выдержал я.

— Сорок, — отрывисто произнес капитан и, согнувшись, сложив руки на груди, ушел.

— У меня тоже тут был случай, — с обычной своей надсадой начал Толян, но тут появился взволнованный капитан:

— Везут!

Мы выскочили в коридор. Вдоль палат дребезжала каталка. На ней, закинув голову, лежал Петр. Глаза его были закрыты. Рядом с каталкой шла операционная сестра, держа в поднятой руке банку. Прозрачная жидкость по шлангу шла Петру в нос.

— Сейчас начнут: банки, подкачки эти! — с отчаянием произнес Толян.

Каталку развернули к узкой одноместной палате.

— Худы дела! — еще более побледнев, тихо проговорил капитан.

Мы сунулись туда, но сестра яростно захлопнула перед нами дверь.

Мы долго шатались по коридору, потом, на сотом уже, наверно, проходе, я увидел, что дверь в палату открыта и Петр неподвижно глядит куда-то вверх.

Я осторожно вошел — глаза Петра медленно двинулись, остановились на мне. Губы разлепились.

— Чего? — я нагнулся к нему.

— Вешшы мои... сюда переташшы, — с долгими паузами выговорил он.

Я быстро сходил, собрал в тумбочке его вещи: шершавую полевую сумку, растрепанную книгу, стеклянную банку, наполовину заполненную брусникой.

Прижав все это богатство к груди, я осторожно донес его до палаты.

— Насышь! — выговорил Петр.

Сообразив, я насыпал в миску брусники. Петр осторожно поднял корявую ладонь, водил по крепеньким белобоким ягодкам, с попадающимися глянцевыми листиками, изредка темными.

— Молодец! Хорошо держался! — в палате появился капитан, кивнул Петру.

Потом мы снова лежали в нашем «пенале».

— Жене я не говорил, — рассказывал капитан. — Сказал — в отпуск в Ленинград еду, и все! Догадалась как-то сама, примчалась!

В палату вошел разозленный Толян:

— Петра там вырвало сильно, а сестра умоталась куда-то, как всегда!

— ... А где швабра-то? — я поднялся.

Раздвигая толпу в курилке, я отыскал наконец швабру, со звоном налил в ведро воды и со шваброй наперевес двинулся к Петру.



## Рыбья кровь

**Ж**

ена сказала мне:

— Ну что ты пишешь все про себя? Кому это интересно? Написал бы лучше про другого кого-нибудь.

— Ну а про кого?

— Ну, про какого-нибудь

человека, который много повидал, много пережил!

— А я что — мало пережил?

— Ты?

— Я. Сейчас, например, знаешь куда иду? К зубному врачу!

— Вот и опиши этого зубного врача! — обрадовалась жена. — Как он, вообще, живет, чем увлекается. Ить интересно!

«Хорошо, — скорбно подумал я. — Если мои страдания интересуют ее только в таком плане — пускай. Опишу подробно, как все есть, — может, прочитав на бумаге, прочувствует».

Я сидел в белом коридоре, пропахшем лекарствами, слегка колотил подошвами по линолеуму. Спокойно... спокойно. Я — чистый лед, может быть, с каплей фруктовой эссенции!

Зажглась лампа над дверью, я вошел и увидел врача-ху в выпуклых очках и с еще более выпуклой грудью, халат еле сходиллся, при ее близорукости она вряд ли видела всю свою грудь до конца!

— Проходи, миленький, — ласково запела она. — Садись. Открой, миленький, рот... так... умница!

Минут через двадцать я вышел от нее, сильно взволнованный, — я не только поправил свои зубы, но и договорился с прекрасной этой женщиной (ее звали Марго) о свидании через два дня, причем по другому делу — совершенно не связанному с зубами!

На слабых еще ногах я спустился в сквер, упал на скамейку, немного передохнул, потом достал записную и начал писать:

«Хорошая зубная врачиха должна быть обязательно хороша, как мне кажется и в любви. Ты выгнешься — и она выгнется в ответ, застонешь — и она, немножко в другой тональности, подстонет тебе».

С этой записью я помчался к другу моему Дзыне, главному моему наставнику в литературе и жизни, редактору журнала. Дзыня прочел мои записи:

— Не пойдешь!

— Пач-чему?

— Старик, прости меня — это чужь: «Хорошая зубная врачиха должна быть обязательно хороша, как мне кажется, в любви...» Разве так надо писать о врачах?

— А ты что, заранее уже знаешь как?

— Конечно, знаю. Ты уж можешь мне поверить. Осторожность заменяет мне ум! Ладно уж, — Дзыня с отчаянием проговорил, — если уж ты хочешь что-то написать — свое отдам! Три года хочу написать — но не успеваю... Артур Звехобцев! Слыхал?

— Нет.

— Счастливчик!

— ... Кто?

— Ты.

— Почему?

— Когда с ним познакомишься — поймешь, — Дзыня вдруг захихикал.

— А кто такой?

— Колоссальный тип. Участник, между прочим, всех войн. Но тип, я повторяю, еще тот, — об него многие уже зубы пообломали. И я в том числе. Попробуй.

— Он что... необычный немножко?

— Не знаю! Сначала все и думали так, что это бред: будто он раньше бароном был, во французском Сопротивлении участвовал... Но когда к нам де Голль приезжал, Артур этот спокойно прошел через охрану, де Голль бросился к нему, обнял, и минут сорок они непринужденно о чем-то беседовали. Так что человек он действительно незаурядный, хотя все истории его невероятными кажутся. Например, как, будучи в лагере, он заставил Отто Скорцени бежать с ним наперегонки стометровку.

— Зачем это было нужно... Скорцени-то?

— У Артура спроси — он подробнейшим образом расскажет тебе! С кем только, по его словам, не встречался он... С Рокфеллером! Якобы дочка Рокфеллера безумно влюбилась в него... — Дзыня зачумленно затряс головой. — В общем, — я зубы об него уже обломал — попытайся теперь ты.

— Давай!

— Ну — тогда адрес пиши: Малая Разъезжая, четырнадцать. Вверх по лестнице до упора. Там мастерская у него, там и живет.

— Мастерская? Он что — еще и художник?

— Да. Вдобавок ко всему еще и скульптор. Представляешь?

— Да.

На следующее утро я ехал к Звехобцеву. Застенчивость боролась во мне с наглостью. Долго карабкался по узкой лестнице. Уперся в обитую ржавым железом дверь. Долго стучал ногой. Наконец эта тяжесть медленно сдвинулась, образовалась узкая щель, показался воспаленный, с кровавой сеточкой глаз.

— Что нужно?

— Хотелось поговорить.

— Так. О чем?

— ... Правда ли, что, когда приезжал генерал де Голль, вы разговаривали с ним сорок минут?

— Да. Генерал — мой близкий друг. Что еще?

— Вы участвовали во французском Сопротивлении?

Он вдруг резко распахнул дверь, теперь уже двумя глазами впился в меня.

— Да, я был в Резистансе! — отрывисто проговорил он. — Но это они заставили меня. Я был барон!

Я разглядывал его: алые шальвары, расшитый халат, красная феска свешивается на бровь.

— Кто вас заставил?

— Мои английские друзья!

— Английские?

— Я же сказал.

— Да... помотало вас по свету! — проникновенно заговорил я.

— Что значит — «помотало»? — вскричал он. — Я не из тех людей, которых можно «мотать»! Восемь детей во Франции, два внука в Мексике. Что интересует еще?

— ... Может быть — все-таки можно зайти?

— Никогда! — с пафосом проговорил он. — Мастерская — это храм!.. Хорошо. Через пятнадцать минут ждите меня в кафе внизу!

... Увидев его через окно кафе, я еще раз изумился: на улице он выглядел совершенно иначе. Огромная, как котел, седая голова в высокой папахе, плюс — короткое молодежное пальтецо, из-под него — тоненькие кривые ножки в потрепанных брючках. Войдя, он окинул помещение орлиным взглядом, сурово кивнув мне, подошел.

— У вас есть деньги? — надменно поинтересовался он.

— А у вас?

— В свое время я мог сделаться зятем Рокфеллера! — произнес он, не прояснив, правда, своим ответом вопроса о деньгах. — Студень! — скомандовал он. — Суфле! Мусс!

Я собрал по карманам мелочь. Вообще, на эти деньги можно было взять кое-что поплотнее — но он, видимо, принципиально ест только трясущуюся еду.

Начал он есть почему-то с конца, то есть с мусса. Мне показалось, что он и забыл, с кем и зачем он находится здесь, как вдруг он яростно глянул на меня в упор:

— Шиву надо?

— Кого?.. — растерялся я.

— Ну — Шиву, Шиву! — нетерпеливо произнес он. —

... Ну — танцующего, тысячерукого! — вспыхив из-за моего непонимания, заорал он вдруг на все помещение, но сонная буфетчица за стойкой даже не дрогнула: здесь, видимо, привыкли к нему.

— А... посмотреть можно? — пролепетал испуганно я.

— Посмотреть? Ну разумеется! — с высокомерной баронской вежливостью ответил он.

Артур резко распахнул свой пальтуканчик (каракулевая потертая папаха каким-то чудом держалась при самых крутых поворотах головы) и показал мне выколоченного на медном листе танцующего Шиву.

— Ясно? — проговорил он.

В кафе вдруг зашел милиционер и неторопливо направился к нашему столику. Он подошел и стал смотреть на Артура.

— Что вы желаете сказать... личному другу генерала де Голля?! — закричал вдруг Артур.

Надо валить, понял вдруг я. Не спеша, как случайный посетитель, я отделился от столика и направился к выходу.

— Ну, ты уж чересчур, дядя, — пробормотал милиционер.

— Молчать! — звонко выкрикнул Артур.

Я прибавил ходу и выскочил из кафе. Да, пообломаю я об него зубки... а может — и не стоит ломать?

Дома я посоветовался с женой.

— Уж больно нестандартный какой-то тип, — пожаловался я.

— Так это и интересно! — обрадовалась она.

— Ну что же... хорошо, — я пожал плечом. Если ей так хочется, чтобы я сломал голову из-за какого-то Артура, — пожалуйста!

Вечером я был у него. Довольно долго пришлось биться в железную дверь — наконец она приоткрылась.

— Что нужно? — оглядев меня с ног до головы, вымолвил он.

— Я хочу... написать о вас, — выпалил я.

Артур еще некоторое время оглядывал меня, потом распахнул дверь.

— Почему смылся тогда? — презрительно спросил он (говорил он с явным восточным акцентом).

— Ну... я посчитал... что могу оказаться лишним... — забормотал я.

— Рыбья кровь! — припечатал Артур и, более не глядя на меня, ушел в мастерскую. Я поплелся за ним.

В центре мастерской, огромной и почти пустой, стояла глиняная скульптура оленя с поднятой передней ногой. Рядом на полу было корыто с глиной и воткнутой совковой лопатой. У стены поднимались сколоченные дощатые нары, на них, скрестив ноги, сидел молодой парень восточного вида и две кругленькие бойкие девушки (судя по их милому щебету — ученицы ПТУ).

Артур молча пошел к оленю и стал яростно тереть его бок скребком. Парень на нарах, лучезарно улыбаясь, обратился ко мне:

— Я в балетной школа учился: день репетиция, ночь репетиция. Потом в национальном ансамбле песни-пляски работал. Бежишь по кругу — бубен: тах! Упадешь. Бубен над тобой: тах-тах-тах. Поднимешься, головой на плечах в одну сторону — зых. В другую — зых. Снова упадешь, как мертвый лежишь. Бубен: тах, тах. Ай, думаешь, нехорошо: за что зритель два пятьдесят платит? Спасибо, — он кивнул на Артура, — дядя увез меня из этого ада.

— Дядя? — я удивленно посмотрел на хозяина.

— Я сюда жениться приехал, — доверчиво продолжал бывший танцор. — У нас очень дорого жениться — приехал сюда.

— Завтра в дискотечку пойдем, тут рядом хорошая дискотечка, — уверенно проговорила одна из дам.

— Опять танцевать? Ай-ай-ай! — танцор как бы расстроено закачал головой.

Дамы благосклонно заулыбались.

Раздался звонок. Артур резко распахнул дверь. Вошел знакомый по встрече в кафе милиционер.

— С обследованием я, — вытаскивая из колючей шпели блокнот и оглядывая мастерскую, проговорил милиционер. — Правда ли, что недавно здесь была американка из туристской группы?

— Это моя побочная дочь! — высокомерно прозвнес Артур. — Что вас интересует еще?

— Ты уж чересчур, дядя, — пробормотал тот. — Может, чайком хоть напоишь?

— Можно и покрепче что-нибудь! — я бодро выхватил из сумки припасенную бутылку и преданно глядя на гостя.



— Немедленно убрать! — раздался звенящий крик Артура. — Мастерская — это храм!

Ну что он нарывается?! — в ужасе думал я.

На другое утро я был у Дзыни в редакции.

— Да... тип еще тот! — уже почти с восторгом говорил Дзыня. — Все так переплетено — не распутаешь.

— А должно быть все отдельно? — поинтересовался я.

— ... Говорил он тебе, что бароном был?

— Говорил.

— А что является чемпионом Японии по борьбе сумо?

— Этого не говорил.

— Значит, скажет! — произнес Дзыня. — А про сомика своего рассказывал тебе?

— Про какого сомика?

— Который... не лезет ни в какие ворота! — закричал Дзыня. — ... А вообще — завидую я ему. Такая жизнь! А может — все врет... — Дзыня вдруг сник. — Ты вот что, — он снова поднял лицо. — Ты съезди с ним девятого в Москву. Девятого, на праздник Победы, он в Москву ездит, на встречу с боевыми друзьями. У них и узнаешь, где правду он говорит, а где нет.

— Ну хорошо, — неуверенно согласился я.

Восьмого, в день отъезда, я собрал чемодан. Жена сварила макароны, подсаливая их собственными слезами.

— Не могу больше ходить в этих туфлях — разваливаются на ходу, — она показала туфли.

— Ничего — скоро выбросим их, — бодро проговорил я. — Подберем что-нибудь достойное тебя.

— А ручку мне купишь, папа? — улыбнулась дочь. — От этой, видишь, я в чернилах вся с ног до головы!

— Скоро с золотым пером ручку купим тебе! — сказал я. — Сама будет вместо тебя уроки делать. Потерпите немного! — попросил я жену и дочь.

Перед отъездом моим мы сидели на кухне, смотрели в окно. Только отъезжающие куда-нибудь не спят в нашем районе в такое время. Все почти окна уже темные. Рано ложатся у нас. А что делать? Только мигает желтым огнем светофор на перекрестке, да зеленеет в провале темноты огонек такси, — но пока что такси не для меня. Вдобавок ко всему неожиданно — в мае! — выпал снег, лежит на неподвижных машинах, на газонах.

— Ну все, — поднялся я. — Мне пора.

Ночь в вагоне я сидел в коридоре, на откидном стульчике, — и вдруг увидел торчащую из-под ковровой дорожки головку спички. И тут же, быстро оглянувшись, с какой-то звериной цепкостью выцарапал из-под коврика спичку и с колотящимся сердцем спрятал ее в нагрудный карман. И сам испугался: что это со мной? Неужели бедность настолько уже въелась в подсознание, что я так радуюсь дармовой спичке? Таких реакций раньше у себя не замечал...

До этого ночного сидения в коридоре произошла еще не очень приятная сцена между мной и Артуром — точнее, у Артура с проводником.

Для начала, проводник, парень с выбившейся на брюхе мятой рубахой, пытался втиснуть в наше заполненное купе еще одного своего пассажира.

— Где же он спать-то будет? — услужливо подвигаясь перед пришельцем, пробормотал я.

— Ничего... прикорнет где-нибудь, — сыто и нагло поглядел на нас проводник.

— Вон отсюда! — вдруг рявкнул Артур.

Пассажир, который, в общем-то, был ни при чем, только что разве дал проводнику за проезд, посмотрел на прищуренные кошачьи глаза Артура и стал пятиться:

— Да ладно уж, — проговорил он, обращаясь к проводнику, — самому-то мне не очень охота... со зверьми ехать.

Он взял свой мешок и вышел.

— А ты, дядя, загремишь у меня отсюда, — спокойно сказал проводник Артуру.

Артур бросился на него, но проводник успел выйти и задвинуть дверь. Артур стал рвать ручку, но ехавший с ним друг, седой ветеран Тютюрин, схватил его за плечи и усадил.

— С тобой действительно не доедешь, — проговорил Тютюрин.

Некоторое время мы ехали молча, под гул колес и бряканье пепельницы.

— Ну ясно, чаю не дождешься от него! — вздохнул Тютюрин. — На боковую, что ли?

Дверь отъехала, и вошла пожилая женщина — четвертый наш пассажир с кипой мятого белья.

— Это что выдают, а? — проговорила она. — Грязь на

грязи! И имеют еще наглость уверять, что получили такое!

Я пересел на другую полку, и она начала стелить.

— Поговорить, что ли? — с сомнением приподнялся Тютюрин.

— А, бесполезно, — я махнул рукой. — Всюду одно и то же. Полное их торжество! Везде у них своя команда. Недавно пытался посуду сдать — абсолютно то же самое... Огромная очередь в подвал — еле движется. Часа два простояли уже, вот-вот — и вдруг подъезжает грузовик: погрузка! Это значит — задержка еще на час! Спускаются из кузова двое коблов, из кабины — шофер. «Не могли в перерыв погрузить, — спрашиваю. — Не мучить чтобы нас?» — «Об этом, извини, не подумали», — абсолютно нагло отвечает он. И начинается погрузка. Причем, сами они не грузят, находятся добровольцы из очереди, которым потом за работу властители эти без очереди позволят посуду сдать! И даже больше, чем нужно, добровольцев находится, некоторое даже столкновение происходит — кому грузить. А те смотрят, усмехаясь. Вот что особенно похабно! «Ладно — вот ты, ты и ты», — шофер выбирает. Те рьяно начинают грузить — эти стоят, улыбаются. «А почему вы-то не грузите? — я не стерпел. — Ведь это ваша, наверное, работа?». Шофер посмотрел на меня, потом произнес лениво: «Быдло работу любит!» Ну — что тут делать? С камнем бросаться на них — или самому вешаться?

А эти грузчики-добровольцы мне же и говорят: «Отвали ты, со своими проблемами!» Тут вдруг шофер приносит из кабины ведро, и из каждого поднимаемого ящика небрежно выдергивает бутылку и швыряет в ведро. Сначала я своим глазам не поверил, головой затряс. Наверное, думаю, он битые бутылки отбирает, на ходу так зорко их отличая: все ж таки профессионал! Но вскоре рухнула и эта надежда — явно не глядя он бутылки выдергивает, первые попавшиеся: собирает дань. И главное — доброволец, который непосредственно поднимает ящики в кузов, заметив эту инициативу шофера, — перед тем, как поднять ящик, — протягивает его предварительно шоферу! — я разговорился, разволновался... — Далее: закончили погрузку. Спускаются туда и закрываются там минут на сорок! Очередь терпеливо ждет! Потом выходит шофер, неторопливо проходит вдоль очереди, уходит в

магазин. Возвращается — спокойно, не прячась, несет две бутылки коньяку. И что самое жуткое — в очереди защитники их находятся и даже поклонники! «И правильно, — говорят, — Люди живут, как нравится им. Что ж им, так жить, как мы, дураки, живем?» — «Правильно», — усмехается шофер. «Но когда все-таки будете принимать?» — спрашиваю я. Тут он остановился даже, с интересом посмотрел: что, мол, за такой выискался: борец — соленый огурец? «Когда, спрашиваешь? — спокойно мне отвечает. — ... Вчера!» И страшно довольный собой, уходит в подвал. Не владею уже собой, бегу туда, дергаю дверь — он мне открывает, пьяно рыгая: «Нарваться все же решил?» Ну — что тут делать?..

— Ты еще спрашиваешь? — сверкнул взглядом Артур.

— Да их же команда целая! Да и очередь заступится, что я таким выдающимся людям мешаю отдыхать!

— Команда? — проговорил Артур. — Одному ребром ладони по горлу, другому локтем в рот, третьему — пяткой в пах!

«Да, говорить-то легко», — хотел произнести я, но осекся: он-то, действительно, разговаривать бы не стал.

— Рыбья кровь! — презрительно произнес Артур.

— Ну — и тут то же самое, — не слушая его, обращаясь исключительно к женщине, рассудительно продолжал я. — Договариваются с бельевщиками на вокзале и вообще белье не берут. А выдают старое — по третьему-четвертому кругу деньги собирают. Сбрызнут его водой изо рта, и говорят, что из прачечной только, даже еще сырое. А почему грязное и мятое: так стирают теперь! И некоторые пассажиры довольны даже: раз здесь так плохо, значит, и им так можно!

— И ты спал на таком белье? — процедил Артур.

Я хотел сказать ему, что у себя в мастерской он спит, кажется, вообще без белья, — но не сказал, почувствовав, что это дела разные и сравнивать их нельзя.

— А вы... не будете на нем спать? — язвительно проговорил я.

Артур быстро сдвинул дверь и выскочил в коридор. Мы с Тютюриным кинулись за ним. Поезд разошелся, кидало от стенки к стенке. У служебного купе шумела недовольная толпа.

— Возмутительно! — слышались голоса.

— Дома, небось, и не на таком спят, — усмехаясь,

говорил проводник своему пассажиру, который теперь сидел у него. — А тут им подавай крахмал — вышкуриваются друг перед другом!

— Но почему же такое белье? — возмущался полковник в парадной форме.

— Такое, и все! — ответил проводник. — А будешь выступать — и такого не останется!

Заражаясь его наглостью, пассажир достал из сумки бутылку и, насмешливо глядя на других пассажиров, не облеченных высокой дружбой с проводником, разлил вино в два стакана.

— Немедленно выдать всем чистое белье! — появляясь в служебном купе, выкрикнул Артур.

— А тебе, дядя, все нейметя! — лениво произнес проводник. — Ну, сделаю я тебе — в Бологом будешь ночевать!

Артур выкинул руку — и проводник повалился на столик. Артур рванулся вперед — нанести еще один удар, завершающий, но здоровый Тютюрин поднял его и отволок в купе.

— С тобой действительно не доедешь! — тяжело дыша, Тютюрин задвинул дверь.

Поезд вдруг остановился и долго стоял на каком-то маленьком темном полустанке.

— Ну вот, — тревожно вглядываясь в окно и видя лишь свое неясное отражение, думал я. Все ясно! Сейчас нас уведут в эту темноту, а ярко-освещенный уютный поезд уедет без нас. Ну, влип. И главное — за что?

Но так никто за нами и не пришел, и поезд, постояв, со скрипом двинулся. И тут я впервые почувствовал закон, который потом очень мне помогал в дальнейшей жизни: не надо считать врагов всемогущими, у них тоже, наверняка, есть свои тяжелые проблемы, неизвестные нам, занимающие их мысли и силы, не надо представлять, что они все время думают лишь о тебе — больше ни о чем... а может быть — чем черт не шутит! — с ними случаются и приступы совестливости, останавливающие их...

— Ну слава богу, все вроде обошлось, — отворачиваясь от темного окна, с облегчением проговорил я.

— Рыбья кровь! — презрительно вымолвил Артур и, сбросив с верхней полки грязный матрас на меня, улегся на голой фанере и демонстративно захрапел. А я не мог

уснуть целую ночь, сидел в коридоре, где и удалось мне добыть дармовую спичку из-под ковровой дорожки.

Поезд прибыл к какой-то старой, заброшенной платформе. Никогда раньше я к ней не подъезжал... или... было? Вдруг стали оживать и двигаться давние воспоминания: я был на этой платформе с матерью и отцом... когда? Примерно двадцать пять лет назад! Мы тогда последний раз все вместе приехали в Москву — как раз, кажется в мае? Теперь-то я понимаю уже, что родители подались тогда в столицу с отчаяния, — видимо, мама уговорила отца на последнюю попытку, и они поехали в Москву, робко надеясь, что праздничная столица и старые друзья их и близкие родственники еще раз помогут им, поднимут их дух и удержат их вместе, — дома уже надежды на это не осталось.

Отец мамы, московский академик, сняв шляпу и открыв голову с серебряным бобриком, шел к нам.

У платформы нас ждала длинная черная машина... И все напрасно! Помню, я был ошарашен ее огромным, тускло освещенным нутром; особенно меня занимал маленький стульчик, вынимающийся к полу из спинки переднего кресла, я то робко вынимал его, то снова убирал. Потом, посаженный папой на колени, слегка уколотившись о его щетину, я вдруг увидел за окном рой праздничных шариков на палке, радостно закричал — и шарик (тогда шарики еще летали) был впущен в машину...

Потом помню нас в роскошном магазине с высоким фигурным потолком, — потолок я помню потому, что к нему, вырвавшись из моих рук, улетел шарик. Кто-то со шваброй в руках лез под потолок (была, значит, у деда сила и власть — но не помогла она нам, не помогла!), шарик был торжественно мне вручен, я подбежал к маме и папе, но лица у них были расстроенные, отвлеченные.

Потом помню, как в зеркальном фойе театра мать (перед началом или в антракте?), очаровательно кокетничая, весело и молодо вертелась перед зеркалом, — но пронзительную тревогу всего происходящего, непонятную, но очень мною ощутимую, я ясно запомнил. Потом помню багрово-серебристый бархат ложи, солидный черный рукав деда-академика, ставящего на барьер открытую коробку шоколадных конфет в гофрированных золотых юбочках.

Больше я не помню почти ничего... Смутно: я

в коридоре с какой-то игрушкой, и открывается дверь в темноту, и возвращаются из каких-то гостей расстроенные, молчаливые отец и мать. Представляю, как грустен был обратный путь, когда последняя надежда — Москва — не помогла и они ехали к своему расставанию! Как виновато, наверное, отводили глаза при провожании их родственники и друзья, не справившиеся с непосильной задачей — вернуть молодость и счастье!

И что было бы тогда с родителями, если бы сумели они через толщу лет разглядеть теперешнего меня, безуспешно пытающегося стремительностью движений скрыть свою неуверенность, суетливо заспешившего — в нелепой надежде...

Седой кок Артура маячил впереди — он горячо лобзался с каким-то генералом.

— Это мой секретарь... можно не знакомиться, — небрежно проговорил Артур, глянув на меня.

Потом я забежал к родственникам, живущим неподалеку, слегка поднаврал им о важности моего визита в Москву, потом успел еще по дороге заскочить в «Детский мир», купить дочурке особых московских тетрадушек (очень их любит!), и, радостный, пошагал вниз, к скверу Большого театра, где собираются ветераны. Всюду играли оркестры, и я радовался, что шагаю в ногу со всеми.

Увидев моего героя, я несколько подрасстроился — вся зыбкость моих надежд предстала передо мной. В толпе ветеранов найти Артура было легко. О боже! На что мне надеяться? На голове его красовался кок, на шее — бабочка в крупный горошек. Не то, все не то, что нужно, — требовалось абсолютно другое. А так, как он, одевались лишь стилиаги в пятидесятых годах. Где раздобыл он такие вещи — было неясно. Даже его возлюбленная — дочь Рокфеллера — вряд ли одобрила бы такой наряд!

Держался он, правда, абсолютно уверенно, все его движения источали власть. Я неожиданно убедился, что и многие наши генералы уважают его — не только де Голль.

Потом, когда все начали разбредаться и Артур оказался вдвоем, видимо, с самым близким своим другом в кафе на бульваре, я через некоторое время присоединился к ним.

— Мой секретарь, — опять же небрежно представил меня Артур.

— С великим человеком работаете! — сказал мне друг, когда Артур удалился к стойке. — Знаете, что сделал он? Вдвоем еще с одним захватили укрепленный форт, охраняемый целой зондеркомандой.

— А... как?

— Да просто... на словах если. Влезли ночью, по скале, сняли часового, вошли в казарму. Артур рывкнул по-немецки: «Встать!» Все вскочили в переполохе — ну они всех и положили из автоматов.

— А Артур... знает по-немецки? — спросил я.

— Артур? — удивленно улыбнулся друг. — Да он на каком хочешь может говорить... даже если не знает.

Мы засмеялись.

— Встать! — раздался над нами голос Артура. — Первый тост пьем стоя! Ты можешь сидеть, — снова унижил меня Артур, но я уже больше не унижился, а захохотал.

Через некоторое время, покинув их, я шел по бульварному кольцу. Я понял наконец-то главное, что мне давно уже следовало понять: среди победителей в этой войне были люди самые разные, и в их числе был и Артур, — и не всем обязательно нужно походить на каноническую скульптуру воина-освободителя.

Я уже прикидывал, как пишу роман о нетипичном герое (с чего и начинается мое бешеное восхождение к славе).

Вот (я уже ясно представлял себе) на какой-то роскошной вилле устраивается празднество в мою честь — длинные столы поставлены под открытым небом. Благоухают цветы, порхают бабочки.

— Неплохо, — говорю. — Очень неплохо. Но бабочек прошу заменить!

Другой кадр: при огромном стечении народа выносят мой гроб. Тут же вспыхивают бешеные рукоплескания, возгласы: «Качать! Качать!»

Замечтавшись, я чуть не угодил под машину, на которой ехал военный оркестр.

Вечер я уютно провел у родственников и в радостном настроении пришел на поезд. Ветеранов моих еще не было. Счастливо вздохнув, я раскинулся на сиденье. Вдруг дверь в купе отъехала и вошла моя любимая зубная врачиха Марго!

Вот это да! Наконец-то! Наконец-то и мне пошла карта! Я стал раскидывать по столу богатые подорожники,



созданные родственниками. Марго, вроде бы, тоже радовалась, рассказывала, что ездила ставить зубной мост одному маршалу, — в общем, жизнь ее шла удачно.

— Хоть бы загуляли мои друзья, хоть бы не пришли! — молил я бога войны Марса.

Но гвардейцы не упускают побед — именно потому они и есть гвардейцы!

За минуту до отхода поезда в коридоре послышалось грозное пение. В дверях купе появились Артур и его верный спутник Тютюрин. Они, не замечая нас, спели несколько песен, потом, когда Артур вышел, Тютюрин резко залез на верхнюю полку и захрапел. Вернулся переодевшийся в роскошный халат и феску Артур — и внезапно начал бешеный штурм нашей спутницы. Сначала, обидевшись на Артура за то, что он разрушил наш с ней роман, она отвечала отрывисто и сухо, поглядывала в окно, потом безумный напор этого человека начал действовать и на нее, она стала поглядывать и на рассказчика, отрывисто похохатывать.

— И вот, ребята мои, орляты, я выхватываю мой верный манлихер... — вдохновенно излагал он.

... Так и не дождавшись перерыва в его рассказах (действие которых перенеслось уже в его баронский замок), я сдался, забрался на верхнюю полку и уснул. Проснулся я среди ночи: с чего бы это? И сразу же понял с чего! Так я мычал, а она ласково шептала, когда лечила мне зуб!

И при этом мне еще нужно было лежать в моем гробике не шелохнувшись, чтобы не дай бог они не поняли, что я не сплю!

Успокоенный наступившим наконец затишьем, я начал дремать — но тут они принялись за второй «зуб»!

Так и не сумев превратиться в мышку, я грузно спрыгнул с полки, рванув дверь, вышел в коридор, стоял в холодном прокуренном тамбуре, изображая курение, хотя курить мне несколько не хотелось.

Когда — за полчаса до прибытия — я вошел, наконец, в купе, Артур, переливаясь своим халатом, небрежно курил (прямо в купе!) длинный изогнутый кальян, а Марго (о женщины!) хлопотливо угощала его моими подорожниками.

На платформу я вышел один. Я понимал уже, что с романом об Артуре все плохо и, если я пойду с ним, он

приведет меня к краху. Из сцен, подобных только что кончившейся, «надежного» романа, любимого начальством, не выйдет, — а без подобного рода сцен Артур не будет Артуром. Только он ни в чем не сомневался — покровительственно-небрежно прошествовал рядом с Марго.

Расстроенный я заскочил домой и направился в редакцию.

— Вукол Дмитриевич на совещании! — сказала секретарша.

Я рванулся к выходу, потом вернулся:

— А где совещание?

— На Пятой линии.

На заседании как раз был объявлен перерыв. Вукол Дмитриевич (то есть, по-нашему, Дзыня) шел рядом с каким-то маститым, в кожаном пиджаке, делая почему-то вдвое больше шагов, чем тот, хотя и двигаясь абсолютно вровень. В руке Дзыни, деликатно удерживаемой на отлете, была тарелочка с двумя румяными, видимо, особо дефицитными сырниками.

— Дзыня! — заорал я.

Чопорно извинившись перед маститым, Дзыня петопливо подошел ко мне.

— Ты что, с ума сошел? — краешком рта проговорил он.

— Здорово! — я что-то обрадовался вдруг ему, схватил его за руку, два раза тряхнул, сырники дважды подпрыгнули на тарелке.

— Как съездил? — спросил Дзыня, почему-то глядя не на меня, а озираясь вокруг.

Я простодушно рассказал.

— Слушай сюда, — краешком рта заговорил он. — Об Артуре этом забудь. Погубит он — и тебя, и меня. Понял, да? Учти: осторожность заменяет мне ум! — он коротко улыбнулся и снова помрачнел.

Потом я уныло ехал домой. Жена и дочка ни о чем уже не спрашивали меня. Я напечатал Артуру записку — о том, что романа о нем в ближайшее десятилетие не намечается, поскольку образ его не совсем соответствует... и пусть он подыскивает себе другого секретаря!

Видеть его лишний раз я, естественно, не хотел — поэтому вставил послание в дверную щель.

Вечером я был у Дзыни — мы позволили себе разговориться несколько откровеннее, нежели на совещании.

— Не получается жизнь! — горевал Дзыня. — Не прожить нам такую жизнь... как этот прожил!

— Потому что — рыба кровь! — с отчаянием пояснил я. — Огня нет! Давно все кончилось, в юности уже... А помнишь, как однажды весной мы к девушкам приставали на углу? Было ведь! Ты изображал коня на скаку, а я — горящую избу.

— Помню, конечно! — Дзыня вдруг зарыдал.

Домой я вернулся поздно. Зажег в кабинете свет — и не поверил своим глазам. Все стены в кабинете были заляпаны какими-то кляксами, прилипшими темными бомбочками с бордовым выбросом.

— Что это? — изумился я.

— Да это бешеный твой прибегал... Артур, — сказала жена, заходя в кабинет. — Сначала говорил долго, как тебя презирает, потом вдруг клюкву из кулька начал в стены швырять.

— Почему клюкву-то? — удивился я.

— А я знаю? — ответила жена.

Моя рыба кровь понемногу закипала.



## Две поездки в Москву

### 1

**М**осковский дворик перед глазами — деревянные скамейки, высокая блестящая трава, одуванчики на ломающихся, с горьким белым соком трубочках. А я сижу за столом и опять ей звоню, хотя вчера только думал — все, слава богу, конец. И вот опять.

Звоню, а сам палец держу на рычаге — если подойдет муж, сразу прервать. Но нет. Никого... Гудок. Гудок.

Далеко, за семьсот километров, в пустой комнате звонит телефон. Положил трубку, встал. Жарко. Единственное удовольствие — подойти к крану, повернуть. Сначала выливается немного теплой воды, а потом холодная,

свежая. Положил голову в раковину. Вдруг кран начал трястись, стучать, как пулемет, вода потекла толчками. Ну его к черту, закрыть. Ходить по комнате, приглаживая потемневшие холодные прядки на лбу. Провести рукой по затылку снизу вверх — короткие мокрые волосы, выпрямляясь из-под руки на место, приятно стреляют холодной водой за шиворот. Но скоро все высыхает.

Подошел к двери, выбежал, хлопнул. Все идут потные, разморенные, еле-еле. Уже неделю такая жара. С того дня, как я приехал в Москву. А вернее — сбежал. Так прямо и схватился за командировку. А здесь меня брат поселил в своей пустой кооперативной квартире, на окраине. Странные эти кооперативные квартиры. Все одинаковые. И как-то еще не чувствуется, что люди здесь жили и еще долго будут жить.

Институт, правда, оказался рядом, так что в самом городе я почти и не был, все ходил здесь по дорожкам, по огородам. И уж мерещилось, что вся жизнь пройдет здесь, на этой вытоптанной траве, среди пыльных, мелких, теплых прудов. . .

Познакомил нас с ней мой друг Юра. И сразу понял, что зря. Сразу же между нами почему-то такое поле установилось, что бедный Юра заерзал, задвигался, и вообще удивляюсь, как не расплавился.

Что в женщине больше всего правится? А всегда одно и то же — что ты ей нравишься, вдруг чувствуешь, как она незаметно, еле-еле подтягивает тебя к себе. И замечаешь вдруг ее взгляд, и осторожно думаешь — неужели?

А на утро я пришел к ней по какому-то еще полуделу, что-то мы придумали накануне. И вот сидел на табурете, а она ходила по комнате в мохнатом халате, нечесаная, и мы говорили еще о каких-то билетах, но все уже настолько было ясно. . . Она мне потом рассказывала, что тоже это почувствовала и очень испугалась, — еще накануне утром меня и в помине не было.

Все несколько отклонилось от обычной схемы, и муж нас застал в первый же день, когда ничего еще не было и мы сидели с ней за три метра друг от друга и толковали о каких-то мифических билетах.

Как я знал, муж ее был джазист, причем первоклассный, отнюдь не из тех лабухов, что играют на танцах или в ресторанах, — нет, он занимался серьезным, интеллектуальным джазом, порой трудным для восприятия.

Я знал несколько таких: абсолютно непьющие, серьезные, даже чересчур серьезные, прямо профессора.

Однажды я был на джем-сейшене, слышал его знаменитый виброфон... Вот идет со своими и вдруг отходит, отклоняется, меняет свой ритм, вот уже девятнадцатый век... восемнадцатый... семнадцатый! Вот идет обратно, .. нагоняет.

Потом играли «хот» — «горячее». Быстро, еще быстрее, все разошлось, разбренчалось, казалось — не соберешь!.. Но нет, в конце все сошлось. Здорово.

Вспоминая это, я смотрел, как он снял черный плащ, оставшись в замечательном синем пиджаке с золотыми пуговицами, потом расстегивал боты, расчесывал пухистые усы... Мне он сразу понравился. Нравится он мне и сейчас, после всего, что произошло.

Он пошел по комнате и вдруг увидел меня за шкафом.

— Та-ак, — сказал он, — те же, вбегает граф.

Мы с благодарностью приняли его легкий тон.

— Раз уж попались, — говорил он, — будете натирать пол. Я давно уже собираюсь...

Потом мы сидели, все трое, и молча пили чай. Я вдруг хрипло проговорил:

— Может, с моей стороны это нахальство, но масла у вас нет?

Он засмеялся, принес из кухни масло.

И только когда я вышел на улицу, только тогда страшно перетрухал — но и то больше не за настоящее, а за будущее. Я уже чувствовал, что это так не кончится. И действительно, весь день ходил как больной, а наутро снова к ней явился.

И понеслось! С этого дня мы стали звонить друг другу непрерывно, каждый день, сначала еще под разными предложениями, а потом уже и без предлогов, и все ходили, говорили.

— Мне кажется, — говорила она, поворачиваясь ко мне на ходу, — вам все должны завидовать. Вы прямо как Моцарт. Вам все так легко дается.

Я что-то не замечал, чтобы я был как Моцарт, но мне становилось хорошо.

Конечно, я понимал, что у меня выигрышное амплуа, что я сразу же получаюсь романтик и отчаянная голова,

**а муж, совершенно автоматически выходит занудой и ханжой. Эта фора, не скрою, меня беспокоила.**

— Володька — он очень хороший, — говорила она, рассеянно улыбаясь, — талантливый. Но кроме его чертовых синкоп, ему все до феньки. Вчера пришел грустный — ну, думаю, что-то его проняло. Наконец-то! А он ложится спать и говорит: «Сейчас играли с Клейнотом бибоп, и я вышел из квадрата. Не выдержал темпа».

Ах ты, думаю, зараза!

Вся печаль нынче в том, что мужики забывают о своей извечной роли — кормильцев, делают себе то, что им интересно...

«Ну и правильно!» — думаю я.

И мы снова встречались, ходили, говорили, вдруг удивлялись, что уже вечер, заходили в какие-то молодежные кафе, сидели среди лохматых молодых ребят с их несовершеннолетними подругами, пили жидкий кофе... А однажды вдруг ударила громкая ступенчатая музыка, и длинный парень ритмично захрипел в микрофон, и все вокруг встали, и мы тоже встали, и она потрясла левым опущенным плечом, потом правым, заплясала, быстро подтягивая один за другим рукава кофты, разгорячилась, развеселилась.

А утром мы снова шли вместе по неизвестной нам до этого улице и я все бормотал про себя: «Нет... какой завал!» — но говорилось это с каким-то упоением!

Однажды мы сидели с ней в пельменной, с маленькими жесткими стульями, с желтоватыми графинами уксуса на столах, с неясно напечатанным шелестящим меню на пергаменте, и вели какой-то довольно еще абстрактный литературный разговор. И я, ничего такого не имея в виду, спросил:

— Ты бы чего сейчас больше всего хотела?

И она вдруг спокойно и негромко сказала слово, которое одни считают неприличным, другие слишком интимным, но только оно точно передает волнуемую суть.

— Тебя, — сказала она.

Я прямо обалдел. Сначала я подумал, что ослышался. Но она глядела прямо, не отводя глаз, и, казалось, говорила: «Да-да. Я сказала именно это».

Я глупо молчал. Я понимал, что продолжать дальше светскую беседу нелепо, и не знал, что говорить. И тут

она меня выручила, сказав о чем-то постороннем, словно бы то слово мне действительно послышалось.

Но я-то знал! То есть мне был сделан как бы упрек. Я был слегка показан идиотом, для которого главное удовольствие — слушать свои бесконечные рассуждения. И, когда мы в конце недели ехали с концерта в переполненном автобусе, с нависшими на нас людьми, я вытащил из кармана белую скользкую программку, достал ручку и написал зеленой пастой: «Когда?»

Она посмотрела, улыбнулась, отобрала ручку и написала: «Где?»

Больше всего мне в ней нравилась эта чертовщина, это внезапное светлое озорство.

Но тогда-то, честно говоря, я испугался. Представил себе неудобства, беспокойства, волнения. Живой жизни испугался. Стал представлять, как меня лишают «допуска». Почему-то решил, что за это лишают «допуска».

И при первом же случае отвалил в Москву.

И вот живу в этой душной, пыльной квартире на окраине, усталый, со свинцовым вкусом во рту от плохой местной воды... Пришло от нее одно письмо. Только и понял я из него, что уезжает она в отпуск в Гурзуф.

...Троллейбус на ходу позвякивает, брякает. Это мука — ездить в троллейбусах.

Вот сидит женщина, выложив в проход тяжелые, еще не загоревшие ноги, с мутными синячками-звездами... А как волнуется передняя часть ступни, щели между пальцами, уходящими в туфлю. Иногда пальцы немного не влезают, изогнувшись, теснятся у входа, где покраснев, где побелев. А сейчас, когда ступня напряглась, у начала пальцев вдруг вспыхивает веер тонких косточек... Встала.

Задняя, тугая, напряженная часть ноги в постоянных красноватых мурашках. Пошла, стучая босоножками. Пятка, белая, как бы выжатая ходьбой, снизу плоская, темная, и по краю ее, по острой грани, полукругом — желтоватая, цепляющаяся корочка.

И так я носился по городу, и она все напоминала о себе, и в такой ужасной форме напоминала!

Когда я вернулся, с Ириной мы почти уже не расставались. На все махнули рукой. А-а! Встречались по разным комнатам, у друзей. Каждый день. Я уже понимал,



что далеко мы зашли за обычный флирт. Однажды пришли мы к другу Пете. Пустил он нас с ужимками, подмигивал, палец за ее спиной поднимал, а потом в соседней комнате работал. И вдруг, когда она вышла на минутку, появляется в дверях:

— Слушай... ты тут... за стеной... таким голосом разговаривал... Никогда такого не слышал. Я, пожалуй, уйду.

Скоро она вошла, я что-то очень ей обрадовался, разговаривался.

— Знаешь... поначалу я все ждал, что все изменится... Думал — не может же так продолжаться? Думал — или замуж ты за меня выйдешь или прогонишь. И вот гляжу — ничего как-то не меняется. Ведь мы же не назло ему, верно? Самое это последнее дело, когда что-то делается исключительно назло. Можно только от избытка жизни... Это проще всего сказать: «Нет» — и все. Но я думаю, не в этом дело. Вот наш хозяин, этой комнаты, много прекрасного в себе задавил, от того, что все сдерживался, ходу себе не давал. Слишком сильная воля оказалась... Вот, смейся. А нам все хорошо, и даже лучше. И все правильно, когда хорошо. А разврат — это когда плохо. Вот я и думаю... Так. Может, и мне снять часть одежды?

— Конечно. Давно пора.

Однажды мы шли с ней по улице.

— Да, — вдруг сказала она, поднимая голову, — Володька вчера: «Все, я решил... Перехожу в коммерческий джаз. Буду халтурить, деньги зарабатывать. Купим диван-кровать. И заживем не хуже людей. Но и не лучше».

«Надеюсь, он этого не сделает», — подумал я.

— Ехала к тебе в автобусе, — говорила она, — и вдруг так меня закружило — чуть не грохнулась! Все, больше ждать нельзя... Да, кстати, надо ему позвонить, мало ли что...

Она озабоченно вошла в будку, но вышла оттуда улыбаясь:

— Вот балда! Поднимает трубку и хриплым басом: «До-о?»

Мы шли усмехаясь, и он, наверно, тоже сейчас еще усмехался, и так мы все трое веселились, что, если ра-

зобратъся, было в нашем положеніи довольно-таки странно.

И вот уже садится солнце. Пронзительно зеленая холодная трава. Розовая неподвижная вода в каналах. Белые крупные ступени... И она. Волосы стянуты назад, слегка натягивают лицо.

Все происходило на третьем этажѣ, в зданіи какой-то больницы, но почему-то на чьей-то частной квартирѣ.

Открыла сухонькая старушка, с маленькими, шершавыми, крепкими кулачками.

— Ну, ты меня напугала, Ирка! Это ж надо — в час ночи позвонить! Ленька, мой сын, над диссертацией за- сиделся, разбудил.

Они вдруг захихикали. Я с изумленіем смотрел на них обеих. А старушка, разговаривая, быстро вынимала из сумки блестящие инструменты, что-то кипятила, надевала белый халат...

Я вышел на кухню, сел на высокий цветной табурет.

Я слышал их разговор, звяканье инструментов, и вдруг начались крики, громкие, надрывные, я и не представлял, что можно так кричать... Потом старуха сидела на кухне и курила огромную папиросу.

— Ну, — сказала она шепотом, — порядок. Вот мой телефон. Звони, если что...

Я вошел в комнату. Ира лежала на кровати, закрытая до подбородка одеялом, слабо улыбалась. Потом успокоилась, задремала...

Я сидел на кухне... И вдруг в дверь посыпались удары, она закачалась, задрезжала. Вошла Ира, уже одетая, маленькими шажками, прижав руки к низу живота.

— Володька, — совершенно спокойно сказала она, — спрячься куда-нибудь, слышишь?..

Я направился в комнату. Распахнул окно. Встал на подоконник. Асфальта не было видно. Внизу была крыша — примерно метром ниже, и до нее метра три. И вдруг мне стало весело. Я столько в детстве бегал по крышам! Я присел и прыгнул. Я долетел и шлепнул пальцами по нагретому солнцем, прогнувшемуся краю. Сползая, тяжело свисая, я видел перед собой светло-серое оцинкованное железо и думал: «Недавно крыли». На самом краю лежал огрызок яблока, уже коричневый. Пальцы, потные, сползали. Наверное, я мог удержаться, но до озноба противно, когда ногти скребут по цинку, — и я отпустил.

Мои веселые друзья по палате выбегали смотреть все интересные случаи. Выбежали они и тогда, тем более, что я висел, оказывается, прямо над их окном. Они рассказали мне, что я был еще в полном сознании, когда Володя поднял меня с асфальта, нес по двору, по лестнице, и я еще что-то говорил, и спорил, а один раз даже вырвался и он меня просто вел. И когда ко мне подошла медсестра со шприцем, я якобы еще сказал: «А ничего де-вушка», — и только тут отключился.

«Прекрасно, — думал я, — подвешенный в специальной кровати, — прекрасно! Все новые, прекрасные люди, и поэтому все хорошо. И даже такой, казалось бы, безвыходный...»

Володя появлялся довольно часто, передавал огурцы, шоколад, но ко мне почему-то не подходил. Обычно он останавливался в дверях и оттуда, шутовски раскачиваясь, рассказывал что-нибудь смешное. Вообще в нашей палате кто-нибудь непрерывно что-нибудь говорил, и хохот стоял непрерывный. Такого веселья я больше нигде не встречал.

На второй месяц — я уже ходил — встретились мы с Володей в коридоре.

— Ну как?

— Отлично!

— Как нога?

— Сросла-ась...

— А череп?

— Ну, череп! Крепче стал, чем надо!

— Покажи справку.

Я показал.

Только тут он мне и врезал.

... Я вдруг представил ее, как она рано утром выскакивает из дома, словно ошалелая, и бежит, вытянув шею, сощуриив глаза, разбирая номер автобуса...

Прошел дождь. Я уже гуляю по двору, в стеганой пижаме, в таких же брюках и ботах. Сбоку идет Ира.

— Я тогда ужасно испугалась, и, когда Володя выбежал за тобой, я тоже спустилась и пошла по улицам, пошла... Промокла, замерзла, все болит. К вечеру добралась домой, боялась страшно, поэтому решила держать себя вызывающе: «Ну, говорю, и после всего этого ты мо-

жешь считать меня своей женой?» Он глаза прикрыл и говорит: «Конечно».

...Перед нами прыгают воробьи, их лапки, как мокрые размочаленные спички.

«Да, — думаю, — победил. Я так не могу».

Ира перелетает через темную лужу.

— Оп-па-а! Знаешь, это я так от тебя научилась говорить.

Когда я выписался из больницы, нас слегка с ней таскали по каким-то комиссиям — она мне звонила и говорила: «Знаешь, нас опять просят выступить». Да и просто люди спрашивали: «Вы хоть жалеете о том, что произошло?»

«Конечно, — кричали мы, — а как же!»

Но только все отвернутся, она смотрит на меня и показывает: «Нет, не жалею. Пусть хоть так, все равно — слава богу, что было».

Но больше всего меня радует, что я у нее в Крыму тогда был. Один день. Бежал по улице, в жутком состоянии, и вдруг озарение: «А кому с того польза, что я так мучаюсь? Надо просто увидеть ее, и все. Подумаешь, какая-то тысяча верст!» И сразу так хорошо стало.

В Москве была жара, а в Симферополе тем более, а в самолете вдруг холод, все замерзли, натянули свитера... Но в общем, я и не заметил, как прилетели... Вот самолет трахнулся, затрясся, покатился...

Троллейбус. И вдруг уже — все другое. Вся дорога по краям красная — прозрачные шарики черешни. Красно-белые цветы свешиваются через ограду.

Потом шоссе в горах, всюду желтый испанский дрок. Поворот. Дерево с одной сухой прядью...

О, как она ко мне бежала! Стоит только вспомнить...

Потом обедали на какой-то веранде какого-то ресторана... Шампанское, уха. И мы вместе, неожиданно, неожиданно даже для меня. Конечно, не все уж было так прекрасно. Был, конечно, тот вычет, вычитаемый неизвестно кем из всего, что с нами происходит. Очень сухо. Хрустит на зубах. Ветер валит на пыльных столах розовые пластмассовые стаканчики с салфетками — Крым как никак.

Пляж, сухие плоские камни, ближе к воде мокрые, блестящие. Сверху на нас, через серую стену, свешива-

ются серо-зеленые растения, похожие на гигантский укроп. После купания мы сидели обнявшись, подстелив большое мохнатое полотенце. Потом она встала, полезла наверх. На полотенце, где она сидела, остались два мокрых пятна.

Стало темнеть. Ее кровать стояла на горе, прямо так и стояла, сама по себе, только с одной стороны была завешена простыней, сверху парусиной, а с другой стороны — картиной местного художника на тонкой клеске — темно-синее озеро, красный дом, белые лебеди, красавица в розовом.

Уже в темноте Ира вышла из дома со свечкой. Поставив впереди ковшиком ладонь, которая сразу стала ярко-алой и прозрачной, прошла двор и стала подниматься в гору. Вот приблизилась, откинула свисающую простыню, опустила. На вершине горы — большой светящийся куб с ее тенью.

Я встал со скамейки. Так же вошел, лег и не помню, как оказался в ней, — я только вздрогнул, почувствовал это... Потом она затихла, лежала расслабленно, неподвижно. Потом ладонь ее снова ожила, кралась по мне, но это начался уже юмор — беганье пальцев по спине, потягивание за ухо, стояние пальца на голове...

Но вот она снова обрела силу, напряжение. Из нее, как она говорила, начал выплывать очередной корабль. Большой, белый. И снова я лезу куда-то вверх, лезу... Жарко, жарко. Моя горячая голова, как колобок, катилась по ее руке...

Потом мы сидели на обрыве. Море внизу, в темноте, его словно и нет, но слышно, как там купаются люди, счастливо плещутся, фыркают.

...Однажды, уже по служебным делам, я проезжал мимо ее дома. Вот земляной утоптаный пустырь. Тяжелые ржавые гаражи. А вот и скамейки, на которых мы часто сидели. Я только глянул на них, и сразу отвернулся — они так блестели!

... Каждое утро — одно и то же.

Вдруг, еще во сне, — быстрое соскакивание, сбрасывание ног на пол, выстрел — звон распрямившейся пружины в диване, долгое, неподвижное, недоуменное разглядывание стрелок. Первое движение — шлепанье губ, шуршанье, шарканье домашних туфель. Этот ватный и какой-то шальной момент после сна — самое неприятное за весь день...

В желтоватой ванной, освещенной тусклой лампочкой, с некоторым отвращением разглядываю свое лицо — загорелое, но сейчас, после умывания холодной водой, побледневшее, серое.

Да-а. С красотой что-то странное творится. Кривя губы, застегиваю воротничок тугой рубахи. Теперь уже с самого утра встаю в жутком напряге — злым, тяжелым... Ну, хватит! Пора браться за дело. Выхожу из ванной, сажусь прямо на холодный пол, ставлю на колени коричневый телефон и, поглядывая на лежащую рядом книжку, резко, отрывисто щелкая, набираю цифры, придерживая другой рукой легкнй, почти пустой пластмассовый корпус...

И вот иду по широкому, светло-серому, с белыми точками, с темными растеками воды асфальту и злюсь из-за того, что уже с утра опять думаю о ней. Одно время она совсем было исчезла, нырнула и вдруг появилась откуда-то опять.

«Знаешь, я хожу в совершенно невменяемом состоянии...»

«Ничего, — думаю я, — ходил я в невменяемом, теперь пусть она походит в невменяемом!»

«Хватит! — думаю я уже в полном отчаянии. — Говорят, необходимость прокладывает дорогу среди случайностей. Вот пусть и проложит!»

Хватит всяких лирицких излияний! Нашла коса на камень, где камень — это я.

«Ничего, — думал я в те дни, — найду себе девушку получше!»

Хлебнул я горя с этим тезисом! В мои годы, с моим выдающимся служебным положением болтаться по улицам:

— Девушка, девушка, не скажете, который час?

Семенишь рядом с ней, что-то бойко излагаешь, оживленно, она хихикает, кокетничает и вдруг случайно поймает твой взгляд — такой усталый, серьезный, даже немножко злой. Сразу заторопится:

— Извините, извините, я не могу!

Фу! Тяжело!

А вечером я, надев темные очки, чтобы скрыть морщины под глазами, начесав височки, как семнадцатилетний «попс», старательно исполнял «казачок» и, как только он кончался, сразу падал в темном углу площадки, подползал под скамейку, нащупывал губами сосок кислородной подушки, спрятанной за оградой, в крапиве, открывал кранчик и долго, тяжело, с наслаждением дышал.

Или даже сидел за праздничным столом, над тарелочкой со скользкими грибами, и думал все равно о ней.

«Так, — усмехался я, — с восьми до девяти — воспоминания о любимой».

И тут же морщился, как от ожога.

Потом сидел, покачиваясь, и, как молитву, бормотал одну и ту же непонятную на первый взгляд, фразу: «Отзовись хотя бы в форме грибов!»

Моя отрешенность сразу бросалась в глаза, успеха мне, естественно, не приносила, и спал я после таких вечеринок обычно на тоненьком коврикe под дверью, как какой-нибудь кабысдох.

Переночевав так несколько раз и поглядев на себя в зеркало, я решил: «Хватит с меня этой веселой, легкомысленной жизни, — слишком тяжело она мне дается!»

— Боже мой, — бормочу я, — какой я дурак! Мне обломилась такая прекрасная вещь, как любовь, а я ее закопал, а теперь выдумываю что-то, мечусь, ищу, когда у меня есть любовь!

Мое настроение резко улучшается, наступает совершенно лихорадочная веселость.

Неужели мы, умные люди, не можем взять из ситуации все хорошее — любимые наслаждения, любимые страдания — и не брать ничего неприятного, невкусного? Нам обломилась такая прекрасная вещь, как любовь, а мы делаем из нее муку! Не надо ничего подавлять! Ребята, это же ценно!

Я прихожу на центральный телеграф — большой мраморный зал, дрожащий голубой свет из трубок над покрытыми стеклом столами. В окошко мне дают липкий конверт, пушистую, с родинкой, бумагу. Надо все написать, объяснить — это же так просто!

Но вдруг у меня появляется нехорошая усмешка. Почему, интересно, мы так обожаем с огромным трудом звонить и писать любимым из других городов, совершенно не любя это делать в родном городе? Неужели мы все так любим преграды?.. Ну, задавил в себе все, а зачем — кто-нибудь от этого выиграл?

Потом я просто сидел, измученный, отупевший, подперев кулаками лицо, растянув щеки и глаза.

... Она появлялась в свой обед, и мы шли в ближайший садик. Не блестящий садик, конечно, но все лучше того, в котором все мы окажемся через какое-то время. В садике функционировал клуб «Здоровье», и по газонам, вытянув лица к солнцу, закрыв глаза, стояли толстые люди в одних плавках. Некоторые из членов клуба медленно плыли в пруду. Во всем садике мы — только двое одетых. Блестит вода, блестят стекла, все блестит — ничего не видно. Мы щуримся, болит кожа лба.

На асфальте под ногами — какие-то вздувшиеся бугры, шишки, покачивающие нас.

— Вот, — как всегда усмехаясь, как бы не о том, сикось-накось говорю я, — покойники пытаются вылезти, но асфальт не пускает, держит... О, гляди — один все же вырвался, ушел!

Она идет рядом, думая о своем.

— М-м-м? — улыбаясь, не разжимая губ, вдруг вопросительно поворачивается она ко мне. Загорелое лицо, светлые глаза.

... И как она смеялась — тихо, прислонившись к стене, прикрыв глаза рукой. Потом поворачивается обессиленно — глаза блестят, счастливо вздыхает.

И еще — мы едем на такси, не помню куда, но уже почему-то грустно. Она поднимается с моего плеча.

— О, вот здесь моя мама работает. Шестая объединенная поликлиника. Такая объединенная-объединенная, — тихо усмехнувшись, добавляет она. — О! — вдруг грустно оживляется. — Вчера была я в парикмахерской, там была одна такая счастливая дурочка: «Знаете, мой муж



так меня ревнует — даже заставляет прическу делать, которая мне не идет!» Посмотрели — действительно не идет...

— Так ты приедешь? — добиваюсь я. — Ты вообще-то ездить любишь?

Она долго не отвечает, смотрит.

— Я, вообще-то, тебя люблю, — вдруг быстро произносит она...

Какой дурак!..

На краю садика был ларь — там мы в обед пили рислинг. Потом все закачалось, свидания стали нервными, быстрыми. Ушла любовь, и резко упал план продуктового ларя.

Темнеет...

— Кара какая-нибудь меня подвезет, автокара? — тревожно озираюсь, говорит продавщица...

«Навсегда», — привычно убеждаю я себя. Почему, собственно, навсегда? Слишком старое, страшное, а главное, ненужное слово!

Не по-мужски? А, ну и пусть не по-мужски!

И вообще, несмотря на все прощания, я недавно снова к ней приезжал!

Выскочил из поезда холодным утром, бежал по бесконечным подземным кафелям, надеясь перехватить ее на пересадке, не успевал. Подбегал к автоматам, все удивлялись моей одежде — все давно уже в пальто и плащах. Ставил монетку вертикально, попадал в щель...

— Приве-ет! — ласково говорила она. — Ты что, приехал?

— Выходи, — почему-то грубо говорил я, — увидишь: приехал я или нет...

В садике перед этим прошел короткий дождь, намочив только верхний слой пыли, и этот слой прилипал к подошвам, и оставались сухие светлые следы на темной мокрой аллее.

И снова я нес какую-то ерунду! Вообще, это очень на меня похоже — приехать за семьсот километров и говорить так, небрежно, словно между прочим пришел из соседнего дома! И ей уже, наверное, начинает казаться, что приехать из другого города ничего не стоит.

«Кто, интересно, мне оплатит эти поездки?» — думал я, нервно усмехаясь.

— Спокойно, — говорил я, — нас нет! Ведь мы же расстались, навсегда?

— Ага, — улыбалась она, — навсегда.

Потом... Мы сидим в каком-то дворе, на самой низкой скамейке в мире — доска, положенная на кирпичи, — и пьем какое-то горько-соленое вино.

— А я тебя забыла, — вдруг говорит она.

— Конечно! — горячо говорю я. — Вечная любовь — ерунда! Никакая любовь не выдержит, если поить ее одной ртутью. Да-а. Как-то слишком четко все получилось! Чего нет — того нет. Ни разу так не вышло, чтобы чего нет — то есть! Уж не могла нам судьба улыбнуться или хотя бы усмехнуться!

«Хорошо говоришь», — зло думаю я о себе...

Я четко чувствую, что жив еще испуг: а вдруг она и вправду согласится, что тогда? Первый слой сомнений: она же замужем, зачем разбивать семью... Какая-никакая, все же семья. А какая-никакая? Слишком... спокойная? Но дело-то, если честно, не в том. Просто я боюсь, что не продержаться нам с ней на таком высоком уровне, не суметь. В нас преграда.

Это и повергает меня в отчаяние.

— Может, все-таки... — говорю я.

Она, улыбаясь, качает головой. Мы поднимаемся, распрямляемся — все затекло, колют иголки. За высокой стеной проходит трамвай. Откуда трамвай в этом районе?

Мы идем.

— Я уезжаю сегодня, сидячим, — выкладываю я последний уже аргумент, заставляя работать за себя километры.

— Ага, — спокойно говорит она, снимая пальцами с мокрого языка табачинку.

Полное спокойствие, равнодушие. А как ей, собственно, теперь себя вести?.. От молчания тяжесть нарастает.

Перед глазами толчками идет асфальт, сбоку — слепящая вывеска: «Слюдяная фабрика».

— Ах, слюдяная фабрика, слюдяная фабрика!..

Я выхватываю из кармана забытую после бритья и давно бессознательно ощущаемую бритву и сильно, еще не веря, косо провожу по ладони. Полоса сначала белая, потом начинает проступать кровь.

— Вот... слюдяная фабрика! — кричу я.

Щелкнув, она вынимает из душевой сумки платок, прижимает к моей ладони.

— Ну что ты еще от меня хочешь? — заплакав, обнимая меня, произносит она...

Вернуть! Вернуть хотя бы этот момент!

Я выбегаю с Телеграфа, прыгаю через ступеньки, вдавливаюсь между мягкими губами троллейбуса. Думал ли я, еще год назад ненавидевший всяческие излияния, что буду вот так, с истерической искренностью, рассказывать случайно встреченному, малознакомому человеку историю своей любви?

— Ну, мне пора! — говорит он, осторожно кладя руку мне на колено. Встает и идет.

Думал ли я, иронический супермен, что буду вот так валяться на асфальте, кататься и стонать, норовя при этом удариться головенкой посильнее!

Я в отчаянии, но где-то и счастлив — жизнь наконец-то коснулась меня!

Потом... я на коленях стою перед проводником, сую ему мятые деньги, умоляя пустить меня в поезд.

И вот я снова смотрю — все толпой выходят с работы, хлопает дверь. Вот появилась любимая, идет через лужайку, задумавшись. У меня вдруг отнялись ноги и язык, я только махал ей рукой. Маленький человек, идущий перед нею, живо реагировал на все это — сорвал кепку, кивал, хотел перебежать ко мне. А любимая шла задумавшись, не замечая меня.

Потом мы расстались насовсем, но я долго еще этого не понимал. Мне все казалось, что вот сейчас я встречу ее и спрошу усмехаясь: «Ну что? Правильно я делаю, что тебе не звоню?» И она, в своей манере, потрясет головой и скажет: «Неправильно».

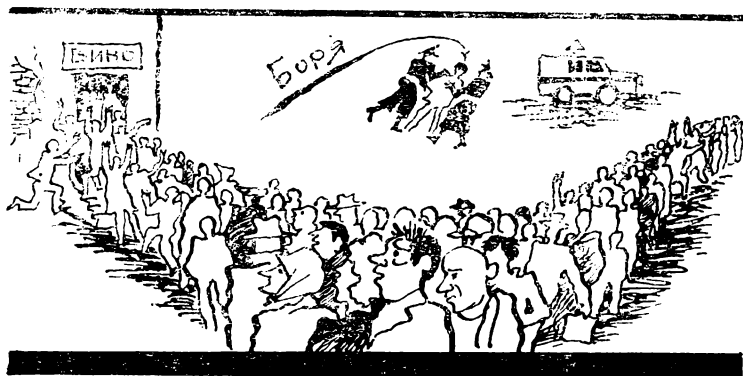
... Однажды в какой-то столовой, сморщившись, я поднес к глазам стеклянную баночку с жидкой желтой горчицей внутри, с черным засохшим валиком на краю и легким, щекочущим запахом... и вдруг почувствовал непонятное волнение.

Я долго думал, ловил и потом все же вспомнил.

Однажды я вызвал ее поздно... Она кашляла... Мы сидели на скамейке... И вдруг она, вздохнув, прислопи-

лась спиной ко мне. Воротник ее платья слегка отстал, и легкий, едкий — знакомый, но не узнанный тогда — запах пощекотал мои ноздри. Я и не думал тогда об этом и теперь только понял, сейчас: она отлепила тогда горчишки, и кожу ее еще саднило и щипало, — вот что еще я узнал про нее теперь!

И я вдруг радостно вздохнул, хотя, казалось бы, все это не имело уже значения.



## Боря-боец

**И**

нтересно, вспомнят нас добрым словом наши потомки за то, чем мы сейчас занимаемся? От усталости тяжелые мысли напали на меня. Я стоял в почти пустой деревне на берегу Ладоги, и на меня дул резкий,

словно враждебный ветер, треплющий пачку листовок в моей руке. Ну ладно. Раз уж я забрался в такую глушь, то надо хотя бы сделать то, ради чего я заехал сюда!

Я сделал несколько нелегких шагов навстречу прямо-таки озверевшему ветру и вышел на самый берег — правда, самой воды за бешено раскачивающейся белесой осоклой не было видно, но Ладога достаточно заявляла о себе и будучи невидимой — ревом и свистом.

Ну... куда? Я огляделся по сторонам. На берегу не было ничего, кроме вертикально врытого в почву бревна, ставшего почти белым от постоянного ветра и солнца. Я еще некоторое время вглядывался в невысокий этот столб, испуганно соображая, не является ли он остатком креста... по нет — никаких следов перекладки я не заметил. Просто — столб.

Я вынул из сумки тюбик клея, щедро изрыгнул его на листовку, потом прилепил ее к столбу... тщательно приткнул отставший было уголок... Вот так. Я смотрел некоторое время на свою работу, потом повернулся и пошел. Все! Одну листовку я прилепил на автобусной станции, вторую — на доске кинотеатра, третью — у почты, четвертую — у правления, пятую — здесь, на берегу. Достаточно — я исполнил свой долг!

Но все равно я несколько раз оборачивался назад, на бледную фотографию моего друга, страдальчески морщившегося от ветра на столбе, друга, согласившегося выставить свою кандидатуру на выборах против превосходящих сил реакции... Да — одиноко будет ему... на кого я оставил его тут?

Когда я обернулся в пятый или шестой раз, я увидел, что листовку читает взлохмаченный парень в глубоко вырезанной майке-тельняшке, в черных брюках, заправленных в сапоги.

Ну, значит, не зря я мучился, добирался сюда, с облегчением подумал я, все-таки кто-то читает!

— Эй!.. Профсоюз! — вдруг донесся до меня вместе с ветром шипяще-свистящий оклик.

«Профсоюз»?.. Это, что ли, меня? Но при чем — профсоюз? Я ускорил шаг.

Когда я глянул в следующий раз, парень, сильно расквашаясь, шел за мной.

— Стой, профсоюз! — зловеще выкрикнул он.

Но почему — профсоюз? — думал я, не ускоряя, но и не замедляя шага. А! — понял наконец я: в тексте написано ведь, что друг мой является преподавателем Высшей школы профсоюзного движения — отсюда и «профсоюз»... Ясно — этот слегка кривоногий парень за что-то невидит профсоюз — да, в общем-то, и можно понять за что! Но при чем тут, спрашивается, мой друг и тем более при чем тут я, вовсе ни с какого бока к профсоюзу не причастный!

— Эй! Профсоюзс!

Ну что он затвердил, как попка? Потеряв терпение, я остановился и резко повернулся к нему. Он остановился почти вплотную. Взгляд у него был яростный, но какой-то размытый.

— Ну — что надо?

— Эй! Профсоюзс! — Он кричал и вблизи. — Ты куда рыбу дел?!

— Какую рыбу? — проговорил я.

Он кивнул головой в сторону Ладоги.

Я отмахнулся (я-то тут при чем?), повернулся и пошел.

... Конечно, думал я, симпатичного мало в здании Высшей профсоюзной школы, величественно поднимающейся на пустыре среди безликих серых пятиэтажек. Своими как бы греческими аркадами она, видимо, должна была внушать мысль о какой-то высшей мудрости, царящей здесь, и непрерывно, вот уже десять лет, пристраивалась, разрасталась. Среди жителей зачуханного нашего района она была знаменита лишь тем, что в ней была встроена единственная в нашем районе парикмахерская, а также тем, что оттуда иногда выносили лотки с дефицитом — видимо, когда там был перебор и могло стухнуть. Вообще, если вдуматься, в наше время сплошной демократизации сама идея эта выглядела дико — что значит Высшая профсоюзная школа? Уже ясно, по-моему, всем, что уж, по крайней мере, профсоюзные лидеры должны выдвигаться из глубоких масс, из самых непричесанных и самых непримиримых, а тут их не только причесывали — их явно прикармливали! Нередко, едучи на троллейбусе из центра, я рассматривал представителей, а также представительниц этой академии мудрости — в основном из ярких южных национальностей. Как правило, они ехали группой с какого-нибудь эстрадного концерта, одеты были богато, но несколько безвкусно (безвкусно — я имею в виду для наших скромных широт) и громогласно, ничуть не стесняясь певучих своих акцентов, может, слегка нескромно среди умолкнувших пассажиров делились своими мнениями о популярной певице или певце. На «чужих» они не смотрели, а если и замечали кого-либо, во взгляде их была спокойная, иногда добродушная уверенность: я-то последний год волокусь на такой вот гробовине, через год пересяду куда получ-

ше — а ты-то так будешь маяться всю жизнь! Главное, чему их учили, — уверенности!

И мой друг, уже три года преподающий им эстетику, говорил о них с изумлением, как о каких-то марсианах... Вывели такую породу людей или отобрали? Перед экзаменом, как рассказывал он, они были готовы на все, главное в их характерах было — победа любой ценой! Все, включая женщин, предлагали любые свои дары — но как только экзамен был сдан, они тут же переставали здороваться, проходили, как мимо призрака, ты для них просто не существовал!.. Ну ясно — не первых же встречающих, а именно таких отбирают, чтобы править! Тип этот достаточно был известен в народе и достаточно ненавидим... И то, что к другу моему внезапно вдруг прилипло это клеймо, вряд ли будет способствовать его популярности.

— Эй! Профсоюз!

Но друг-то мой чем виноват?! Он-то, наоборот, преподает им эстетику и искусствоведение, поднимает, насколько это можно, их грубые души!

— Эй! Профсоюз!

Да — сердце у меня колотилось, — есть же типы! «Эй, профсоюз!» Очень ему надо разбираться в тонкостях: все гады, нахлебники — и весь разговор!

Кого-то он мне напоминал... Неохота вспоминать неприятное, но оно было неотступным, навязчивым — и я вспомнил!

В нашем замусоренном новостройками дворе... не дворе, а огромном пространстве между домами-кораблями и магазином... тоже есть своя иерархия — к вершинам ее прорваться трудно, да и зачем, думал все время я, это нужно: делать карьеру во дворе? Но даже, проходя тут изредка, знал тем не менее местных знаменитостей. Среди них выделялся несомненно Боря-боец.

В разные эпохи, которые у нас внезапно сменяют одна другую, и облик Боба резко менялся. Неверно говорят, что пьяницы следуют лишь в одну сторону — опускаются, и все... это далеко не так. В этом я убедился, время от времени встречая Бориса в какой-то абсолютно новой, неожиданной ипостаси, и опарашенно понимал: это не просто Боб изменился — пошла другая эпоха. С тех пор, как я живу в безобразном этом районе, таких эпох я заметил несколько. Может, в масштабе мира или страны эти повороты и не были заметны — но тут они изменяли



все в корне. Но поскольку ничего другого тут нет, поворот диктовался магазином, в основном, винным, — ранее я даже не догадывался, что он может так круто диктовать!

Первая эпоха — еще при прошлом лидере, все это время отлично помнят: когда вино всюду лилось рекой, когда пили, казалось, всюду и все — и в цехе, и в научной лаборатории, и в поездах — вся страна говорила заплетаящимся языком. Естественно, что Боб с товарищами отстаивал от прочих, а шел впереди. Был ли он уже тогда обладателем почетного прозвища Боря-боец, выделялся ли из общей не вяжущей лыка массы? Может быть, только большим буйством, большей степенью опьянения: огромный, фиолетово-одутловатый, в измазанной одежде, оглушительно орущий, всегда с кем-то ссорящийся — таким он был тогда. Но был ли он фигурой? Не могу сказать. Трудно быть вождем в неподвижном времени, трудно возглавить толпу, которая никуда не движется...

Так бы Боря и сгорел, размазался в этом квадрате жизни, расположенном между домами и магазином (больше он, кажется, нигде не бывал, даже и работал где-то тут же, если это можно назвать работой), — но обстановка резко изменилась.

Внезапно иссяк алкогольный водопад, резко и без обсуждения высохли алкогольные реки, открылось сухое и неказистое дно, захламленное каким-то мусором. Чувство смертельной жажды и обиды охватило всех — даже людей, покупающих вино раз в год. Но раньше они хоть имели эту возможность, хоть такую степень свободы: могли не хотеть выпить или могли хотеть и выпить, — теперь и этого выбора все были лишены. Но ясно, что активный протест это вызвало лишь у Бори и его компании. Именно тут-то они и выделились из общей массы как наиболее пострадавшие, сделались как бы общественно активны: их возмущенный пикет (разве что без плакатов на груди) всегда теперь стоял возле винного магазина, и к ним то и дело подходили люди, которые раньше с ними не общались, но теперь подходили заявить, что думают так же, как они. Над этой бурлящей, по пока бездействующей толпой, Боря возвышался как скала. Не каждый мог пробиться к нему и поделиться своими кровными обидами лично с Бобом, таинственно и величественно ухмыляющимся, — обычно повообращенные удовлет-

ворялись душевной беседой с его заместителями. В те сухие времена в той бурлящей и разрастающейся толпе количество отчаявшихся потенциальных пьяниц, резко возросло — и именно тогда Боб как-то незаметно, но бесспорно стал лидером: все клубилось вокруг него, огромного и величественного. Вот видите, что с нами делают! — говорила его оскорбленно-насмешливая мина, и все жалпсь к нему, тем более он всегда был на месте — и в дождь и в холод стоял скорбным изваянием, гордым монументом. Именно тогда, в те суровые месяцы, Боря и выстоял свою славу — мало кому другому это было по плечу, другие все-таки отлучались.

Но король без действия — это не совсем все же король... Однако начались и действия. Полился ручеек, сначала робкий. Толпа, бесплодно митингующая, пришла в движение и, как это ни странно, в еще большее возмущение. Где прежние любимые вина? Где прежние, хоть и кошмарные, но все же уже привычные цены? Теперь снимают последнюю рубашку да и дают, когда захотят и что захотят... Что делают?!

Бурление вокруг Бори нарастало — все с какой-то надеждой смотрели на него: он единственный не боялся говорить то, что думает, и заживревшим продавцам и наглым мильтонам, делающим вид, что они соблюдают порядок, хотя сами создали бардак!

В те времена именно Боря со своими ближайшими помощниками чаще всего находился на острие борьбы, на острие скандала — где-то там, в гуще, в эпицентре, куда непосвященному было не пробиться... «Давай, Боря, вмажь им! Хватит, сколько можно терпеть!» — сочувственно восклицали все, даже оказавшиеся, как и я, на периферии...

Однако время шло, времена года менялись, а оскорбительное и невыносимое существование оставалось прежним... Боря если не понимал, то чувствовал, что бездействие губительно, что именно от него измученные жаждой массы ждут наконец поступка — чтобы им как-то духовно разрядиться, почувствовать, что хоть Боря-боец сражается за них!

И в начале очередной осени, когда все съехались из отпусков, из деревень и увидели, что жизнь их не только не стала легче, а еще и тяжелей, святой этот момент настал. Пронесся вдруг слух (а слухи редко бывают

пустыми), что именно наш квартал и именно наш магазин посетит седой и величавый «отец города». Цель его визита была ясна: убедиться, что принятые меры мудры и успешны, что с отвратительным пьянством в городе благодаря вовремя принятому постановлению полностью покончено, но зато теперь граждане имеют широкий выбор различных соков, напитков, кваса и пепси-колы, а также благодарно, но неторопливо приобретают товары значительно улучшившегося ассортимента. И в том, что магазинщики эти картину ему изобразят — на те десять минут, что он будет в магазине, — ни у кого не было и тени сомнения!

— Но Боб им покажет! Боря им устроит! — передавалось с радостной усмешкой из уст в уста.

И Боб с ужасом и азартом понял, что все взгляды с последней надеждой устремлены на него — что-то он должен был совершить, чтобы наконец-то и там врубился! Но что же он мог?! Представляю сомнения его, постепенно вытесняемые все более громким и отчаянным зовом долга.

— Ну, Боря им устроит! — все более радостно и таинственно повторялось во дворе. Было абсолютно всем непонятно, что же тут можно устроить, но с присущим толпе суеверием считалось, что идея определилась, просто хранится до поры до времени в тайне, как секретное оружие.

День икс приближался — Боб выглядел все величественнее, толпа вокруг него была все подобострастнее, хотя на душе его, наверно, скребли кошки.

Однако ждущие бенефиса явно недооценивали тех, которые управляют. Другое дело, что они невидимы, что их как бы нет, что почти никому из нас, грешных, не удастся их видеть воочию, но это, как недавно понял я, вовсе не значит, что их не существует. Нет — они существуют, более того, они размышляют, и ходы их, как правило, непредсказуемы и хитры. И уж тем более несложно им было переиграть Борю-бойца, фактически уже пропившего свой мозг.

В один из предполагаемых дней вдруг пронесся ошеломляющий, сокрушающий сознание слух — в универсаме, в двух остановках от нас, дают все и в любых количествах, без всяких ограничений и оскорблений! Это был ураган, всех умчавший туда во главе с торжествующим Бобом: «Ага! Испугались!»

Как же прост и, если вдуматься, чист был этот богатырь, которого некоторые чопорные люди считали опустившимся, пропившим все принципы! Отнюдь! Как жадно и, главное, как легко поверил он в победу справедливости и добра! И вся толпа с какой-то наивной радостью: «Дожили-таки! Не зря надеялись!» — с какой наивной радостью толпа расхватывала внезапно, и отнюдь неспроста, спустившуюся на них манну небесную!

Тем временем седой и величественный, скромно, но достойно одетый «отец» — в окружении совсем небольшой охраны — с удовольствием прохаживался по нашему магазину, чистому, немногочисленному; вполне достойные, приличные люди потребляли, конечно же, скромный, но вполне достойный и доступный ассортимент товаров — два сорта сыра, ветчина, сосиски... Где те толпы ободрапанных пьяниц, которые в прежние времена бушевали здесь? Умными, своевременно принятыми мерами удалось изжить! Гость, слушая сопровождающего его начальника торгова, благодушно кивал. Он увидел то, что хотели ему показать и что он сам хотел — и рассчитывал — увидеть.

Слух об этом простом — и поэтому особенно подлом — обмане ударил Боря в самое сердце. Главное — он находился в самом центре ликующей толпы, считаясь как бы вождем победителей, добившихся наконец справедливости! Что скажут они ему через час, каким презрением обладут! Боб стал отчаянно проталкиваться к выходу — наивные, обманутые счастливицы перли навстречу ему, не давали выбраться. «Ты чего, Боря, ошалел от радости?» — со снисходительностью победителей улыбались они.

Когда Боря — страшный, рваный, на скрипучем костыле (за неделю до того еще угораздило сломать ногу!) — в сопровождении лишь самых верных своих ординарцев домчался к нашему магазину, нехитрая операция по превращению его в дурака уже заканчивалась; толпы озверевших домохозяек врывались в раскордоненный, но еще не разграбленный магазин; «отец» в сопровождении благодарных, довольных, удивительно гладких «покупателей» уже подходил к своему лимузину — а Боря, обманутый, как мальчик, стоял перед магазином, даже в своих собственных глазах стремительно превращаясь в ничтожество, в полный нуль!

Сейчас отъедет лимузин — и жизнь Бори, его значе-ние прервутся навсегда!

Боря с отчаянием поглядывал то на лимузин, то на магазин. Мгновения таяли. Потом вдруг раздался громкий звон — «отец», несмотря на всю свою фантастическую выдержку, не выдержал и обернулся. Огромная стеклянная стена магазина осыпалась зазубренными кусками. Перед ней, обессиленно покачиваясь, стоял Борис, метнувший в стеклянную стену бутылку водки, которая почему-то сама не разбилась и косо лежала теперь на декоративной гальке, насыпанной каким-то экономным дизайнером между стен, одна из которых была разрушена.

Покачав головой, «отец» сказал что-то строгое побелевшему директору торго, сел в свой лимузин и медленно отбыл.

Боб стоял неподвижно и не думал убежать. Шаг был слишком серьезным, чтобы портить его мелкой суетой. И все поняли это. Медленно — куда было спешить — к нему подошли серьезные люди (милиция, все понимая, толпилась в стороне), они коротко и как бы уважительно поговорили с Бобом, и тот, с достоинством согласившись с их аргументами, последовал в их машину.

Стояла тишина. Никто не крикнул, скажем, «прощай, Боб!» — все понимали, что мелкая чувствительность снизит значение момента.

Тишина царилла довольно долго — думаю, недели полторы. Потом пошли шепоты, слухи. К сожалению, я не мог безотлучно присутствовать в эпицентре событий, но какие-то основные стадии помню.

Недели через две после события я шел в магазин исключительно за хлебом, ибо живительная влага снова иссякла — но это было уже несущественно, все отлично понимали, что главное уже не в этом. На ступеньках магазина я пригнулся, чтоб завязать все-таки шнурок, который я поленился завязать дома, и вдруг увидел перед своими глазами грязные, синеватые ноги двух старух-алкоголичек, голос одной из них я сразу узнал, ибо он звучал тут всегда:

— Пойдем сейчас с тобой пива попьем, и я тебе такое скажу — ты ошеломдишься!

Зантригованный как формой их беседы, так и содержанием, я свернул со своего маршрута и последовал за ними. Они быстро, игнорируя огромную очередь, взяли

пива («Что же вы, женщин, что ли не пропустите?») и, отойдя чуть в сторонку, сели на покрывившиеся ящики. И я, с независимым видом пристроившись неподалеку и наострив ухо, услышал действительно ошеломляющую легенду: Боря-боец не сдался, и там боролся, встретился с первым, с главным, и — что самое ошеломляющее — понравился ему, добился справедливости, и теперь через день-другой справедливость должна победить!.. Ведь не сразу же доходит до низов царский указ — чиновники стараются спрятать: мурыжат народ!

Я как зачарованный последовал за этими пиффиями, принявшими — видимо, для конспирации — столь жалкий и оборванный вид. В дальнем углу двора, возле ларька «Союзпечати», клубилась совсем другая толпа, очередь чистых, презирающих толпу грязных и предпочитающих в эти волнительные дни иное наслаждение: опьянение газетами.

Старухи с презрением шли мимо — на хрена им эти газеты, какая разница, что там пишут? — но вдруг на мгновение задержались и устремили взгляды туда. В чистой очереди в числе первых стояла пышная — пышная сама по себе и пышно одетая — дама, как ни странно, мать Боба, совершенно, в отличие от многих, не ценившая его и даже презиравшая, хоть и вынужденная жить с ним вместе... да, не признают у нас пророка в своем отечестве!

— Ну что, Порфирьевна, что там про Борьку слышать? — с ехидцей проговорила одна из старух.

Мать оскорбленно откинула голову: эти спившиеся ведьмы специально пытаются ее опозорить в глазах интеллигентных людей, но она не из таких, она себя в обиду не даст, если понадобится, морды разобьет всем тем, кто бросает тень на ее интеллигентность!

— Бандит и есть бандит, — высокомерно ответила она. — Ему дадут, ему хорошо дадут!

Она с достоинством огляделась вокруг: да, я мать, но принципы мне важней!

— Так, так... — усмехнулись умудренные опытом и знанием старухи и последовали дальше.

Прошу прощения за то, что история эта развивается скачкообразно, но, к счастью для себя, я бывал в сферах, о которых сейчас рассказываю, не так уж регулярно, во всяком случае не беспрерывно. Конечно, если бы я ходил

туда ежедневно, я бы более досконально изучил эту жизнь, но, изучая ее ежедневно, я бы не имел уже сил о ней рассказать. В этом и состоит азартная — на грани гибели — писательская игра, не понятная никакой другой профессии. Дилемма эта неразрешима, и только тот, кто непостижимо умудряется совместить несовместимое, становится писателем. Обе опасности для него смертельны: погрязнешь с головой — ничего уже не напишешь, не погрязнешь — не напишешь тоже. Впавшие как в ту, так и в другую крайность бесплодны. Только гениальный баланс делает писателя. Впрочем, с каких-то пор все делается уже бессознательно — или у человека это получается, или нет. Бесплодны упавшие вниз, так же, как и взлетевшие в пустынную высь. Нелегко не опуститься, но и не взлететь в комфортный вакуум, когда есть возможность, еще труднее. Короче: некоторая нескладность, пожалуй, необходима для литератора, так же как и сверхчеловеческая изворотливость, — иначе пропадешь.

Однако в тот день, когда рассказ этот сделал очередной скачок, столь тонкие мысли вряд ли приходили в мою чугунную голову. Я шел по сухому, корявому, пыльному асфальту, ощущая примерно такое же покрытие и у себя во рту. Да, с тоской озирался я, что-то жизнь не становится с годами прекрасней, а становится, пожалуй что, тяжелее и безобразней. Ну ладно — убрали алкоголь, но чем же утолять нестерпимую жажду: ни лимонада, ни пепси, ни кваса... Как-то это не волнует их! Во всех магазинах, что я терпеливо обошел, из жидкостей был лишь уксус, но утолять жажду уксусом не хотелось — Иисус Христос на кресте утолил свою жажду уксусом и на этом закончил свое существование в образе человеческом, но я-то не Христос!

В отчаянии брел я и вдруг услышал сзади нахально-игривый знакомый тенорок:

— Ну, этот Феденька получит у меня маленькую соску... Голос был знаком, но не вызвал почему-то ни радости, ни желанья обернуться... голос был знакомый, но интонация какая-то новая, торжествующая! Что же, интересно, изменилось в воздухе? Я все-таки обернулся: догоняя меня, но двигаясь уверенно и неторопливо, шел... Боб во главе своей лихой команды. Да — слухи о чудесном его спасении не были ложными... Но что же случилось еще — ну выпустили, ну и что, мало ли кого выпу-

скают! Но они шли явно торжествуя, явно победившие, уничтожившие преграды... Шагнув чуть в сторону с их дороги, я стоял с безразлично-скупающим видом и вдруг все увидел. Они шли, как обычно, не обращая внимания на встречных, торопливо спагивающих с дороги в грязь на обочине, как и я... они шли, так же внятно матерясь, отнюдь не понижая голоса на рискованных выражениях, скорее повышая... Но — произошел поворот — уверенность в их поведении стала понятна: на рукавах их потрепанных одежд сияли красные повязки!

Все ясно!

Значит, мифы о происшедшем где-то на высоком уровне смыкании властей с непокорным Бобом оказались реальностью!.. Ну и правильно — с кем же смыкаться как не с тем, кто до этого жить не давал, а теперь — помогает! Большая победа!

Результаты этого блестящего соглашения все наблюдали приблизительно через час, когда согласно новым постановлениям начали давать алкоголь: Боб со своей командой регулировал толпу — двое стояли на ступеньках, двое у входа в магазин и строго следили за тем, чтобы никто из очереди не мог пройти, при этом вполне откровенно, с радостными громогласными прибаутками пропускали своих!

Один из них, юный стажер, сновал вдоль очереди, открыто подходя к некоторым, что-то предлагая, собирая деньги. Подошел и ко мне:

— Чего тебе?

— Что значит — «тебе»? — И явная наглость его и юный вид возмутили меня.

— Бутылку, две? — лениво продолжил он.

— А сверху сколько? — сугубо теоретически поинтересовался я.

— А столько же, сколько и снизу, — ничуть не конспирируясь, а, наоборот, красуясь, произнес он.

Все вокруг покорно молчали. Один только — крупный, седой, отставного полковничьего вида — громогласно возмущался, но все же стоял. А вот и сам Боб, сопровождаемый лстивым гулом, без малейшей задержки, как нож в масло, проследовал в магазин.

Я покинул очередь. Сердце стучало. Превращение, которое случилось с бывшим Борей-бойцом, бывшим борцом за справедливость, было ужасно.



Но как же можно так управлять людьми, развивая в них самое отвратительное? — думал я.

... Впрочем, быть бойцом, как показали дальнейшие события, Боря не перестал — в этом я с содроганием убедился несколько позже, — но вот за что он теперь бился — другой разговор.

Бурные события не могут быть долгими, всегда найдется какой-то способ соглашения — разумеется, не в пользу бедных, а исключительно в пользу наглых.

Спустившись в свой двор примерно через месяц, я застал новую фазу развития общества: возле магазина не было вовсе никакой толпы! Я подошел ближе. Магазин был закрыт. По какому праву? Ведь рабочее же время! Черт знает что, абсолютно что угодно делают с нами, даже и не думая оправдываться!

... Но как же Боб и его команда — неужто и им отлуп, неужели их вновь обретенная сила никак не повлияла на ситуацию?

Я опустился на парапет.

— Сколько тебе? — раздался голос знакомого стажера.

— Чего — сколько? — недоуменно спросил я: ведь магазин же закрыт!

— Да он не по этому делу! — послышался знакомый тенорок.

Я обернулся. На скамейке бульвара, среди роз, рядом с пухлыми огромными сумками сидели «люди Боба» и сам Боб. Все они благодушно смеялись ошибке своего шустрого, но недостаточно опытного стажера, в порыве искреннего рвения подошедшего не к тому.

Я смотрел на их пухлые сумки... Так вот где теперь магазин! И прежний магазин тоже имеет свою прибыль, только ему теперь вовсе не обязательно работать! Все складненько и ладненько — две ведущие силы современности уверенно сомкнулись над нашими головами, беспорядки и толковища позади, все теперь цивилизованно, толково, бунтари сомкнулись с системой к общему удовлетворению сторон. И никто не в убытке, все с наваром — кроме, разумеется, бедных и слабых, но, как говорится, «кого гнетет чужое горе»?!

Когда я опять прошел мимо них с кефиром в руках, это вызвало новый прилив веселья у благодушествующих парней — Боб даже ласково взъерошил гриву ретивого, но

пока что бестолкового ученика, предложившего вино тому, кто, кроме кефира, ничего в жизни не видал!

Теперь я уже более обстоятельно посмотрел на них. Да, неверно думать, что жизнь пьяниц неуклонно ухудшается, что они только опускаются — и все, что их дорога все больше расходится с дорогой государства. Бывает и наоборот! Я смотрел на них, вспоминал их затрапезные робы — теперь они были по последней моде: футболки с надписями, крутые штаны... пожалуй, и артисты балета одеваются нынче хуже, чем они... К тому же Боб держал на колене японский транзистор, изрыгающий ритмы... Да-а, не слабо! Но что же власти — не соображают, к чему ведет их «воспитательная политика»? Да нет, понял я, прекрасно соображают! Я увидел нашего участкового Кавачонка в полной форме и при всех регалиях, подошедшего к орлам на скамейке, чтоб добродушно с ними побалагурить. Все он прекрасно понимает, на участке его теперь не будет нарушений — во всяком случае, таких, о которых бы он не знал. Все в высшей степени толково! А я — могу лишь надеяться, что не столкнусь с этой налаженной машиной никогда!

Но столкновения были неизбежны, хоть и казались случайными. Однажды, уже к октябрю, в моей жизни произошли два абсолютно не связанных между собой происшествия: я случайно побрил голову наголо и наша местная газета опубликовала мою статью. Вы спросите: как это можно — обрить свою собственную голову случайно? Объясню. Бреясь перед зеркалом, я решил укоротить один висок — он вырос явно длиннее другого, да и не тот уже возраст, чтобы отпускать длинные виски, пора уж остепениться. Я чуток соскреб этот висок — теперь другой был явно ниже этого. Я поднял тот... теперь этот ниже того... я разволновался, руки дрожали... и без того неприятностей хватало: мало кто в ту осень особенно радостно меня встречал — теперь тем более, с разными висками!.. Я снова пытался подравнивать. Кончилось это тем, что над правым ухом образовался огромный кусок голой кожи. Ну, все! Оставался единственный способ добиться равномерности — равномерно побрить всю голову наголо как бы в борьбе с предстоящим облысением. Я торопливо обрился, унял небольшие струйки крови и, чувствуя холодок — снаружи и почему-то внутри, вышел из ванной. Ужасу моей мамы не было предела. Куда я

завербовался? — это был главный для нее вопрос, в то, что я побрился просто так, она не верила (да я и сам начал сомневаться).

Глядя на разволновавшуюся мать, я решил хотя бы как-то уравновесить ее волнение вторым событием, случившимся в этот день, — показать ей напечатанную в газете мою статью, убедить ее, что я не такой уж пропащий человек, раз печатаюсь в газете, органе обкома!

Но газету эту мы не получали — надо было шастать по ларькам, покупать экземпляры (да и для других некоторых родственников не мешало бы купить). Крикнув маме: «Сейчас!» — я выскочил на улицу.

Когда я лихорадочно скупал у киоскера сразу по несколько экземпляров, я замечал, что они взирают на меня с ужасом, но как-то не думал в тот момент, что это из-за моей бритой головы: второе происшествие заслонило первое, до последнего часа я сомневался — напечатают или нет? — и вот — напечатали! Второе происшествие, радостное, заслонило первое, нелепое, опровергая закон, что плюс на минус дает минус. Но оказалось, что закон этот верен, что два происшествия, вроде бы разрозненных, соединившись, дали минус, да еще какой! Но пока что я был счастлив и, засунув за пазуху пачку газет, сжав в руке одну, я, не разбирая дороги, брел по направлению к дому и читал:

### «Потерянный город»

Где, спросите вы, расположен такой город? Да у меня под окном! Можно выйти и долго шататься по нему (слово «гулять» тут как-то не подходит), можно шляться хоть несколько лет — и не увидеть ничего, что бы хоть как-то порадовало глаз, чтобы можно было воскликнуть от души: «Вот здорово!» — или хотя бы: «Неплохо, неплохо!»

На протяжении десятков квадратных верст здесь нет ничего, что бы было связано с искусством или архитектурой (природа здесь также уничтожена). На протяжении десятков километров не имеется не только музея, но даже какой-нибудь выставки или галереи, в которой местный одичавший абориген, случайно забредший туда от дождя, мог бы с изумлением и непониманием спросить: «А это что?» — и услышать непонятный ответ: «Искусство».

Не только предметов искусства, но даже обычного кино, даже бани нет тут в пределах видимости. Единственный клуб на все пространство — винный магазин, и там и формируется жизнь. Может ли человек, родившийся художником, стать им среди этих ровных серых кубов? Уверен, что нет — его воспитает магазин!

Между тем во всех цивилизованных странах люди помнят свой город, столетиями неизменно ведется: вот здесь живут художники, здесь моряки... детям есть кому подражать. У нас они видят лишь спекулянтов, столпившихся у Гостиного. Кто покоряет молодежь уверенностью, независимостью? Лишь иностранцы, выходящие из отелей. Идеал: стать иностранцем! Даже таблички на дверях исчезли — не стало имен и профессий, осталась толпа. Не знаю я, кто живет на моей лестнице, да и не хочется узнавать.

Почему, как раньше, не шагают ребята куда-то любознательной группой? Некуда им шагать!»

Спотыкаясь, обливаясь от возбуждения потом, я шел, не глядя под ноги, спотыкаясь, — споткнулся, и упал! Встав, потирая ушибленную ногу, автоматически складывая за пазуху помятую газету, я разглядел, что за препятствие (без каких-либо объяснений и пзвинений) воздвигнуто на проходе.

Ясно! Огромные цилиндры вара, обклеенные ободранной бумагой, запросто свалены, перекрывая тротуар. Чуть сбоку, на газоне, склеив и навсегда загубив несколько метров травы расплавленным и снова застывшим — черным варом, стояла, как троянский конь, огромная ржавая чугунная печка с трубой. Так! Неподалеку была маленькая — тоже ржавая — лебедка, и от нее шел трос на крышу, за пределы видимости... Для чего эта полоса препятствий? Просто так? Задрав голову, я посмотрел на дом, увидел одну единственную густо-черную вертикальную полосу. А, ясно — собирались замазывать варом щели между блоками, через них безумно тянет зимой. ... Но работа эта давно остановилась, техника заржавела — я вспомнил, что давно уже хожу, спотыкаясь, через черные эти цилиндры, в задумчивости не замечая их, не ставя задачу понять: зачем они? Препятствия в нашей жизни привычней, чем отсутствие их, мы уже не задумываемся — зачем, просто знаем: так надо и так будет всегда!

И эта работа явно не движется — зачем кому-то за рублевку ползать по стене, когда, присоединясь к Бобу, он может стричь червонцы? Ясно...

Вдруг я увидел, что ко мне, сильно раскачиваясь, приближается абсолютно пьяный участковый Казачонок, одетый, правда, в штатское, с поддрагивающей между пальцами незажженной папиросой. Во гуляет, орел! — изумился я. Впрочем, не в форме, в выходной — имеет, наверное, право?

Казачонок, словно бы напоказ раскачиваясь, приблизился вплотную ко мне.

— П-парень, д-дай-ка закурить, — сбивчиво проговорил он, но запаха я почему-то не почувствовал.

— Извините... не курю! — резко отстраняясь, проговорил я, но в то же мгновение стальные пальцы сжали мне локоть, и я увидел перед собой жесткие и абсолютно трезвые глаза участкового.

— Что такое? В чем дело? — проговорил я, пытаюсь вырваться, но безуспешно.

— Ничего, парень, ничего, — ласково-успокоительно заговорил Казачонок. — Пойдем тут неподалеку, поговорим — и отпустим.

Что еще за бред? Я рванулся вперед, но Казачонок подставил мне ногу и свалил на асфальт, накрутив одновременно часть моей куртки на кулак. Глаза его яростно налились.

— Ну! — рывком поднимая меня, рывкнул он.

Вокруг собралась уже любопытная толпа. Среднее выражение глаз было почтительно-восхищенное: вот молодец Казачонок, и в выходные дни работает не покладая рук, пластает каких-то амбалов! Я выпрямился и, стараясь держаться с достоинством, пошел. Главное, понял я, чтоб не увидел никто из знакомых: увидят, зафиксируют тебя в беде — так будут воспринимать и дальше.

— Руку-то отпустите, — проговорил я.

— Все нормально... отлично! — прерывисто дыша, проговорил Казачонок, но не отпустил.

Мы вошли в опорный пункт общественного порядка... впервые я увидел наш двор через решетку... Большой успех!

— Садись вот сюда... не волнуйся. Все будет путем, — сказал мне Казачонок, бросив при этом многозначительный взгляд дежурному в штатском.

Тот мгновенно подвинул телефон, набрал цифры.

— Егорыч? Здорово, это Федька! — стараясь представить все дурашливым трепом, заговорил дежурный. — Нам бы маленькую машинку, да... Да, прокатиться хотим... — И, видимо, поняв, что треп не подействует на абонента, кинув на меня быстрый взгляд и прикрыв трубку рукой, переменял тон. — Да... Да... крупный лещ... прикидывается шлангом! По розыску, да... Ну, хоп!

Я вдруг сообразил, что крупный лещ — это я! Быстро повернувшись, разглядел себя в зеркале, увидел сияющую лысую голову... Понятно!

— Послушайте, — заговорил я, — полный же бред! Только что побрился... абсолютно случайно! Сами подумайте — будет беглый заново голову брить? На фига ему это! А я вот — только что! Смотрите... попробуйте! — я провел ладошкой по гладкой коже.

— Ничего, спокойно... сейчас все будет в порядке! — успокаивающе (дождаться бы машины!) проговорил Казачонок.

— Но я же в этом доме живу... Неужели вы не помните меня?

— Да нет... таких не встречал, — с усмешкой сказал Казачонок дежурному, и они, довольные, засмеялись: черт его знает — а вдруг повезет, вдруг действительно попадетя крупный «лещ»!

— Да честно — я в этом доме живу! — Я приподнялся.

В глазах Казачонка шевельнулось сомнение — вряд ли преступник будет ссылаться на этот дом.

— Телефон есть? — Казачонок подвинул аппарат.

Мама поднимает трубку... «Звонят из милиции». С ее сердцем такие пассажи ни к чему.

— Нет телефона... — пробормотал я.

— Ну тогда сиди. — Казачонок снова с надеждой взглянул на партнера.

— Да нет, честно, — живу... вот видите — даже в газетах пишу... в сегодняшней вот моя статья! — Я вытащил мятую газету, протянул Казачонку.

Он недоверчиво взял.

— Которая тут твоя?

— Вот... «Потерянный город». — Я показал.

— Чем же это он потерянный?

Казачонок начал читать. Читал он долго, потом поднял на меня глаза... Вряд ли он после этого чтения проникся любовью ко мне: раньше за такую статью давали статью, а теперь распустили! — говорил его взгляд. Он стоял, глядя на меня (машина, к счастью моему все не ехала и не ехала), потом сделал шаг в сторону, открыл дверь в соседнюю комнату. Там Боб со своими опричниками, сидя вокруг стола, играли в коробок.

— Боренька! — проговорил Казачонок.

Боб лениво вышел сюда, за ним, оправляя модные одежды, падеаясь хоть на какое-то развлечение, вышли остальные.

— Знаешь у нас... вот такого? — Казачонок кивнул на меня.

— Уж тут я как-нибудь каждого зайца знаю, — снисходительно произнес Боря. — Такого не встречал!

Неужели он не помнит меня? Сколько раз я проходил мимо него! Но, видимо, он запоминает лишь тех, кто представляет для него интерес.

— Говорит — в нашем доме живет... в газетах вот пишет. — Казачонок показал.

— Нет... такого у нас не водится, — усмехнулся Боб.

Да, видимо, я совершил большую ошибку, что не стремился войти в это общество, не подсаживался с подобострастными разговорами к ним на скамейку... Ошибка! Но — поздно исправлять!

— Из какой, говоришь, квартиры? — сощурился, входя в роль сыщика, Боб.

— Да из триста шестой! Из последней парадной! — воскликнул я.

— Так, кто там у нас? Валька вроде в триста первой живет? — Боб повернулся к подручным.

— На рыбалку уехал, — ответили ему.

— Так... что же нам делать? — Боб, поигрывая каким-то ключом, по-хозяйски расселся на скамье, но Казачонку это не слишком понравилось, у него, видно, были и другие важные дела.

— Так, слушай сюда! — легким нажимом тона давая все же понять кто тут главный, произнес Казачонок. — Сходи с клиентом, куда он покажет... и если окажется — врет, веди обратно!

Борис, слегка оскорбленный, лениво встал, пихнул меня в плечо: пошел!

Он вывел меня на улицу. Еще двое подручных последовали за нами. Да, жалко, что мы с ним не сдружились, — сейчас бы шли, непринужденно беседуя. А так меня явно вели — прохожие оборачивались, смотрели вслед. Да, предел падения — идти под конвоем Боба, который — что самое жуткое — чувствует свое право командовать мной! А если мы так войдем к маме! Я рванул. . . Боб сделал подсечку почти так же четко, как Казачонок, и так же попытался накрутить мою куртку на кулак, но то ли из-за моего отчаяния, то ли из-за ветхости ткани я вырвался, оставив клочок в его кулаке. Пока я поднимался, оскальзываясь на осколках вара, они окружили меня с трех сторон. Сюда, на грязь, в своей модной обуви они не шли, но как только я выходил с этого пятка, они били. Лениво и, я бы сказал, беззлобно — просто разминались после долгого сидения, показывали права.

Небольшая толпа с интересом наблюдала.

— Чего это тут? — спросил тощий с сеткой у солидного с портфелем.

— Да вот. . . ребятки диссидента бьют, — лениво пояснил толстый.

— А ты почему знаешь, что диссидента? — въедливо спросил тощий, оценив очередной удар.

— Да кого же еще? — пояснил тот. — Видишь — он обороняться совсем не может. Был преступник бы или хулиган — он бы им надал!

— А. . . ну да, — удовлетворенно проговорил тощий. — А Боря-боец красиво работает, что ни говори!

. . . Именно это я почему-то вспомнил, преследуемый по пыльной пустой улице пьяным рыбаком. Воспоминания распалили меня, нервы разыгрались.

— Эй! Профсоюз!

. . . Ну все! Я развернулся и пошел к нему. Мы сходились все ближе, вплотную остановились. Смотрели друг на друга. Вдруг, безжизненно повесив татуированные мощные руки вдоль тела, он стал бить чечетку о дощатый тротуар. Я посмотрел на него, повернулся и пошел. Шагов за спиной не было — только чечетка. Но вот и она затихла. Я шел и думал: как сложится, интересно, жизнь этого человека? Победит ли в нем разум — или ярость затопит все?

Я свернул, вышел на шоссе, подошел к остановке. В этот момент как раз с шоссе на ухабистую улицу



съезжала, раскачиваясь, желтая, огромная «хмелеуборочная» машина. Я поглядел ей вслед... не за ним ли едут? Наверное, кто-то уже вызвал? Или просто так?

Я простоял на остановке не больше, наверное, десяти минут — «хмелеуборочная», переваливаясь, уже выезжала обратно. Ну ясно — профилактический заезд, просто на всякий случай, с облегчением подумал я.

И тут же в закрытом кузове ударила гулкая чечетка.

— Эй! Профсоюзс! — послышался крик.

... Как он увидел меня?



## Любовь тигра

**Я**

выскочил из лифта с ключом наперевес и в ужасе застыл: двери не было! Вернее — она была мощным ударом вбита внутрь и безвольно висела, припав к двери ванной. Я бросился ее поднимать, как чело-

века, потерявшего сознание. Она прогнулась в моих руках, как женщина: чей-то молодецкий удар сделал ее гибкой.

— Так... видать, грабанули! Хорошо хоть, не гробанули!

Пол в прихожей был усыпан известкой, влетевшей вместе с дверью. Оставляя белые следы, я быстро вошел

в кабинет, со скрипом вытянул ящик стола... Бумажник лежал наверху, распластав крылья, как раненая птица... так ли я его оставлял? Дрожащей рукой я распахнул его... Деньги на месте. Ф-фу!

Я медленно опустил на стул, утер запястьем лоб, потом слегка уже насмешливо оглянулся на выбитую дверь: что ж это за гости меня посетили, не сообразившие, где деньги лежат?

Я уже не спеша пошел на кухню. Фанерная дверка возле умывальника была зверски выдрана, в полутьме маячили ржавые трубы и вентили, вокруг валялись клочья пеньки. Ну ясно: опять прорвало этот проклятый вентиль, хлынула вода, и водопроводчики, ненавидящие воду больше всего на свете, таким вот образом выразили свою ярость: надо было перекрыть воду, а они заодно еще и разгромили квартиру. Я открыл кран — вода булькнула перекрученной струйкой и иссякла. Все ясно! И ничего не докажешь и не объяснишь: можно только, если есть желание, обменяться несколькими ударами по лицу, но такого желания у меня не было.

Вздыхая, я собрал с пола мусор и отнес его в мусоропровод — доступ к нему теперь был свободен, дверь не мешала. Потом я сел к телефону — благо, он остался цел и невредим, и позвонил своему деловому другу.

— Ясно... тут тебе нужен Фил! — проговорил мой друг.

— Фил?.. Что-то такое помню...

— Ну... тогда еще... вместе с Крохой ходил!

— Но они, вроде... тогда же еще... вместе и загремели?

— Ну да — и он все Крохины дела на себя взял — у Крохи уже сын тогда был!

— Мгм...

— Да сейчас он уже крепко стоит — зам по капстроительству одного крупного объединения!.. Да он отлично помнит тебя: недавно керосинили с ним — он все расспрашивал! Все тебе сделает.

Заманчиво, конечно, сделать «все» — но какую ценой?

— А больше никого у тебя нет? — поинтересовался я.

— У меня есть кто угодно, — усмехнулся друг. — И сприпачи, и оперативники, и даже могильщики... но сейчас тебе нужен именно Фил!

— Ладно... диктуй координаты, — сломался я.

... В приемной стоял стол с машинкой, за ним сидела роскошная блондинка с горделивой прической... такая могла сидеть в приемной любой конторы... Впрочем, без удивления я встречал теперь таких и среди учителей, и в учреждениях, управляющих искусством... названия места в наши дни не имеют решающего значения: дело в возможностях — не так существенно, в какой сфере.

— Простите, нельзя ли вас попросить... — начал я.

— Нельзя, — мгновенно отрезала она.

— Но... будьте все же так любезны... — настаивал я.

— Я буду вам любезна в другом месте! — произнесла она грубую, но довольно таинственную фразу, и, резко встав, с треском вывинтила из машинки лист и, покачивая бедрами, пошла к главной двери.

И втиснулся вслед за ней. В большой пустоватой комнате, в конце длинного стола под портретом сидел человек с бледным покатым лбом, заканчивающимся на затылке седым пушком. Вдруг на лице его, сильно выдвинутом вперед, появилась улыбка — полумесяц из железных зубов.

— Ну что, зверюга — и ты, наконец, обо мне вспомнил? — ласково-сипло проговорил он.

Я решительно не помнил его — сколько всего за последние годы произошло! — но он, видно, все помнил ясно... говорят, что у людей, находящихся там, память консервируется — им все ярче и милее представляются все подробности жизни их дотюремного существования. Такой же дорогой подробностью оказался, видно, и я.

— Ну, здорово... — не совсем уверенно поприветствовал я его.

— Помнишь, как у Боба ураганили с тобой? — улыбка его стала еще шире. — Да-а... нехорош ты стал... но джазмен джазмена через полвека узнает!

— Ну! — воскликнул я.

Его я, честно, не помнил, но «ураганы» у Боба — как можно их забыть? Отличное было времечко — уже лет тридцать тому назад, когда мы все вместе играли джаз, и называли друг друга сокращенно на заграничный манер: Ник, Фред, Боб. Все исчезло, развеялось, в хозяева жизни вышли совсем другие люди... но что делать? Хотя бы ностальгия теперь связывает нас!

— Ну ты знаешь, конечно, — доверительно-тихо проговорил он, — Вэл снова сел, Джага уехал...

Я почувствовал ностальгическую связь и с севшим Вэлом, и уехавшим Джагой, хотя, конкретно, не помнил их.

— А за тобой я давно слежу, — имея в виду, очевидно, мои литературные опыты, произнес Фил, растроганно глядя мне в глаза.

— Да ну... ерунда! — я смущенно отмахнулся.

Спрашивать, как он, я пока что стеснялся: во-первых, при его трудной жизни вопрос может быть неприятным, во-вторых, он может тут усечь намек на дела, с которыми я к нему пришел.

Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга — наверное, от долгого напряжения глаза наши стали слезиться.

— Может, Филипп Клементыч, вы все же взглянете на бумаги? — ревниво произнесла секретарша.

— Да не тренди ты — видишь, друг пришел! — отмахнулся он.

Он явно досадовал на присутствие здесь человека из чуждого нам поколения и даже — чуждого пола. Но она решила, видно, что если — друг, так и не стоит с ним церемониться!

— Слушай, Фил, — ты совсем, что ли, озверел? — она глянула на часики. — Нам полчаса уже у Зойки надо быть!

— ...Тафайте, тафайте! — Фил холодно, даже несколько враждебно помахал ей ручкой.

— Разорвать бы тебя на части и выбросить! — резко проговорила она и, повернувшись, направилась к выходу.

Такой накал чувств — тем более из-за меня — несколько смущал.

— Ко мне можно пойти, — неожиданно для себя пробормотал я.

Она, повернувшись, застыла у двери, но не глядела ни на меня, ни на него, а в сторону окна.

Фил, словно не слыша моей последней реплики, продолжал с застывшей улыбкой глядеть на меня. Немая эта сцена тянулась довольно долго, потом он вдруг медленно пошел к вешалке в углу, надел плоскую клетчатую кепочку, которая как бы еще крепче вдавила его огромную птичью голову в грудь, потом он надел длинный черный плащ и направился к выходу. Мы в некоторой растерянности следили за ним... видимо, следовало считать, что

мое приглашение принято: объяснять что-то дополнительно он считал явно излишним.

На улице я сделал движение к винному магазину.

— Взять что-нибудь?

— Ну возьми конины, что ли? — небрежно проговорил он.

... «конины»? Это значит — коньяка... Да — круто начинается это дело, но хорошо, что хоть как-то начинается!

От моей выбитой двери он почему-то пришел в полное восхищение.

— Вот так вот, Ирина Евгеньевна, настоящие люди живут! — поучающе обратился он к подруге. — Не то, что вы, нынешние жлобы, понаставили дверей!

Она презрительно дернула плечом... черт! — вряд ли после этого она особенно будет меня любить, а от женщин на практике зависит очень много.

Фил вошел в мою пустую, слегка ободранную квартиру (давно я собирался сделать ремонт!), и то ли изумленно, то ли восхищенно покачал головой.

— Вот так вот! — снова обратился он к Ирине. — Никаких тебе стенок-гарнитуров, ковров и прочей лабуды! У людей все дела здесь! — он шлепнул себя по бледному покатоному лбу.

— Мне как раз не очень нравится моя квартира, — слегка смущенный таким успехом, проговорил я. — Она такая не специально у меня! А дверь вообще — только сегодня, наверное, выбита, или вчера...

— Ясно? — он снова строго обратился к ней. — Человек даже не знает, сколько дней без двери живет! — для него я был дорогим воспоминанием о давних, святых временах бескорыстной дружбы. В глазах Ирины я явно становился все большим идиотом, но в оценке Фила все поднимался, — во всяком случае, на этот вечер.

Он взялся за ручку ванной, но я с испугом удержал его:

— Постой... там, понимаешь... раковина разбита!

Дело в том, что мне на день рождения один приятель подарил пузатый пузырек английского одеколона, и это проклятое орудие империализма, выскользнув у меня из рук, стукнулось о раковину. С ужасом я сожмурился... услышал треск... все, накрылся подарочек! Когда я, наконец, решился разожмуриться, изумлению моему не

было предела — пузырек лежал целый и невредимый, раковина же была расколота на крупные куски!

Я рассказал это Филу — он посмотрел на меня со снисходительной усмешкой:

— Ну ладно — ты лучше историю эту в какой-нибудь рассказ свой вставь, а мне мозги не пудри — я все же инженер!

Я давно уже замечал, что люди, сами живущие по фантастическим законам, от искусства требуют строгости и поучительности — так же и мой друг.

— Ну хорошо! — я вытащил на середину комнаты мой «журнальный столик» — старый испорченный приемник, расставил рюмочки.

— Ну, у тебя кайф, — усмехнулся Фил. — Как в монгольской юрте.

— Ну прям уж! — непонятно обидевшись, сказала Ирина, словно она всю жизнь провела в монгольской юрте, и знает ее.

— К нимходишь, — не реагируя на ее реплику, продолжил Фил, на стенах юрты полки, и на каждой стоит наш старый ламповый приемник «Рекорд»! Батарейки кончаются — монгол едет в улус, везет новый приемник!

Он явно предпочитал, чтобы истории звучали его, а не чьи-то другие.

— Ну прям уж! — проговорила Ирина.

— На кухню! — приказал ей Фил.

Ирина, взмахнув хвостом, ушла, куда ее послали.

— А когда ж ты... в Монголии был? — пытаюсь нащупать основные вехи бурной его жизни, вскользь спросил я.

— Ну как... — спокойно ответил Фил. — Оттрубил, потом в Сибири работал — я же строитель! — а потом в Монголии прорабом уже.

— Да... неслабо! — восхищенно произнес я. — Так сколько же тебе? — я пригляделся к его выдвинутому вперед, словно обсыпанному мукой, лицу.

— А сколько дадите? — он гордо-шутливо задрал над плечом свой наполеоновский профиль, застыл с дурашливой важностью, как мраморный бюст.

— Ну... давай! — мы торжественно выпили.

— Мне про тебя первая еще Полинка сказала — помнишь Полинку? — мол, есть такой замечательный человек! — расспоминался он.

Полинка! Ну как же можно не помнить Полинку — мою первую, самую отчаянную любовь!

— А ты... откуда с ней? — ревниво воскликнул я.

— Сахадка! — он пошевелил в воздухе пальцами. — Так мы же с ней до второго курса вместе учились!

— С Полилкой? — воскликнул я.

Тут я вдруг увидел, что он склонился к моему столику-приемнику, и, побряхтывая, снял заднюю картонную стенку.

— Да не надо! — со страстью, совершенно не соответствующей предмету, воскликнул я. — Не надо! Я отодвинул приемник. — Давно уже не работает — бог с ним!

— Ладно... так и ходи! — сурово произнес Фил свою любимую, видно, присказку, властно отстранил меня, засунул свою маленькую белую ручку внутрь, по очереди покачал лампы в гнездах, потом воткнул вилку в сеть, нажал клавишу... сочный, ритмичный джаз потряс мою душу, и стекла, и стены!

— Потрясающе! Как это ты?

— ... Сахадка! — усмехнулся он.

Единственное, что смущало меня, что он по-прежнему игнорировал свою даму — видно, вымещал ей за какой-то прокол — по сколько же можно?! Вот она гордо появилась с кухни с подносом, холодно расставила чашки, разлила чай.

— Смотрите, пар танцует под музыку! — воскликнул я, но они продолжали держаться отчужденно. — Ребята! — обнимая их за шеи, воскликнул я (в одной руке плескалась рюмка с коньяком). — Ну не ссорьтесь — я вас прошу! Так хорошо все, ей-богу! — я стал сдвигать их головы, они с натугой сдвинулись...

Проснулся я почему-то в кабинете, на диване, абсолютно одетый. Окно было настежь распахнуто, и высоко-высоко в небе параллельно шли два невидимых самолета, оставляя белую пушистую «лыжню».

Потом вдруг — явно у меня в квартире! — бухнула дверь. Прошел холодный сквознячок, осушая мгновенно выступивший едкий пот на лбу. Вдруг стали приближаться быстрые дребезжащие шаги. Сердце испуганно оступилось. Я попытался подняться, но почувствовал такую слабость и тошноту, что снова сполз.

Кто ж это ходит по моей квартире?.. Так у меня и двери же нет! — с ужасом вспомнил я. — Сколько же там



человек? — я напряженно прислушался... один? Шаги продребезжали на кухню, поелышалось сипенье крана. Странный грабитель — решил побаловаться чайком! — я усмехнулся, и сразу же голову стянула боль. Потом вдруг шаги стремительно приблизились. Сердце остановилось.

Дверь кабинета со скрипом поехала... Я героически поднялся навстречу опасности. В щель просунулся серебристо-грязный надувной сапог, потом колено в изжелтевших джинсах, потом поднос с чашками и, наконец, сияя железом зубов и лучась глазками, знакомая голова. Со стоном я рухнул обратно.

— Ну ты, зверюга беспартийная! — ласково просипел он. — Жив еще? Сейчас врежем чайку!

— Чайку? — пробулькал я. — ...А кофе нельзя? Там... кофе с молоком в банке было.

— А кофе с молотком ты не хочешь? — оскалился он. — Ты вчера так тут ураганил! Удивительно, что стены стоят!

— ...Я?

— Ну а кто — я, что ли?.. Всем девчонкам по четвертаку!

Как — «девчонкам»? Я снова упал.

— Не помнишь? — он усмехнулся. — Ну, так и ходи!.. Ничего — я в свое время тоже ураганил как зверь! Всю Сибирь заблевал, пока пить выучился. Но нам, строителям, без этого дела ни шагу!

На кухне засвистел чайник и он, развернувшись, ушел туда. С колотящимся сердцем я кинулся к столу, выдвинул ящик — бумажник лежал сверху — вывернутый, пустой... Снова нашла слабость. Услышав приближающиеся шаги, я торопливо задвинул ящик.

— Ну ты, зверюга, — появляясь с чайником, произнес Фил. — Подниматься собираешься, нет?

Придерживаясь за стенку, я сел.

— Скажи, — сделав мизерный хлебок чая, решил я. — А ты, случайно, деньги мои из ящичка не брал?

Некоторое время он неподвижно смотрел на меня.

— Взял! — сурово сказал он. — Ты так ураганил вчера, что все бы приговорил!

— Да понимаешь вот... на ремонт копил, — я обвел рукой обшарпанные стены.

— Ладно — сделаю я тебе ремонт! — хмуро произнес он. — Что я могу уж — то могу. Что не могу — говорю

сразу! Сделаем в один удар. Я так хочу тебе сделать, как недавно в Москве у одного видал.

— А во что... это встанет? — хоть таким хитрым образом я попытался выведать, сколько моих денег у моего сурового друга.

— Что ты дергаешься, как вор на ярмарке?! — рявкнул он. — Не бойся — на тебе не поднимусь! Без тебя есть, на чем подняться, а уж на друзьях — последнее дело! — презрительно проговорил он.

Пот тек с меня ручьем. Получилось, я допускал мысль о такой гнусной возможности — подниматься на своих друзьях!

С тревогой я чувствовал: он почему-то усиленно внушает идею о старинной нашей дружбе, о неразлучной компании, все входящие в которую до сих пор связаны святыми узами... Зачем-то это нужно ему... или просто для самоподъема?

— ... Да — и раковину бы, раковину! — вскричал я.

— ... Ты как японец — все кроишь! — презрительно произнес Фил.

Действительно, стыдно: человек с дружбой, а я с сантехникой! Позор!

— А скажи... очень плохо я вчера себя вел? — от весьма мучительной темы я перешел к другой, менее мучительной.

— Что значит — плохо? — сурово сказал Фил. — Как хотел, так себя и вел! Ты ж дома у себя, а не у тещи в гостях!

— Правильно! — воскликнул я, резко поднимаясь.

Тут стукнула дверь — из ванной в моем халате выплыла королева, роскошным движением закинула влажные волосы за плечо, уселась с нами.

— У Филя что нехорошо? — уже доверительно, как своему, обратилась она ко мне. — Друзей никого нет — всех презирает! Теперь хоть, слава богу...

— ... Кто?! — испуганным взглядом спросил я.

— Как — кто? Ты же, дурачок? — ласковой улыбкой ответила она.

— Вам бы, Ирина Евгеньевна, на рабочем месте давно пора быть! — прохрипел Фил.

— Алкаш ты чумовой! — она, как на пружине, оскорбленно вскочила, мгновенно оделась, подошла к двери,

вернее, к месту отсутствия ее. — Ну, ты об этом пожалейся! — мстительно проговорила она.

— Так и ходи! — рубанув ладошкой, произнес Фил. Ирина выскочила. Для чего же я тратился, покупал коньяк, отравлял себя — если все кончилось еще хуже, чем начиналось?! Фил даже не глянул в сторону выхода, сидел абсолютно неподвижно, потом медленной, шаркающей походкой подошел к телефону, набрал номер.

— Здравствуйте, — отрывисто произнес он, потом долго слушал какой-то крикливый голос, не умецающийся в трубке. — ... Какие-то хадости вы ховорите... — брезгливо произнес он, двумя пальцами положил трубку. Уже фактически забыв обо мне, он хмуро наматывал шарф.

— Ты в контору сейчас? — поинтересовался я.

Он долго мрачно смотрел на меня.

— Пойдем, если не противно, — усмехнулся он, пожав плечом.

Как это мне может быть противно?!

Мы пешком двинулись к его управлению... словно полководцам, приближающимся к линии фронта, нам все чаще попадались следы сражения: разбитые дома, костры, перевернутые фуры. Какие-то люди подбегали к нам и что-то кричали. Фил шел медленно, опустив свой наполеоновский профиль, не реагируя.

По мосткам над канавой мы вошли в сырой колодец-двор разрушенного дома — без стекол, дверей и перекрытий. Откуда-то издалека или звонкие удары. Во втором дворе, возле маленького двухэтажного флигелька, где пахло гнилью из оставленного без крыши помещения, из разрытой канализационной канавы, я увидел зрелище, поразившее меня в самое сердце. Небритый человек в берете и землистой робе огромной кувалдой разбивал белые фаянсовые раковины. Он ставил раковину вверх дном и звонким ударом разносил ее на крупные куски. Рядом была уже высокая груда черепков. Молотобоец швырнул туда вновь полученные осколки, подтянул к себе новую раковину в упаковке, ломиком отодрал доски, поставил раковину в позицию и нанес зверский удар. Это совершенно необъяснимое, на мой взгляд, занятие, Фила, наоборот, совершенно не удивило. Он сухо кивнул молотобойцу, и пружиня мостками над канавой, вошел во флигель.

— Детсадик тут делаем! — счел нужным объяснить он.

Молотобоец шел за нами, скребя молотом по земле.

На каком-то сооружении, похожем на покосившуюся столовскую раздачу, стоял черный мутный телефон.

— Завтра пойдешь к нему! — прижав трубку ухом к плечу, Фил кивнул на меня, и стал щелкать диском, набирая цифры. Молотобоец не среагировал. И Фил, что характерно, моего адреса не назвал. Может, он считает, что я так популярен, что адрес не нужен?

— Апликациями все обклеить хотим, — обводя рукой голые стены, произнес молотобоец.

— Лучше — облигациями, — продолжая накручивать диск, усмехнулся Фил.

Молотобоец побрел обратно, и скоро опять послышались зверские удары. Фил снова накручивал диск. Я вдруг почувствовал, что причина всех наших блужданий в том, что Филу просто неохота появляться у себя на рабочем месте, где уже ждут, свернувшись, как змеи, груды надоевших проблем, а также несколько новых, заботливо приготовленных Иришкой.

Брякнув трубкой, Фил двинулся прочь. Я, как верный секундант, следовал за ним. Фил все больше мрачнел — видно, какие-то мысли все крепче одолевали его.

— Тысячу рам привезли, и все кривые! — с каким-то торжеством прокаркал бросившийся к Филу тип в плетеном строительном шлеме.

— Так и ходите! — прохрипел Фил.

Вестник, явно ликуя, удалился. Удивительное это свойство, которое, наверное, можно встретить только у нас: упоение масштабами разрухи. Поразительное злорадство, обращенное на себя — пусть нам хуже, а все равно приятно! «...Что твои пятьсот миллионов! Тьфу! Вот у нас строили комбинат — девятьсот миллионов коту под хвост!» — рассказчик застывает в мрачном упоении, а собеседник буквально дрожит от нетерпения, чтоб выпалить данные об убытках гораздо более мощных! Да — трудно при таких настроениях быть создателем.

Мы вошли в контору.

— Филиппа Клементыча нет!.. Понятия не имею! — звонко-торжествующе отчеканила Ирина, и торжество ее было понятно: да, мол, нет уважаемого начальника на

рабочем месте, и где он находится, неизвестно, — вряд ли по делу!

Когда мы приблизились, Ирина вскрывала почту, и нетерпеливо вспоров большой конверт с каким-то официальным грифом, быстро прочла бумагу, мстительно-удовлетворенно произнесла: «Мгм» и тут увидела нас. Фил молча и неподвижно смотрел на нее, она же поднимала голову все более независимо и надменно. Господи, на что уходят силы!

Повернувшись, мы пошли по коридору — как сквозь строй: вдоль стен почему-то стояли женщины, причем, исключительно с детьми, и ели нас глазами, как врагов.

— Дружок его, — услышал я сзади зловеющий шепот. — С ним все средства и просаживают!

Я невольно дернулся. Мое какое-то слишком стремительное восхождение до ближайших друзей Фила несколько смущало меня. Сам шел молча, не реагируя. Ира, с полученным письмом в руке скромно шла сзади. У самых дверей кабинета, положив руки на папку из кожзаменителя, сидел милиционер — судя по очкам с выпуклыми стеклами, из ОБХСС. С ним Фил поздоровался, но крайне сухо, и зайти не пригласил.

— Еще в апреле должен был детсадик сдать, а у него там конь не валялся, знай только керосинит со своими дружками! — видимо, не в первый уже раз, но сейчас специально для нас прокричала здоровенная бабища с усами.

Отрубив гвалт тяжелой обитой дверью, мы вошли в кабинет.

Фил медленно прошаркал к своему столу, мрачно сел. Ирина торжествующей, почти танцующей походкой подошла к столу и прилепнула свежеполученную депешу прямо перед носом шефа — видно, в ней содержалась какая-то крепкая плюха моему другу! Да, видно, он немного пережал, и победительная его паглость, всегда приносившая ему успех, наконец вызвала бунт особенно страшный — женский: когда дело касается детишек, детсадика, тут тигрицы обретают невиданную отвагу!

Дверь со скрипом отворилась, а за ней показалась группа, опять же состоящая в основном из женщин, по с агрессивным старичком во главе.

— Комиссию вы вызывали? — обратился старичок к Ирине.

Ирина с некоторой опаской глянула на Фила, но потом надменно проговорила:

— Я!

Фил с ослепительной улыбкой поднялся из-за стола, и направился к ним, как бы желая прямо на пороге обнять долгожданных гостей. Дойдя до двери, он взялся за ручку и яростно захлопнул дверь прямо перед носом комиссии. Комиссия, что интересно, больше не возникала — видно, с ходу направилась в вышестоящие инстанции.

— Спасибо, Ирина Евгеньевна! — усмехнулся Фил. — За мной не пропадет!

Ирина, оставшись без поддержки, чуть дрогнула, но заговорила еще более надменно:

— Скажите, Филипп Клементьич, — а когда будут материалы для детского садика?

— ... Сегодня, — безжизненно обронил Фил.

— Вы уже полгода говорите — сегодня!

— Я сказал. Сегодня, — еще более безжизненно произнес он.

Он медленно застегнулся — плащ он так и не снял — и уверенно двинулся к двери. Я неуверенно двинулся за ним... Видно, наступит когда-то этап, когда он займется и моими делами?

Баб в коридоре уже не было: видимо, вслед за комиссией умчались в верха. Остался только недвижимый милиционер.

— До свидания, — сказал ему Фил.

Не оборачиваясь, Фил (и я за ним), вышли прочь. У подъезда стоял синенький пикапчик. Из задней дверцы высунулся молотобоец.

— Я нужен, Филипп Клементьич?

— Кому ты нужен? — мрачно пошутил Фил. Молотобоец оскалился. Фил, сгорбившись, полез внутрь. Я тоже забрался... Наверное, на этом пути мне не светит ничего, но на других-то — тем более!!

— Куда, Филипп Клементьич? — оборачиваясь с переднего сиденья, спросил шофер.

— На склад, — веско обронил Фил.

— М-м-м! — радостно-удивленно произнес шофер, и захрустел рычагами. Видно, эта поездка была радостной неожиданностью, я смутно чувствовал, что происходящее как-то связано со мной, но как именно — не мог сообразить.

— Филипп Клементыч! — вежливо обратился к шефу молотобоец. — Японец звонил, завтра бой заберет, но ему нужно целых восемьдесят тонн!

— Так делай! — яростно рявкнул Фил.

Я, вроде бы, разгадал эту хитрую шараду: какой-то японец, как это теперь модно, скупает у нас всяческий бой и строймусор — и Фил со своими помощничками усердно поставляет его. Я только испугался, что Фил с его неукротимым упорством превратит в строймусор все окружающее!

Примерно так оно и выходило. По обеим сторонам дороги шла абсолютно разоренная жизнь: разрушенные дома, какие-то задранные кверху ржавые конструкции — ну просто мечта японца, любителя утиля!

Вот мелькнул красивый, отдельно стоящий дом — может быть, в прошлом даже вилла — сейчас у нее не было стекол и крыши, а на крыльце красовался транспарант: «Опасная зона». Что значит — «опасная»? Кто сделал бывшую зону комфорта и отдыха опасной? Для чего? Для того, может, чтобы скрыть от глаз все, что там происходит?

— Да... надеюсь... с японцем этим... официально все сделано? — выйдя из задумчивости, проговорил я.

— А наш шеф не любит официально! — проговорил молотобоец, и гулко захохотал.

— Сниму с пробега! — сурово оборвал его Фил.

Мы зарулили в какой-то глухой двор. Спустились по лесенке под ржавым навесом к двери, обитой светлой жостью. Фил морзянкой застучал по звонку. Дверь тяжело отъехала и мы вошли в подземелье. Тут было все: импортные цветные газовые плиты, во тьме маняще белела сантехника, на грубо сколоченных стеллажах сверкали целлофановой оберткой невиданные обои. Был ли у этого подземелья другой вход, официальный? Очень сомневаюсь. Нас встретила тучная женщина в халате.

— Ну что, все худеешь? — дружески прохрипел Фил. Они похихотали, потом скрылись в конторке, пошуршали какими-то бумагами, потом вышли и Фил сказал:

— Грузите!

Сам он, что характерно, не грузил, дружески зубоскалил с хозяйкой — но и это, наверное, тоже важная деятельность, может быть, даже самая важная?

Мы погрузили восемь раковин, четыре унитаза, шесть

рулонов линолеума, двадцать рулонов обоев, десять пачек дефицитного клея. Тут было много такого, что бы нужно было мне — но никакого обнадеживающего намека я не получил. Более того (и это очень встревожило меня), во время прощания хозяйка подошла ко мне и сказала с признательностью:

— Ну, спасибо вам, хоть детишкам садик будет теперь!

Странно!.. При чем здесь я? Что она хочет этим сказать? Ведь, надеюсь, все это сделано по безналичному, или как это там? А вдруг, черт возьми, по безналичному для них — по наличному для меня — за мои денюжки? Я яростно глядел на Фила, но он сидел абсолютно непроницаемый.

Неужто я, кроме других глупостей в жизни, сделался еще и спонсором — чем-то это слово было мне неприятно.

Раковины ездили по кузову, били по ногам — я принципиально убирал ноги: не такой уж я друг детей, чтоб ради них еще и ноги ломать!

С какой-то незнакомой стороны мы неожиданно въехали в знакомый двор и остановились у флигелька, в котором, надо понимать, скоро зазвонят звонкие детские голоса. Я вылез из кузова, и увидел, что засада переместилась сюда: тут были и истрадавшиеся женщины с детьми, и члены комиссии во главе со старичком, и с виду неподвижный обэхээсник, который, однако, как в известной сказке про ежика, оказался тут раньше нас.

Фил молча, не реагируя, вылез из пикапчика, потом мы стали вытаскивать наши богатства и, пружиня мостками над канавой, как волжские грузчики, понесли груз в помещение.

Гвалт, поднявшийся в толпе, по мере все новых и новых наших ходок менялся с злобно-презрительного на восторженный. Первым ко мне (когда я стоял, тяжело отдыхаясь) подошел обэхээсник:

— Спасибо вам! Вы настоящий друг! — он стиснул мою руку, сел в свой зеленый, как кузнечик, «Москвич», и с облегчением умчался.

Я был в растерянности... чей я друг?.. Детей?

И тут нахлынули женщины.

— Ну, спасибо вам... хоть один хороший человек!

Может, я и хороший человек, — но как они-то об этом догадались?



— Федя! Дай дяденьке конфетку!

Федя, поколебавшись, залез в ротик и протянул мне обсосанный леденец. Я, растрогавшись, взял, положил в карман. Радостно гомоня, женщины со старичком во главе поклевали двор. Было ясно, что в их жизни произошло нечто радостное и неожиданное, во что они, уже не верили и устали ждать.

Фил деловито ходил над привезенным и записывал в блокнот.

— За что это... все меня благодарят? — спросил я его.

— Да это все лабуда! Мы тебе все финское зарядим! — уходя от прямого ответа, Фил презрительно махнул на привезенные изделия рукой.

— А разве это... не по-безналичному куплено? — все яснее понимая горемычную свою судьбину, поинтересовался я.

— По безналичному ты себе... и гроба не купишь! — уже победно усмехнулся Фил. — Тут нужен счет по каппостроительству, а зверюги эти открыли по капремонту — приходится кроить! — он слегка виновато взял меня за рукав.

— А все это... разве нельзя было... за валюту купить... которую вам японец дает?

— Валюта наверх вся уходит! — прохрипел Фил. — Зверюги эти уважают валютку!

— А зачем... им давать?

Фил, чувствуя уже полную моральную победу, улыбнулся совсем широко.

— Ты говоришь — зачем? А ты думаешь они хоть одну бумажку тебе подпишут просто так?

— Ну неужели ничего на свете нельзя уже по-честному сделать?!

— По-честному? — Фил оскалился, чувствовалось, я его своими наивными вопросами довел, наконец. — По-честному хочешь? Тогда бери! На твои деньги все куплено! — он, тяжело дыша, стал вдруг швырять прямо в грязную лужу передо мной рулоны сверкающих обоев, раковины, унитаза, один раскололся. — Бери!.. Детишки обождут!

— ... Да ладно уж... — вдохнул я.

— Валерки-ин! — он радостно сделал «козу». — ... Да не дергайся ты, как вор на ярмарке! — он перешел на су-

ровый дружеский тон. — Все финское поставим тебе, делаем в один удар!

... Да, здорово они раскалывают меня, как говорится, «в один удар»! Моментально, главное, вычисляют, на лету! Порой даже на огромном расстоянии! Помню, прошлой весной мне позвонил режиссер аж из Ташкента! — и с комплиментами и уверениями пригласил приехать для совершения, как он сказал, «одной деликатной миссии». Насыщенный о восточном гостеприимстве, и к тому же находясь на нуле, я тут же приехал. Миссия, действительно, оказалась весьма деликатная — я должен был написать сценарий уже снятого фильма! То есть они снимали три года трехсерийный фильм — не имея сценария, рассчитывая, что «сообразят на ходу», и так досообразались, что в конце концов сами перестали понимать, что сняли! Кроме того, все эти годы они, видимо, очень неплохо жили — фильм, без всякой на то суровой необходимости, снимался на Черном море, в кадре было бешеное количество красивых баб, никоим образом не связанных с сюжетом, которого, кстати, и не было... Теперь на этом режиссере висело несколько миллионов, а предъявить что-нибудь связное худсовету он не мог. Неприятности светили ему крупные — и спасти его мог только я! И тут он абсолютно был прав — ни в одном из городов нашей необъятной страны такого идиота не нашлось — пришлось выписывать из далекого Питера! Я в ужасе просмотрел показанный мне материал... кто-то — абсолютно неизвестно кто — входил в какие-то роскошные комнаты, выходил, танцевали какие-то пары... причем — ничего нельзя было ни доснимать, ни выкидывать — делать надо было из этого, разве что меняя порядок эпизодов и придумывая слова под снятую мимику. Не скрою, такая сверхсуровая проверка моего воображения возбудила меня. Два месяца я сидел в плохоньком номере, оскорбляемый горничными, абсолютно, кстати, не сталкиваясь ни с каким восточным гостеприимством — и в конце концов сложил из этой мозаики довольно складную картину — я был доволен и горд. В день моего отлета растроганный режиссер сообщил мне, что, к сожалению, сберкасса в этот день закрыта, поэтому он, увы, не может дать мне обещанных денег. «Так, может быть, мне остаться?» — уже обреченно, все уже поняв, пробормотал я. — «Зачем? — возмущенно закричал он. — Ты прилетишь — день-

ги будут уже лежать! Телеграфом пошлю!» Думаю, не надо объяснять, что деньги еще идут. Но — надо отдать должное ташкентцу — он хоть моих денег не отбирал, как Фил! А в принципе, все удивительно повторяется — какой характер, такая и жизнь! И если мир делится на две части — на обманщиков и обманутых, то мне все равно как-то приятней быть среди вторых!

— ... товарищ таракой, — вывел меня из прострации говорок Фила. — Фсе рапотаєте, рапотаєте, нато и оттыхать! — он пихал меня в пикап.

— Да нет, я пойду... Я уже как-то устал отдыхать.

— Да встряхнемся давай. К Ирише заедем. Хочу с ней крепко потолковать — пора на уши ее поставить!

— Не надо! — я метнулся в пикапчик.

— В контору! — захлопывая за мной дверцу,скомандовал Фил.

Снова нас мотало на поворотах. Я как-то боялся, что отдых с Филом окажется еще тяжелей, чем работа. Фил гнусавил под нос лихой джазик, время от времени дружелюбно подмигивая мне — он был абсолютно уверен, что купил мою привязанность навсегда (причем, что характерно, за мои же деньги!)

Мы подъехали к конторе, стали вылезать. Все как раз дружными толпами выходили на обед.

— Мадам что-то не видать! — сказал Филу молотобоец.

— Видимо, говеет! — усмехнулся Фил.

Уйти?.. Но мне кажется — когда я с ним, что-то все же сдерживает его!

И тут появилась наша Ириша — она шла с гордо поднятой головой, игнорируя нас. Рядом с ней крутился какой-то чернявый парень на высоких каблуках. Фил стоял неподвижно, глядя в землю, и у меня мелькнула безумная надежда, что он не видит ее. Но по той абсолютной неподвижности, с которой он стоял, было ясно, что он видел. Взяв себя в руки, она хотела было проплыть мимо, но в последний момент сломалась и резко подошла.

— Филипп Клементыч, я вам зачем-либо срочно пужна? — подчеркнуто официально проговорила она.

Он продолжал стоять абсолютно молча и неподвижно. Ситуация явно становилась напряженной. Это молчание и неподвижность пугали даже больше, чем шум и скан-

дал. Проходящие мимо стали умолкать, останавливаться, с изумлением смотреть.

— Русланчик! Подожди меня, я сейчас! — ласково сказала она своему спутнику, несколько демонстративно прикоснувшись к его плечу.

Русланчик сделал несколько шагов и, не оборачиваясь, стоял.

— Ну? — прошипела она.

— На рабочее место, пожалуйста, — безжизненно проговорил Фил, указав рукой.

Ирина довольно явственно выругалась и, повернувшись, пошла в контору. Фил, абсолютно без всякого выражения на лице, шаркая надувными пимами, медленно прошел в свой кабинет, уселся за стол. Ирина, явно куражась, с блокнотом и ручкой подошла к нему. Фил молчал, не обращая на нее никакого внимания.

— Может быть, я все-таки могу пойти пообедать? — наконец, не выдержав, проговорила она.

— Будешь выступать — сниму с пробега! — еле слышно проговорил Фил.

— А что я такого сделала? — уже явно сдаваясь, проговорила она.

— Слушай, ты... Если бы не этот... слишком нежный паренек, — он кивнул на меня, — я бы сказал тебе — что!

Ну что ж — хоть в качестве «нежного паренька» пригодился! — подумал я.

Открылась дверь и появился взъерошенный Русланчик.

— Иди, Русланчик, у нас с Филиппом Клементьичем важные дела! — капризно проговорила Ирина.

— О! — привстав, радостно завопил Фил. — Вот кто сбегает нам за водкой! Пришлите червончик, — вскользь сказал он мне.

С какой это стати я еще должен оплачивать его дурь?.. Но я не мог больше видеть стоящего, как столб, Руслана — я протянул последний червонец.

— Ну вы даете, Филипп Клементьич! — вдруг расплылся в улыбке Руслан и, топоча, выбежал.

— Коз-зел! — вслед ему презрительно произнес Фил.

— А ты — человеческий поросенок! — кокетливо ударяя его карандашом по носу, проговорила Ирина.

Вскоре вбежал запыхавшийся Руслан, радостно отдал

бутылку шефу. Шеф зубами сорвал жестяную крышечку, сплюнул, разлил по стаканам.

— Я не буду, — сказал я, но он не среагировал.

— Филипп Клементьич! — деликатно прихлебнув водки, произнес Руслан. — У меня к вам производственный вопрос!

— Ты бы лучше о них на производстве думал! — усмехнулся Фил.

— Но можно?

— Ну?

— Мы сейчас дом отдыха по новой технологии мажем...

— Знаю, представь...

— Ну — и многие отдыхающие от краски отекают, их рвет... одному даже скорую вызывали...

— Это их личное дело. Дальше!

— ... Так мазать?

— Тебя конкретно не тошнит?

— Да нет... я уж как-то привык...

— Так иди и работай!

С ним все ясно! Там, где нормальный человек засовестился бы, заколебался, задергался — этот рубит с плеча: «Так иди и работай!» И все проблемы, которые других бы свели с ума — им решаются сходу, «в один удар». С ним ясно. За это его и держат на высоком посту, и будут держать, сколько бы нареканий на него ни поступало — именно за то, что он сделает все — даже то, чего делать нельзя!

Появился молотобоец.

— Филипп Клементьич... — он столкнулся со мной взглядом и слегка запнулся. — Так делать... для японца? — он смотрел то на Фила, то на меня.

— Иди и работай! — хрипло произнес Фил.

Молотобоец вышел.

Вскоре послышались звонкие удары — рушилось мое состояние. Фил был мрачен и невозмутим.

Ну все — я вроде был больше не нужен. Круг на моих глазах четко замкнулся. С чего начиналось все — с разбивания раковин — к этому и пришло. По пути я сумел успокоить Фила, матерей с детишками, обэхээсника, теперь обрадую ненасытного японца, а что я сам немного расстроился — это несущественно!

— Швыряло давай! — Фил кивнул на Иркин стакан.

— Поросенок! — она игриво плеснула в него остатками водки.

Больше я находиться здесь не мог. И даже, как «нежный паренек» я уже абсолютно был не нужен: нежность и так хлестала тут через край!

— Чао! — я двинулся к выходу.

Фил даже не повернулся в мою сторону. Может, ему был безразличен мой уход? Но тогда, наверное, он бы рассеянно кивнул мне вслед и даже бросил какую-то мало-значущую фразу — но в этой полной его неподвижности, абсолютном безмолвии читалась огромная трагедия, неслыханное оскорбление!.. Он ввел меня в святая святых, распахнул душу (пусть не совсем стерильную), раскрыл методы работы (пусть не совсем идеальные) — а я свысока плюнул на все это и ушел. Как говорится: такое смывается только кровью! Ириша четко уловила состояние шефа.

— Конечно — когда не о его делах речь — ему неинтересно! — бросила она мне вслед.

Как это — речь не о моих делах? Ведь именно мои раковины сейчас в угоду японцу звонко разлетаются вдребезги! Парадокс в том, что Фил отдает их японцу, а если бы я отнял их — я отнял бы их у детей! Но — хватит! Еще помогать матерям с детишками я хоть со скрипом, но согласен, но поднимать своими скромными средствами и без того высокий уровень японской промышленности — пардон!

Я взялся за дверь.

— Да куда он денется! — хлестнула меня на выходе вскользь брошенная реплика Филадельфии.

... Как это — куда я денусь?! Да хоть куда!

Я вышел на улицу, в слепящий день. Водитель пикапа библикнул мне. Я подошел.

— Садись, подвезу!

— Денег нет! — я сокрушенно развел руками. Причины Филадельфии мне тоже были как-то ни к чему.

— Да садись! — горячо сказал водитель. Я понял, что это зачем-то нужно ему, и сел. Поехали.

— А если шеф позовет?

— А! Он сейчас с места не стронется, будет пить до посинения — но зато на посту! Вечером — другое дело — вози его!

— А куда — вечером-то?

— По ресторанам — куда же еще? Сперва пообедем всех зверей соберем, а после — в кабак. Но все — мне надоело уже: столик в салоне я отвинтил, — он кивнул назад, на пустое пространство между креслами. — Тут у меня они пить больше не будут! Сказал, что крепления не держат! Они нешто разберутся? И убрал. А то сиди жди их, пока они с кабака выберутся, потом заберутся сюда, и на столик все вынимают из сумок! Раньше двух ночи домой не прихожу — жена уже разговаривать перестала. И главное: хоть что-то бы имел, хоть раз угостили бы чем, предложили — попробуй. Я, может, тоже хочу рыбкой красненькой или икорочкой дочку угостить!.. Никогда! Сожрут, выпьют все, распивают — «Вези!» После каждого еще до дому волоки! Все — распивочная закрыта! — он снова кивнул назад.

— И с кем... он тут? — поинтересовался я.

— С кем! Понятно, с кем — у кого все в руках! А им такой, как Фил, позарез нужен: при случае и посадить можно, а потом вытащить! Исполкомовские, да еще покруче кто. Вот уж, действительно — нагляделся я на них в упор: свињи свињями! Нажрут до усеру, да еще баб норовят затащить! — он сплюнул. — А те раковины, что вы оплатили. Гривя наш расфучил уже, японцам отдадут — те из них какой-то редкоземельный элемент берут. А нашим — плевать! Но у меня тут больше они пить не будут — конец!

Мы свернули.

— А жена дочку в садик через весь город таскает, к ее заводу: трехлетку в полшестого приходится поднимать! А детсада нашего — как десять лет не было, так нет и сейчас... Дай им волю — они все разнесут!

... так уже дали им волю, — подумал я.

— ...и в общежитии нашим до сих пор раковин пет на третьем-четвертом этажах!

— И у меня пет раковины! — сказал я.

— И у тебя пет? — он обернулся.

... Ремонт, который сделали мне ребята, встал мне ровно вдвое дешевле той суммы, которую у меня взял и не собирался, видимо, возвращать мой в буквальном смысле драгоценный друг.

Хоть мы теперь и не виделись с ним, я, как ни странно, все четче видел его. Водитель Николай, появляясь у меня по делам ремонта, каждый раз рычал, что опять до

глубокой ночи развозил пьяных клиентов. Все они — и особенно рьяно Фил, требовали обязательной доставки их домой, в каком бы состоянии они не находились. Дом, оказывается, для них — это святое!.. Выходит — тогда, заночевав у меня, Фил сделал редкое исключение?.. Как трогательно! По словам Коли, дома у Фили был полный порядок: квартира отлично отделана, три сына-спортсмена, красotka жена. Значит — дом его держит на плаву, там он отдыхает душой? ...но я как-то не верю, что жизнь можно поделить перегородкой на два совершенно разных куска.

...Сейчас он исчез, как бы смертельно обидевшись, что я бросил его, пренебрег духовной его жизнью (если можно назвать духовной жизнью то, что происходило тогда в конторе)... Одновременно, как бы всплыв из-за обиды, можно было не отдавать и деньги... очень удобно! Но главное тут, несомненно, его оскорбленная душа! Мол — как только мои корыстные интересы не подтвердились, я тут же немедленно ушел, наплевав на узы товарищества. Примерно так он объясняет это себе... Версия, конечно, весьма хлипкая, и чтобы Филу поверить самому, что все рухнуло из-за поруганной дружбы, а не из-за украденных денег, ему все время приходится держать себя в состоянии агрессивной истерики: все сволочи, зверюги, к ним с открытой душой, а они..! Жить в таком состоянии нелегко — я сочувствовал ему.

Только в невероятном напряге, раскалив до полного ослепления все чувства, можно проделывать такие безобразные операции, как он проделал со мной, и при этом считать себя правым и даже оскорбленным! Легко ли? И все для того, чтобы потом в грязном пикапчике глушить с крепкими ребятами водку, снова накаляя себя до состояния правоты?

Ежедневное преодоление непреодолимого, перепрыгивание всех устоев может и позволяет ему чувствовать себя человеком исключительным... но к чему это ведет? Может, — и мелькнуло в день нашей встречи с ним что-то светлое — и тут же было разбито вдребезги, как раковина. Окупится ли?

А теперь ему особенно нелегко. Раньше он имел хотя бы утешение — мараť меня — мол, знаем мы этих идеалистов... но теперь и этого (как и столика в пикапчике) он лишен.



Казалось бы, при его образе жизни всякого рода переживания давно должны были бы исчезнуть — но он явно не был уверен, что взял надо мною верх, и фанатично продолжал разыскивать доказательства своего морально-го (или аморального?) превосходства.

Одним из таких доказательств должен был быть довольно поздний его звонок, примерно через полгода после того, как мы расстались.

— Слушай, ты! — прохрипел он, даже без тени прежней теплоты, словно я все эти месяцы непрерывно оскорблял его (а я и действительно, наверное, его оскорблял, даже не пытаюсь требовать с него деньги, ясно давая понять, что с такого и требовать бесполезно). Мог ли он это простить?

— Слушай, ты...

Далее следовало сообщение: все, что он обещал мне — он достал, причем, финское, все ждет на базе, а сейчас мне надлежит привезти в ресторан «полторы тонны» — а завтра безвылазно ждать дома. Я не сомневался, что судьба этих денег будет такая же, как у предыдущих... но что его снова толкало ко мне... неужели только ощущение безнаказанности? Да нет... наверняка его скребли сомнения, — что я не уверен в абсолютной его честности, в абсолютной его верности дружбе — и это бесило его. Желание доказать свое совершенство в сочетании с привычной необходимостью воровать и составляло главную трагедию его жизни.

Но все-таки хорошая закваска в нем была, раз он еще что-то пытался доказывать. И именно мне-то и стремился доказать свою честность — всех остальных в его окружении не занимал этот вопрос, и тут вдруг — я. Может, я и был его последним шансом на спасение? Полярной звездой на фоне тьмы? Наверняка в общении со мной он тайно надеялся обогатиться духовно, а я обогатил его лишь материально, и на этом успокоился!

Конечно же, с виду он суров — на любое подозрение ответит оскорблением, на нападение — зверским ударом, на обвинение — обвинениями гораздо более тяжкими... неужто уже нет хода в его душу? Похоже — единственный крючок, которым еще можно его поднять — это крючок «верной дружбы», «дружбы, не знающей пределов»... Правда, этим крючком он тянет в основном вниз, на се-

бя — но может, еще можно его поднять этим самым крючком наверх?

Что-то, наверное, все-таки сосало его, если уже больше, чем через год он вдруг остановил у тротуара рядом со мной свой «Жигуль».

— Ну ты, зверюга, — куда пропал? — распахнув дверцу, оскалился он.

Все зубы уже золотые... молодец!

На заднем сиденье маялся мужик, одетый добротно, но без претензии.

— Клим! — пробасил он, сжимая руку.

— Из Сибири пожаловал! — усмехнулся Фил.

Значит, была у него потребность: показать, какие у него друзья? Выходит — не успокоился он: иначе зачем пужно было ему останавливаться, а не ехать мимо?

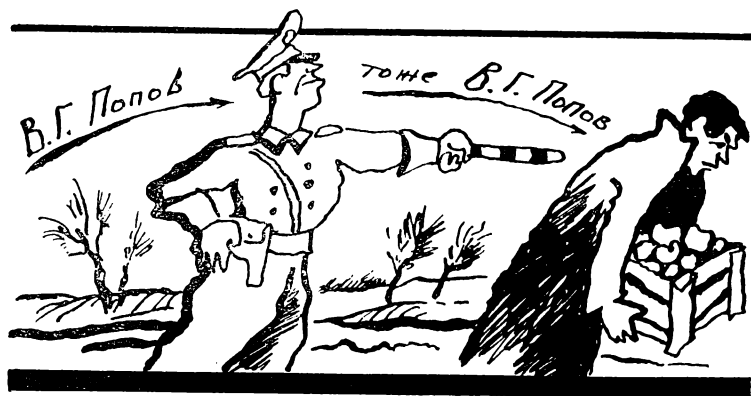
— Зарядил тут ему отель, приезжаем — болт на рыло! — прохрипел Фил.

— Да чего уж там... уеду, если так! — пробасил Клим.

— Может — ко мне? — неожиданно проговорил я.

— Валер-кин! — Фил потряс меня за плечо.

Неужели все повторится?



## Божья помощь

**Н**есчастен человек, не получающий от бога подарков! Бог все не задабривает нас, он просто скромно показывает, что он есть.

Когда мы благодаря своей злобе и нерадению падаем со стула на пол и удар по всем законам физики должен быть жестким — бог обязательно подстелит матрасик. Нужно совсем не любить себя и ничего вообще, чтобы не заметить матрасика и грохнуться мимо, на голый бетонный пол. А между тем есть немало людей, что не замечают — и не хотят замечать руки помощи, простирающейся к ним. И, пожалуй, именно по этому признаку люди и де-

лятся на счастливых и несчастных. Одни учатся понимать помощь, которая приходит к ним в отчаянные моменты непонятно откуда, другие всю эту «иррациональность» злобно отменяют и если уж грохаются, то в кровь — не по законам добра, но уж зато по законам физики!

А ведь нужно лишь не быть заряженным злобой и неверием, уметь чувствовать «веяния воздуха» — и помощь почувствуется очень скоро. Я давно уже замечаю, что нечто всегда поддерживает — почти в самом низу: обнаружится пяточок в кармане, в который ты многократно и безуспешно заглядывал, и на этот пяточок ты доедешь в то единственное место, где тебе могут помочь, — другое дело, что ты уж будь любезен подумать, куда тебе нужно на этот пяточок поехать... Если ж ты придумаешь лишь поехать в пивную, украсть бутылку и потом подраться... ну что же — сам дурак и не говори потом, что тебе никогда не было в жизни никакой поддержки!

Думаю, что при всей своей бесконечной милости бог тоже имеет самолюбие и охотнее делает подарки тем, кто их любит и ждет, а не тем, кто их использует во зло или не замечает.

С детства я как-то плохо воспринимал банальности, разговоры о неминуемых суровостях жизни, о неизбежных и жестоких законах — больше мой взгляд был направлен куда-то туда... в туманность, неопределенность... Законы я понял сразу, но ждал чего-то и сверх. И почувствовал почти сразу ветерок оттуда. И самые тяжелые периоды моей жизни — когда я под ударами реальности забывал про тот ветерок, не ждал его и поэтому не ощущал. Надо уметь выбраться из-под обломков, выйти в чистое поле, радостно открыть душу и ждать!

Пожалуй, первая поддержка, почувствованная мной... ниоткуда, была связана еще со школой. Вспомните свою жизнь — возьмем жизнь обычную, не обремененную тюрьмами, но и не богатую особыми внешними событиями... Что есть тяжелей школы? Потом ты хотя бы выбираешь место, где тебе быть, — а тут жестко сказано: будь только здесь! Сиди, и слушай, что тебе говорят, и повторяй слово в слово — как бы ты ни был с этим не согласен! И всегда чувствуй за спиной взвинченного, больного Гену Астапова, который в любой момент может опрокинуть тебе на голову чернильницу, но — сиди и не смей поворачи-

чиваться! И, держа все это в душе — каждый день, тем не менее поднимайся в предрассветную фиолетовую рань, прощайся под холодным краном с последним своим сонным теплом... Но это еще ничего, это все еще дома, среди своих, но вот выходить на ледяную улицу и на своих собственных ногах нести себя навстречу мукам, которые — можешь быть уверен — ждут тебя в классе!.. Что бывает тяжелей?! Ясно, что выход из теплого дома под всяческими предложениями затягивался до последнего возможного предела и с чувством запретной сладости — за возможный предел.

Наконец я вышел, поворачивая тяжелую дверь парадной, на холодный звонкий Саперный переулок, медленно шел к широкой Маяковской — здесь обязательно ударял порыв ветра с мокрым снегом или дождем, выбивающим слезы. Тусклый свет фонарей усиливал отчаяние... Неужели же так будет всю жизнь?!

И, опаздывая, точно опаздывая, — вышел на пять минут после предельного срока! — я не мог заставить себя идти быстро — кто же может заставить себя быстро идти навстречу мукам?

Я сворачивал на узкую, темную между высокими домами улицу Рылеева — часов у меня не было, но я знал, что опаздываю... А это значило, что к издевательствам, идущим с парт, прибавляются издевательства сверху, с учительского пьедестала. Учителя тех лет находили простую и надежную платформу для контактов со школьными бандитами: вместе с ними — как бы в воспитательных целях — издевались над слабыми. Это объединяло их сильнее всего, позволяло им найти общий язык. Объединенная экзекуция была намного страшнее раздельной, но тем не менее я не мог себя заставить ускорить шаги! Впереди во мгле начинала проступать белая гора Спасо-Преображенского собора, и вот я уже шел мимо ограды из свисающих тяжелых цепей и черных, морозных стволов пушек. Ограда вела меня по плавному полукругу. Шаги учащались, сердце начинало биться в радостном предчувствии чуда. И вот я выходил к фасаду церкви и нетерпеливо поднимал голову вверх, к белой массивной колокольне, где под нежно-зеленым куполом, летел на фоне светлых облаков белый циферблат с черными цифрами и стрелками. Всегда в это время спереди, со стороны улицы Пестеля через Литейный шел радостный ут-

ренный свет, и всегда на торжественном циферблате было начертано мое спасение — стрелки всегда показывали на пять минут меньше, чем должно быть! Я успевал! — хотя никак по реальным законам успеть не мог! Ликуя, я перебежал дорогу, вбегал в школу... и к этому моему состоянию, ясное дело, гораздо хуже липли издевательства и несчастья — так постепенно, с божьей помощью, они и отлипли! Откуда вдруг у меня при входе в класс прорезалась улыбка, загадочное веселье в лице, озадачивающее врагов?.. Ясно откуда — от того циферблата! Так я и встал на ноги благодаря ему!

И, конечно (как это ни пытались вдолбить атенсты тех лет), бог никогда не опускался до мелкого, утешительного обмана — мол, на циферблате покажу тебе, утешу, а в школе ударит по тебе настоящее, московское время! Разумеется, время и было настоящим — я успевал войти, весело сопя, вытереть ноги, не спеша раздеться в гардеробе, неторопливо подняться в утренний класс, уютно усесться, разложиться — и лишь тогда ударял звонок.

Куда как приятнее было жить, ощущая поддержку! «А мне вот не было никакой поддержки, никогда не было!» — с отчаянием скажет кто-то, и скажет правду. И я мог вполне лишиться ее тогда, начав проводить, например, злобные эксперименты, издевательски пытаюсь «выжать» из циферблата сначала десять минут, потом двадцать, полчаса... Ответ мог быть только однозначным и по-русски откровенным: «А иди-ка ты! Не будет тебе в жизни добра!»

Но надо же иметь совесть и чутье — не ссориться с богом спозаранку, не тянуть из него жилы, не издеваться, — ведь он же старичок. Кто издевается — то же получает в ответ!

Вспоминаю те годы — ведь именно тогда уже полностью складываются твои дела с окружающей тебя бесконечностью: как сложишь сам — так и пойдет, уже тогда надо все сбалансировать и понять.

Однажды, в конце уроков, уже когда за окнами темнело, за мной вдруг прислали гонца от завуча. Его все знали очень хорошо, и вызов от него, да еще экстренный, не сулил ничего доброго. Класс замер. Я медленно вышел. В коридоре я старался вспомнить свои грехи — грехи по-отношению к школе, но ничего, кроме тайных, невысказанных мыслей, припомнить не мог... В кабинете

меня ждала молчаливая и мрачная группа учителей. Настрой — такие вещи ощущаются и в детстве — был нехороший. Чувствовалось, что они долго и бесплодно сидели тут, в духоте, взаимно раздражая друг друга, бродили, как брага в бочке, с натугой соображая, как же все вокруг резко исправить (такие думы, все более тяжкие, сопровождают всю нашу историю), бубнили, бурлили, закипали — и вдруг возник случайный выплеск, случайно направленный в меня, — и все за неимением прочего стали радостно раздувать язычок.

— Так... может, ты расскажешь все сам? — сладострастно проговорил тучный, весь в черных родинках завуч.

Все от нетерпения заскрипели стульями — наверняка этот пугливый мальчишка, не участвующий во всем понятной жизни, а постоянно погруженный в какую-то отвлеченность, знает что-то еще, кроме фактов, известных им, — вдруг расколется?

— А что я сделал-то? — уныло проговорил я, с тоской понимая, что что-нибудь да найдется.

— Что ты делал сегодня до школы? — спросил завуч.

— А что я делал? Шел сюда! — с некоторым уже облегчением произнес я, достаточно четко уже понимая, что ни о каких чудесах, подобных чуду циферблата, им знать не дано, такое они давно упичтожили в себе... Так о чем же речь? Наверняка, о какой-нибудь нелепости, ерунде, клевете! Я взбодрился.

— Так ты не помнишь? — произнесла классная воспитательница. Все они взглядами пронизали меня, вольно или невольно подражая работникам того учреждения, которое поднималось на Литейном совсем неподалеку. Такой стиль общения был тогда в моде, а кто может устоять против моды? Это мало кому дано. Не устояли и они...

— ... Не можешь или не хочешь сказать? — подхватила химия. И эту практику — допрос всеми по очереди — тоже они впитали из воздуха: такой был воздух тогда. Но я был спокоен. Главной тайны им не понять, даже узнав ее, они не поймут, отвергнут, не поверят... Чего ж мне бояться? Так, пустяки, какая-нибудь чушь!

Я весело посмотрел в окно, на высокий циферблат.

— Да-да! — как бы наконец уличая, цепко ловя меня на признании, вскричал завуч. — Ты правильно смот-

ришь, правильно! Ну, расскажи, кто тебя научил этому, откуда это берешь? — ласково продолжил он.

Я понимал, что я мог порадовать их только доносом... по на кого? На бога? Да нет, это невозможно — так на кого?!

— Я давно говорила твоим родителям, — вспыхнула воспитательница — что ты парень не наш, парень чужой, оторванный от нашей жизни!.. Они не хотели понимать, подтверждений хотели — что же такого в тебе плохого... И вот — пожалуйста! Курил! На виду всей школы, перед окнами всей школы нагло курил и даже не прятался в подворотню, как это делают другие мальчики, у которых все-таки есть стыд!

Они торжествующе переглянулись — разоблачили тайного шпиона, особенно приятно, что очень тайного, скрывающего свою шпионскую сущность за хорошими отметками и тихим поведением! Открытые бандиты — это все-таки наши: да, они невыдержанны, но они всем понятны... а этот... особенно опасен... и вот — пойман за диверсией! Огромный успех!

— Курил? — Я был поражен. У меня, наверное, как и у всякого, были грехи, я даже пропустил недавно урок, ушел тихо домой, и никто вроде, не заметил, но — курил?!

— Но вы ведь знаете... я же не курю, — забормотал я. — Ведь вы же видели, наверное... знаете... я же не курю! — Я посмотрел на Илью Зосимовича, нашего математика. Время от времени он, как коршун, врывался в уборную для ребят и там, ликуя, вырывал папиросы и выкрикивал фамилии: «Федотов! Я тебя узнал, узнал! Можешь не закрываться в кабине! Надо было думать раньше!»

И другие учителя-мужчины тоже нередко врывались в уборную с внезапной облавой, да и учительницы, честно говоря, не особенно стеснялись врываться. При этом они, правда, возмущенно-демонстративно отворачивали головы от писсуаров, как бы подчеркивая, что ради истины вынуждены пойти на нарушение морали, но и это нарушение приплюсовывалось ребятам, их преступление становилось двойным. Поэтому вопреки созревающим половым чувствам все-таки мы чувствовали себя лучше, когда в уборную врывались учителя-мужчины, — моральное наказание в этом случае было как-то легче, поэтому учите-



лей-мужчин ненавидели меньше — они не заваривали такого стыда, как бесстрашные и принципиальные наши учительницы. Поэтому я и обратил свой взор в сторону Зосимыча. К тому же и вообще он был мужик неплохой. Под моим вопрошающим взглядом он сначала было потупился, но потом, согласно общему настрою, гордо поднял голову — мол, ваши уловки бесполезны!

— Но Илья Зосимыч, — заныл я, понимая, что общее мнение уже создано и его не поколебать. — Ведь вы же... бываете... у нас... видите... видели меня хоть раз?

Учительницы снова надменно выпрямились — зона обсуждения была вопиюще неприличной, и вина за это, как тогда было принято, вешалась не на них, а на меня, словно я завел этот разговор. И тем более все было оскорбительным, что я запырлся: другие быстро признавались, чувствуя, что это порок не страшный, а свойский, — многие учителя тоже курили, было как бы тайное соглашение, сочувствие... признайся — простим! А я скрывал истину, запырлся... Но что делать, если я действительно не курил?!

— Да когда ж я курил?.. Кто видел?!

— Видели, не беспокойся! — Завуч при всей своей выдержке не мог вскользь не обласкать взглядом осведомительницу. Учительница химии смущенно потупилась под поощрительным взглядом... Я понял, кто видел, и кто родил это собрание. Но что она видела?

— Что она видела?

— Ты шел... от ограды (наверное, чуть не сорвалось — «церкви»)... шел от ограды к школе... и нагло курил!

Я вспомнил солнечное морозное утро, свое состояние... Еще в такое утро — курить!

— ...Да это пар! Пар шел изо рта! — воскликнул я.

Странно — у других не увидели, а у меня увидели. Может, потому, что шел позже и попал на солнце лишь я? Или, может, вообще я был под тайным прицелом давно: преступление подозревалось — и вот — какая удача! — подтвердилось.

— ... Пар это... честное слово! — Уже почти спокойно я посмотрел на всех.

— Пар... не может так валить! — сосредоточившись, проговорила химичка.

Все удовлетворенно закивали. Все правильно! Не мо-

жет так быть, и даже думать такое вредно — чтоб один наглый ученик мог быть умней — и главное честней — педагогического коллектива.

Господи, сколько ненависти скопилось в людях — причем, что поразительно — в учителях!

— Ну... хотите... — Я посмотрел в окно, но там было уже темно. — Но хотите... завтра посмотрите... я буду переходить, а вы посмотрите!

Все вопросительно повернулись к завучу — достойно ли педагогическому коллективу участвовать в таких возмутительных, унижающих их коллективное мнение экспериментах? Да и нужны ли какие-то еще доказательства в этом абсолютно ясном деле?

— Давайте, давайте убедимся, правду он говорит или лжет, — произнес Илья Зосимович как бы осуждающе, но на самом деле, я думаю, дав ход своим сомнениям. — Мы же будем завтра утром в учительской? — Он оглядел коллег.

— Я не буду, у меня с одиннадцати! — оскорбленным тоном произнесла химичка, как бы подчеркивая свою незаменимость: мол, без нее результаты могут быть и ошибочны.

— Ну, ничего, Зоя Александровна, мы как-нибудь разберемся! — весело произнес Илья Зосимыч. Та метнула на него гневный взгляд. Я почувствовал, что вообще могу пасть жертвой в междоусобной войне среди учителей, и понял, что мне желательно ступешаваться.

— Ну все, Попов, ты можешь идти, — произнес завуч (ясно, мне нельзя было присутствовать при ссорах взрослых), — иди и не думай, что ты оправдался, — наше мнение по этому делу однозначно! Я думаю, достаточно, что мы тебя предупредили! Иди!

Со строгими лицами они проводили меня. Подразумевалось, что, конечно же, они не намерены на следующее утро торчать у окна... конечно же, нет. Они сделали предупреждение — и приличному школьнику этого хватит! Вина моя как бы была уже доказана. И в то же время я понимал, что они не пройдут завтра мимо окна и непременно, тайно или явно, будут смотреть, как я прохожу булыжную площадь от церковной ограды до школы, — и мне важно, чтобы пар шел!

Сосредоточенный, я пришел домой, сделал уроки и, как боксер перед ответственным матчем, пораньше лег

спать. Но без драм не бывает — перед самым уже сном бабушка сказала мне:

— Ой, как все болит, сердце ломит — прямо такое предчувствие, что не проснусь!

— Что же такое, бабушка, с тобой? — всполошился я.

— Да оттепель, видно, идет! — заохала бабушка. — Давление меняется — вот и болит!

Я стал уже засыпать и вдруг вскочил, как ужаленный:

— Что значит... оттепель? Это значит — воздух потеплеет... и пар не будет идти изо рта?

Тяжело, с какими-то черными провалами-обмороками я засыпал... Что же это... значит (по имени я никого не называл и даже не подразумевал, это было неназванным чувством)... значит, никому... нет никакого дела?! И пусть бабушке плохо, и я так и останусь в глазах моих торжествующих врагов преступником — пусть? Значит, ничего нет?

Проснулся я собранный, решительный, говоря себе: нет, что-то же должно быть!

Поев супу, я выскочил на улицу, прошел Саперный, замедлил шаг... Ну что? Морозец вроде бы есть — щеки пощипывает, но в темноте как-то плохо ориентируешься, вот появится солнце — все будет понятнее! Я шел быстро к решительной точке... Не могу соврать, что я не боялся, — больше того, скажу, что я все не делал полного выдоха, боясь неудачи. Мелко, часто дышал — ну этот выдох не в счет, этот — тоже не в счет, можно даже и не смотреть — ну, какой уж тут пар?! Я думал так: если мне светит удача, зачем заранее расходовать ее?

И только когда я вышел на простор, к ослепительно белой колокольне, освещенной светом через темный еще Литейный, я набрал полную грудь колкого, холодного воздуха, подержал его некоторое время в раздутой груди и выдохнул. Толстая, курчавая струя пара, просвеченная солнцем, вырвалась изо рта! Вот так вот, — ликуя, подумал я, — а ты решил — помощи нет! Вот она, помощь, — холодное утро, вопреки всем тяжелым предчувствиям!

Не скрою — я метнул взгляд вверх! Учителя бросились от стекла врассыпную... скажем так... Во всяком случае, тогда мне этого хотелось.

После этого — и, хочу думать, в связи с этим — дальнейшая жизнь моя в школе сделалась лучезарна и легка.

Возможно, я просто так стал ее воспринимать. И, может, думаю я, с этого моего радостного выдоха и начались в стране чудесные перемены?.. Шучу, шучу!

Позже, в моменты упадка, я ворчливо-скептически анализировал этот случай... Ну и что? Было ли чудо? Мало ли у кого по утрам изо рта вырывается теплый пар? Но у них — просто так, а у меня — не просто так, я помню!.. Но, может, не воздух в то утро был специально холодный, а я — горячий? Может, и это сыграло какую-то роль? Конечно, чудо состоит из девяноста девяти процентов твоего ожидания, и лишь чуть-чуть, еле заметно помощь проявляет себя... чтобы грубые люди не навалились: «Давай, давай!» А умному человеку достаточно и доверия, чтобы почувствовать: ты любим! И будет помощь, когда она действительно необходима тебе!

Но о зыбкости ее надо все время помнить! Немножко грубого нажима, немножко хамства, и все исчезнет, улитка спрячется в панцирь... Хочешь быть грубым реалистом — пожалуйста! Только не надо потом рыдать над кружкой пива: «Никто не любит меня!» Ты бы мог быть любим!

Конечно, всю эту кассету я не прокручиваю в себе каждый день или тем более каждый час. Просто: надо соответствовать свету — и свет придет. Надо быть немножко светлей, чем велят обстоятельства, — и обстоятельства посветлеют!

Однако, не скрою, с годами жить так становится трудней, все чаще в темноте теряешь свет, все чаще с тоской задумываешься: а существует ли вообще что-то?

Уже далеки те блаженные времена, когда я был первым в школе и купался во всеобщей расположенности и любви. Уже в институте я не был любимым — вернее, таких любимых было много, и не случайно так оказалось: конкурс прошли! Но то, что вокруг оказалось много похожих на тебя, здорово бодрило, казалось — уже все, пришли наши времена, кругом свои! Но исчезли — не без давления сверху — и те святые времена, когда вполне достаточно было и одного свитера на шестерых, и всем было весело! Сейчас, если просишь у знакомого поносить дубленку, то за это надо платить! Протестуя против столь отвратительной жизни, я принципиально оторвал рукава у своего пиджака, дал их на время поносить своим

друзьям, один рукав — Острову, а другой — Майофису. Но оба они — художники, называется! — через некоторое время сконфуженно вернули мне мои рукава, пробормотав, что нынче не принято ходить в одних рукавах!

Да, прохудилась наша прослойка, ее собственные мысли никому уже не нужны — ценят ее лишь тогда, когда она служит массам. Да и я перестал что-то замечать, что кто-то видит меня персонально, помогает мне... Одобрение я получаю только тогда, когда бодро сливаюсь с каким-либо общим направлением: А как же я сам? Было ли время, когда чей-то высокий взгляд был направлен лично на меня? Была ли — хотя бы в далеком прошлом — какая-то личная помощь? Что-то я начал в этом сомневаться! Все, чего я в жизни добился, — исключительно благодаря самому себе, благодаря своему резкому характеру и такому же уму! И, конечно же, нелепо надеяться на возвращение тех прежних трогательных обстоятельств, когда я извергал — зимой! — струю пара и был счастлив. Да и я уже не тот поминутно краснеющий школьник — даже если бы кто и захотел найти меня по тем, прежним признакам, то наверняка бы не нашел!.. Нет, немножко прежней застенчивости я сохранил, но исключительно уже для своих наглых целей! Но даже и на застенчивость уже сил не хватает.

Особенно отчаялся я, когда в этом году после долгих трудов вознамерился чуть-чуть отдохнуть. Мы с моим другом на машине покрутились немножко в наших местах, но нигде ничего, кроме хамства и безумных цен, мы не нашли. Поразил один только случай. Мы вошли в загородный ресторан, и друг мой, бодрый после пробега, спросил официанта:

— Ну... куда вы нас посадите?

— А никуда. Разве что на кол! — равнодушно ответил тот.

В эти дни мы поняли истину, которая раньше до нас, людей занятых, как-то не доходила: давно уже сфера, как бы призванная холить нас, существует исключительно для самой себя, и именно в ней делаются самые большие дела. Мы с другом со свойственным нам умом тут же резко попытались вклиниться в эту сферу: достали отличные швейцарские костюмы — черные, с желтыми галунами — и такие же фуражки и встали у подъезда нашего дома. Сначала мы хотели по-доброму — радостно встречали каж-

дого, хмуро топающего с работы, хлебом-солью, низкими поклонами, распахивали входную дверь. Ясное дело — в глубине души мы, конечно, рассчитывали на чаевые, но чаевых никто не давал! Даже слова доброго никто не сказал, зато было много слов, которых я не решаюсь тут привести!.. Тогда мы решили не по-хорошему: грудью встали в наших дверях и кричали, отталкивая: «Закрывается, закрыто! Сказано вам — мест нет! Идите в другие дома!» Ясное дело, в глубине души мы рассчитывали на чаевые и тут, но уже на гораздо более большие, чем в первый раз. Но кончилось все еще хуже; все вопили: «Что это еще значит — «мест нет»? В доме, где с рожденья живем, — и то уже мест нет?! Сейчас бошки вам оторвем!» И мы (наверное, единственные из этой сферы) были смяты, отброшены, наши золоченые фуражки были растоптаны... Я отнес их к знакомому фуражечнику, но тот отказался их чинить.

Мы стали лихорадочно соображать: как же нам практически без денег провести отпуск? Сплываться по реке в виде бревна, как мы это любили делать в студенческие годы? В нашем возрасте плюс с нашим положением — уже несолидно. Тогда, поняв, что при всех обычных вариантах ничего, кроме мучений, нас не ждет, я вдруг почувствовал, что мне надо — поехать в те благословенные места, откуда пошел наш род, до сих пор поражающий меня энергией и душевным здоровьем в лице, например, отца, который при встрече гоняет меня вслед за собой по бескрайним своим опытным полям и даже не чувствует усталости, когда я еле-еле уже волокусь... Да, там наверняка колоссальный какой-то заряд, если отец до сих пор так заряжен, а я, родившийся не там, практически уже разряжен. Я поехал к отцу, расспросил все подробности — отец горячо это дело одобрил, однако, сказал, что сам поехать не может: у него уборочная, но я делаю абсолютно правильно, ибо лучше тех мест и тех людей не существует на свете.

Сначала мы с другом вообще не могли достать денег на поездку, потом достали, но слишком много. Пришлось на некоторое время задержаться, чтобы истратить излишки... Когда мы с этой задачей наконец справились, друг окончательно впал в депрессию и сказал, что никуда со мной не поедет и вообще считает, что жизнь кончена, дальше ехать некуда! Я с ним все-таки не согласился,

вернее — согласился не полностью, и поехал один, хотя в машине лучше ехать вдвоем.

По дороге, уже в Москве, я решил заехать к другу-москвичу: вдруг он соблазнится?!

— Он в Сочи. Сочиняет, — почему-то с ненавистью глядя на меня, сказала его жена.

«Представляю, что он насочиняет в Сочи!» — подумал я. И поехал один.

Дорогу я опускаю — подробности излишни. Могу сказать только, что все шло складно и ладно и ко мне вновь вернулось ощущение везения, какого я не чувствовал уже давно. Может, кое-кто снова повернул ко мне свой лик? — мелькнула мысль.

Короче: чудесный теплый вечер, низкое солнце рельефно освещает сначала предгорье, потом — горы. Потом солнце гаснет, наступает тьма, однако я азартно проскакиваю мое село, доезжаю до берега моря (но другого моря, не того, на котором живет и сочиняет мой московский друг). Сейчас моря не было видно, но зрелище впечатляло: черная, как тушь, темнота, иногда оттуда с шипеньем приходила волна, вскипая на камнях. Такое было впечатление, что кто-то время от времени растягивает в темноте белую резинку и снова дает ей стянуться, исчезнуть.

Я вылез из машины,дохнул морского воздуха и уехал с берега — все-таки в пределах приличного времени надо было добраться до моей цели, не будить же людей. На дороге тьма была рассеяна тусклыми, но частыми фонарями. Наконец я увидел указатель и свернул. При свете лунного серпа огляделся. Когда-то, говорят, я здесь был, но если и вспомню что-нибудь, то, наверное, не сразу. По мере того как я приближался к месту и все определеннее ощущал его пейзаж, настроение мое падало: местность была не ахти — это были не горы, и не предгорья, и не берег моря... так, что-то ровное и незаметное. Проезжая по стране и разглядывая из окон разные дома, я иногда думаю с удивлением: как вот мог человек поставить свой дом между рельсами двух железных дорог и все последующие поколения (вон бегают маленькие дети!) не постарались отсюда сдвинуться? Почему люди спокойно живут здесь, когда есть море, берега над просторной Волгой? Такие мысли у меня возникали и по мере приближения к родному селу. Почему получилось так, что они стали жить в этой ничем не примечательной

местности — такие яркие, значительные люди — и не сдвинулись хотя бы на двадцать километров, к морю? Так и не получив ответа, я въехал на тускло освещенную центральную улицу, остановился. Полная неподвижность и тишина. Да, вот цикады тут звенят здорово, надо признать. Все-таки довольно далеко я заехал, сумел — и это на почти сломанной машине!

Отец, провожая меня, радостно и возбужденно говорил:

— Как увидишь на главной улице самый большой дом, так езжай туда и не ошибешься — то будет друг мой Платон!

Разглядев без труда именно такой, я радостно порулил туда. Ожидание какого-то чуда — в отрыве от привычных тяжелых обстоятельств — снова пришло ко мне. Вроде как можно начать жизнь сначала, хоть я и понимал логически, что чувство это странное.

Дом, белый, массивный, стоял в глубине сада, к нему вела очень аккуратная асфальтовая дорожка. По ней я шел, естественно, уже пешком, оставив машину у ограды, чуть в стороне. Можно сказать, что я летел в лунном свете. Сейчас меня встретят наконец-то люди, которые любят меня, всплеснут руками, воскликнут: «Ну, вылитый Егор!»

Егор — это мой отец, и, воскликнув так, они как бы увидят в этот момент все самое лучшее во мне, откинув наносное, — ведь самое лучшее во мне — от отца.

Я тщательно, но торопливо вытер ноги о фигурный железный скребок у крыльца (чувствуется, здесь не лишены художественной фантазии!) поднялся на бетонное крыльцо и постучал в массивную деревянную дверь.

Не дождавшись никакого ответа — хотя какой-то голос глухо доносился, — я открыл дверь, с бьющимся сердцем вошел в прихожую с большим зеркалом, потом — на голос — еще раз безрезультатно постучав, открыл дверь и увидел большую комнату, тускло освещенную телевизором, и трех людей, молча сидевших в «гарнитурных» креслах (разговаривал телевизор). Все в комнате было «как у людей» — толстый ковер, «горка», стенка, огромный цветной телевизор. Сидели — худая чернявая молодуха, длинный парень, видимо, ее муж, и сухонькая старушка. Я молча постоял. Никто не восклицал «Вылитый Егор!» и даже не оборачивался.



— Здравсьте! — наконец выговорил я.

— Здравсьте! — абсолютно безжизненно ответили они, даже не повернувшись ко мне.

Правда, старушка мельком проговорила: «Присаживайтесь!» — и я присел.

Некоторое время я молча вместе со всеми слушал все о тех же неразрешимых проблемах — я прекрасно мог слушать это и дома!

— Скажите... а Платон Самсонович далеко? — спросил я.

— Скоро будет... Вы насчет пчел? — не оборачиваясь, проговорила молодайка.

Я обиделся: неужели я похож на человека, который пришел насчет пчел? Я же за тысячу километров приехал... Неужели не видно?

— Пчелы кончились у него! — с сочувствием промолвила старушка, видно, супруга его, видно, самая добродушная здесь.

— Ничего, я подожду.

Я решил не объясняться пока, не тратить эмоциональные заряды, их и было-то не так много — поберечь до Платона.

После долгого неподвижного сидения (и диктор в телевизоре, кажется, задремал) вдруг послышалось шелестение шин, рябой свет фар прошел по темной комнате, потом хлопнула дверь машины.

— Приехал! — обрадованно проговорила старушка и вышла. — Сидите, сейчас. — Движением ладошки она оставила меня в кресле.

Некоторое время не происходило ничего, потом старушка вошла, улыбаясь, и сказала мне:

— Пыльный, с пасеки-то... умывается... — и снова вышла.

Прошло еще довольно долгое время. Старушка опять вошла и, ничего не объясняя, села к телевизору. Раз пять или шесть я вопросительно посмотрел на нее, наконец она заметила мой взгляд и произнесла радостно:

— Ужинает!

— Как «ужинает»? — Я был потрясен. А как же я? Все-таки я проехал немаленькое расстояние сюда! — Понимаете. — Я решил внести ясность, резко поднялся. — Я из Ленинграда...

— Да уж он понял, — опережая мое движение к две-

ри и как бы укорачивая меня, проговорила старушка. — Говорит: только глянул на тебя, сразу увидал: вылитый Егор!

И все? Я понял, что на этом как бы поставлена точка: ну, да, вылитый Егор... ну и что? Может, если бы появился сам Егор, еще бы что-то и было, а так — всего лишь «вылитый»... Потом, посидев некоторое время без движения, я по своей привычке постарался прийти к гуманному разъяснению: может, он, наоборот, от стеснения не появляется — пыльный после пасеки, усталый... стесняется просто появиться перед сыном любимого своего друга, ждет утра?

Но версию о стеснительности пришлось отбросить — почти тут же хозяйка вышла, снова вошла и произнесла решительно:

— Платон сказал, чтобы ты машину свою куда отогнал. Он еле в ворота въехал, говорит!

«Да-а-а, — подумал я, — версия насчет стеснительности недолго прожила!»

— А... куда отогнать? — поинтересовался я.

— Да куда-нибудь! — видимо, заражаясь холодностью от своего мужа Платона, проговорила старушка, и в ответе ее явно звучало: «Да хоть к себе домой!» Правда через некоторое время она же вошла с грудой белья, стала стелить на диване (молодые встали и, так ни слова не сказав, ушли). — Платон спрашивает: проездом? — вскользь поинтересовалась она.

Да, круто тут обращаются... «проездом»?! Но что делать — сдержанность губит чувства, я сам-то, честно, не продемонстрировал тут особых чувств — так что все, увы, нормально!

Но неужели я так и не увижу его и ко мне будут лишь доноситься его команды, как к бедной Настеньке со стороны чудовища в сказке «Аленький цветочек»?

Правда, уже перед самым сном мне — как Настеньке — был подан ужин: кусок пирога и рюмка мутной жидкости... Надо так понимать, что это был привет от Платона, — невидимое чудище начинает понемножку окружать меня своими дарами...

Самое интересное, что именно «Аленький цветочек» мне и приснился — правда, в какой-то дикой интерпретации... Но — просыпаться в незнакомом помещении, когда не вспомнить, где ты оказался и зачем... вот ужас! Тьма

была полная — видимо, ощущение склепа, помещения, из которого уже не выйти, охватывает в таких случаях всегда... Тьма, кругом преграды... Если я еще на поверхности, то где же окно... Нет... и тут нет. Ах, вот оно... ф-фу! Тускло лиловеет... Но дверь... Где же выход отсюда? Выйти обязательно надо — не только по физиологическим причинам, но и по другим, более важным: надо же разобраться, где я, — от ужасов сна я понемножку отходил, но куда отходил?! О, какая-то дверь под моей рукой поехала, закрипела... и я, пройдя через нее, оказался в еще большей тьме. Искательно оглядывался назад, но и там уже ничего не светило, значит — только вперед! Физиология торопила. Вот еще какая-то дверь... Со скрипом потянул на себя... полная тьма! Что открыты глаза, что нет — никакой разницы! Стал щупать руками... и на что-то наткнулся. Чье-то плечо... толстая, неподвижная рука... Я рванул вбок, нащупал стену, стал шарить по ней. Под рукой что-то нажалось, щелкнуло... Яркий свет залил помещение. Я зажмурился, потом открыл немного свои очи... О, да у них тут настоящий холл — зеркала, настенные переливающиеся бра, светлые заграничные обои! Теперь я наконец-то вспомнил, куда приехал... Вот тебе и село! А то, куда я пытался только что войти и где нащупал чьи-то плечи и руки, был полированный платяной шкаф, пальто и шубы. Хорош бы я был, если бы хозяева, включив свет, увидели бы меня, роющимся в шкафу. Хорош, подумали бы они, гусь! — вот тебе и «вылитый Егор»! Рядом была еще одна дверь, но эта уж явно вела на воздух, оттуда тянуло холодом... Но что ж — на воздух все же надежнее, там можно не особенно мучиться, а то тут, пока шарить по стенам, можешь не стерпеть. За этой дверью была вторая, совсем уже наружная, между этими дверями висела грязная рабочая одежда, стояли измазанные глиной сапоги... Как тут все четко у них, мелькнула отрывистая мысль, — я распахнул последнюю дверь и вышел на невысокое, боковое, неглавное крыльцо. Прямо перед ним стояли скособоченные, частично облетевшие, частично почерневшие от мороза астры, а дальше — покрытые толстым инеем, чуть ли не снегом, соблазнительные лопухи. Но оказалось, что на улице уже светло, все видно и прямо вдоль длинного нашего палисадника идут какие-то женщины в ватниках и платках, с вилами на плечах, с любопытством

поглядывают на меня... Отменяется! Я быстро обогнул угол дома — где-то должен же быть у них сортир?! Вот главное крыльцо типа террасы, со стеклами. А вон в дальнем углу, среди других дощатых строений, великолепная будочка, скворечник! Я домчался туда, рванул дверцу... проклятье! Закрыто изнутри! И идея лопухов тоже уже не годится, потому что там явно кто-то засел и через щелку наблюдает! Я с безразличным видом стал прогуливаться... Шел длинный дощатый сарай, и оттуда неслись аппетитное похрюкивание, и козье меканье, и низкое коровье мычание... Чувствовалось, что человек в будке засел основательный, капитальный...

Таинственная тьма, так волнующая меня вчера, полностью теперь рассеялась, и в тусклом фиолетовом свете утра открылся огромный плоский участок с высохшими тыквенными плетями, дальше — ряды парников в земле, с прорванной пленкой, тоже покрытой серебряной изморозью, — «утренник» был крепкий!

И тут наконец визгнул на гвозде запор и из темноты будки вышел хозяин. Плотный, основательный, но маленький, в каком-то темном рубище, в меховой безрукавке, в галошах на серые шерстяные носки. Главной примечательностью его облика была огромная голова — «котел», я бы сказал, и почти без шеи! А в лице его выделялся нос, формой и размером напоминающий кабачок, но слегка подмороженный, рыжеватый, с крупными оспинами. Глазки были примерно как у налима — маленькие, черненькие, веселенькие, прямо по бокам носа.

— Ну, привет тебе, привет! — Он протянул ко мне миниатюрные руки (сразу две!). — Ну, я вчера Варваре сказал — вылитый Егор!

«Чего же ты мне-то этого вчера не сказал?» — подумал я, но усмешку сдержал.

— Чего — я слышал — плохо заводится у тебя? — Он кивнул на мою машину в конце ограды, всю покрытую небывало крупными каплями росы.

«А что, пора уже завестись?» — хотел съязвить я, но сдержался, тем более, что заводилось вчера, когда я отгонял машину от ворот, действительно очень хреново. Озабоченность вытеснила всякую иронию.

— Ты ж, наверное, искупаться хочешь поехать? — вдруг радушно проговорил он.

«Странно, — я не сдержал удивления, — почему это он

думает, что в такой заморозок я хочу именно искупаться?» Куражится, надо думать, — ведь отец радостно предупредил меня, что его друг Платон, мастер ядовитых проделок, — с абсолютно тупым и добродушным лицом! Видимо, то и происходило!

— Да вот чего-то зажигание барахлит, — солидно сказал я, — сначала бы надо разобраться.

— А-а-а, ну смотри, — равнодушно произнес он и побрел куда-то в сторону. Видимо, единственный интерес я представлял для него как предмет утонченных его розыгрышей. — А то, хочешь, на своей тебя довезу? — Азарт в нем, видимо, побеждал все прочие чувства.

Я понял, что сейчас единственный способ продолжить общение с ним (а значит, и со всеми остальными) — это участвовать в том, что он предлагает, а для выигрыша делать вид, что делаешь это с колоссальным энтузиазмом!

— Да искупаться неплохо бы вообще! — весело воскликнул я. — Сейчас, только шмотки возьму! — я заскочил сперва все же в будку, потом в дом — за плавками и полотенцем.

«Ну что ж, раз так — пускай!» — тоже с азартом подумал я.

Утро, действительно, было отличное, капли начинали светиться желтым в лучах, идущих между туч, пахло дымком и полынью. Я вошел под навес, где стоял его серый драндулет типа «Нива», сел вперед и активно заговорил, не давая этому интригану особенно развернуться:

— Я, наверное, перебудил всех у вас — темно было, а я выход искал!

— Кого ж ты разбудил? — насмешливо проговорил он. — Жена еще с ночи к сестре ушла — у той корова рождает. Дочь уж три часа как на ферме, а зять — вон он сидит!

Через стекло я увидел фигуру, словно прилипшую к толстому осветительному столбу за оградой. До столба провода были туго натянуты, дальше свисали, от действии зятя слегка покачиваясь.

— Трехфазку тянет к нашему амбару. — Платон кивнул на могучее бетонное строение без окон. — Циркульную пилу хотим сделать. Он главный энергетик колхоза у нас.

— Ну что ж, дело хорошее! — откликнулся я.

Мы поехали. Изредка Платон медленно кланялся встречным через стекло, некоторых пропускал.

Меланхолично он начал рассказывать, что с этого года, как ушел с работы, все стало валиться из рук, ни к чему серьезному не лежит душа, а все дела со скотиной и участком (грандиозным, я бы сказал) он презрительно называл «баловством».

«Сразу же дурить тебя начнет — моментально! — с восторгом предварял нашу встречу отец. — И то плохо у него, и это никуда, а на самом деле все у него кипит. Любит приbedняться — и тебя будет дурить!»

Так и было.

Мы как-то без дороги, прямо и непосредственно, выехали в серую ровную степь. Платон словно и не смотрел на дорогу, плакался, какие у него ленивые дочка и зять (ничего себе ленивые — с шести утра на столбе!). Потом, уже, ближе к морю, начался небольшой склон, изрезанный оврагами и речками, — приходилось делать петли, объезжать, поемногу спускаясь вниз. Да, довольно-таки заковыристая получилась шутка — отвезти меня искупаться: дорога головомная, а ведь примерно где-то тут я проезжал вчера в темноте!

Теплело, крупные капли на листьях наливались желтым. Потом все пространство вокруг нас, от края до края, сделалось красным — весной так широко цветут в степи маки, но это были не маки, это были помидоры, маленькие, остренькие, яркие, — я внимательно разглядывал их гирлянды у самой дороги, порой вылезавшие почти на дорогу.

— Красиво! — не удержавшись, воскликнул я.

— А, все гниль! — махнув короткой ручкой, проговорил Платон.

— Как гниль? — удивился я. — Все это?!

— А что ж ты хочешь? — усмехнулся Платон. — Второй уже такой «утренник» за три дня! А помидоры — нежный продукт! Там в них такие капилляры, — он растопырил пальцы, — с водой, ну и когда вода в лед переходит, лед, сам понимаешь, шире воды, и капилляры эти рвет. Тут же все загнивает. Теперь, — он оглядел бескрайние поля, — разве свиньям на корм, и то если руки дойдут!

— Как же, столько погибло?! Что же смотрели-то?

— Да почему смотрели? Работали. Убрали, сколько

могли, план выполнили, да и все, кому не лень, себе набирали, а все равно вон сколько осталось!

— Да у нас... из-за такой одной помидорины шикарной... любой с ума сойдет! — воскликнул я.

Платон молча пожал плечом. Мы спустились к воде, остановились на пляже. Море было еще какое-то непрснувшееся, абсолютно ровное и серое. Я быстро искупался, вытерся. Потом мы сидели в машине, молча глядели на неподвижное море, на светлый и тоже вроде бы неподвижный кораблик на самой кромке.

Я вспомнил: отец говорил, что колхоз этот довольно лихой и, кроме скота, овощей, имеет рыболовный флот, который ловит всюду, чуть ли не у Новой Зеландии, и Платон занимался как раз этим, был на сейнере то ли механиком, то ли тралмейстером, точно отец не помнил, но главное — повидал свет. На эту тему я попытался деликатно его разговорить — не молчать же тупо, сидя в машине, и потом так же тупо молчать, когда отец станет расспрашивать что и как.

— Как, вспоминаете море-то теперь? — спросил я.

— Да, мерзшыцца порой! — неохотно проговорил он. — Да и то: бывало выйдешь ночью на мостик, от берега тыщи миль, а вокруг светло, от горизонта до горизонта лампы сияют, что твой Невский проспект!

— А что же это? — изумился я.

— Так тралят же! — довольно равнодушно пояснил он.

— А-а-а!

— Знаешь, сколько в ту пору я весил?

— Мало? — догадался я, имея в виду тяготы морской жизни.

Он кинул на меня презрительный взгляд — видимо, любимым занятием его было показывать людскую глупость и свой ум.

— Мало? — скептически переспросил он. — Сто сорок кило!

— Почему же так много? — пробормотал я.

— Так не двигался почти, — пояснил он, — с вахты в каюту, с каюты — на вахту, да и все!

Такие неожиданные сведения о рыбацкой жизни поразили меня, но именно этого и добивался мой собеседник.

— Да! Так со мною в каюте почти полгода командированный с Ленинграда жил! Инжэнэр, — солидно проговорил Платон. — Соображал помаленьку, как локацией

рыбу искать... Да, ишкэнэр... С Ленинграда, да... — Платон немножко застопорился. — Мы ж с ним друзья сделались в конце! — Платон несколько оживился. — Ты зайди к нему в Питере, я адрес тебе дам! Он тебе все, что хочешь, сделает!

Опять он что-то крутит, хитрит, подумал я. Почему это какой-то инженер в Ленинграде, с которым он плавал когда-то давно, должен мне делать все, а вот этот, друг моего отца, находящийся в непосредственной близости, не хочет мне сделать ничего, даже не покормит завтраком, а держит за чем-то на берегу пустого и неуютного моря?

— Тянет... в море-то? — пытаюсь развивать беседу в лирическом направлении, спросил я.

— Та нет! — усмехнулся Платон. — Я на море люблю больше с берега смотреть!

На этом мы закончили с ним задушевную нашу беседу. Он завелся, и мы порулили обратно.

Теперь мы, видимо, для разнообразия ехали немножко другим путем. Остановились над обрывом, над узкой стремительной речушкой. Тот берег уходил вдаль все более высокими холмами.

— Сколько уже потопано тут! — вздохнул Платон. — Помню еще, как вот на этом самом холме монастырь стоял, монахи на лодках плавали. Потом, сам понимаешь, закрыли монастырь, но все сначала там оставалось как есть. Помню, наша ячейка ставила спектакль антирелигиозный, и нам с Егором, твоим отцом, поручили из монастыря того иконы для декорации привезти. Переплыли на лодке туда, вошли... Темнота, таинственность, святые со всех стен смотрят на нас. Быстро схватили со стены две самых больших иконы — в полный рост — и быстро выскочили с ними на свет, на воздух! К лодке спустились, обратно поплыли... Тут совсем уже солнце, жара! Сбросили те иконы с лодки в воду и стали купаться с ними, как с досками! Заберешься на иконы, встанешь — и в воду прыгаешь! — Платон вздохнул. — Вот и допрыгались! — мрачно закончил он.

Дальше мы молчали и молча доехали обратно. Вообще-то Платон, судя по количеству парников за домом, по размаху массивного амбара, был не так уж беден, но жаловаться, прибедняться, причислять себя якобы к последним дуракам — это постоянный его стиль, об этом



меня предупреждал отец. Сейчас он был бы рад, что характер его друга абсолютно не изменился.

Машина, въезжая во двор, проехала по нескольким клокам сена, разнесенным из-под навеса сеновала завихрениями ветра, и Платон, поставив машину, сразу же стал собирать сено вилами обратно, на огромную колючую гору, потом, перекрутив отполированную палку в руках, стал плотно пристукивать клочки к общей массе обратной, выгнутой стороной вил. Я от нечего делать принялся ему помогать. Где-то там, в городах, я что-то значил, мог важно и веско говорить, и это что-то значило, но здесь все это не значило ничего. Здесь я снова превратился в мальчика, в сына старого друга, и соответственно себя вел — и более ничего. Уже почти все забыв, здесь я вдруг вспомнил себя в детстве — робким, вечно краснеющим мальчишкой.

За оградой тянулось широкое поле с раскоряченными сухими плетями, среди них тяжелые, как ядра, темнели мокрые тыквы.

— И тыквы все померзли — не могли убрать! — махнул туда рукою Платон. — Хоть я своего зятя с этой лентяйкой заставил свои тыквы убрать! — Он кивнул на амбар.

Раздался треск, легкий шум выхлопов. Платон распахнул ворота, и на бескрайний его двор въехал коричневый трактор — «шассик» — с небольшим железным кузовом перед стеклянной кабинкой. Платон постелил широкую рогожу, и тракторист вывалил из кузова гору зелено-серого перемешанного комбикорма. Все это, конечно, включая трактор, было колхозное, но Платон обращался со всем этим абсолютно уверенно. Он нанизывал корм на вилы и раскладывал в корыта-кормушки — радостно замычавшей корове, серо-розовым хрякам в соседнем отсеке, а за следующей перегородкой уже выскакивали и стучали в доски копытцами черные пуховые козы.

В свином деревянном корыте я успел увидеть присохшие ко дну скукоженные чехольчики помидоров — и тут он успел! Интересно — до заморозка или после?

Потом я смотрел на слоистые загривки торопливо жующих хряков и думал: в нашей жизни во всех хитросплетениях все равно не разберешься! И самое верное — самое примитивное рассуждение: человек, выкармливающий скотину, хотя бы даже для прикорма себя, наверное,

прав, а те, кто как-то ограничивают его, тоже, может, правы, но уже меньше! И я так чувствую, что помогать-то, наверное, надо ему, а не другим — которые абсолютно спокойно оставляют поля помидоров, превращая их в гниль!

Тракторист уселся на приступку кабины, закурил и чего-то ждал, стеснительно — и в то же время явно — поглядывая на меня. Платон, недовольный заминкой, замедлил движение вил и остановил на нем тяжелый взгляд.

— Гала просила передать, — как бы оправдывая свое присутствие, проговорил тракторист, — шо к обеду она не придет — у нас Вятка рожает!

Платон мрачно кивнул и продолжил работу. Видимо, посчитал, что это сообщение как-то объясняет небольшую задержку тракториста. Стало быть, понял я, эти комбикорма — привет от Галы, дочки Платона, посланный с фермы... Вроде бы это нехорошо, но ведь больше взять-то неоткуда, да и сколько его на любой ферме валяется под ногами, под тракторами!

Тракторист вдруг преодолел свою нерешительность, встал с подножки — маленький, румяный — и слегка приседающей походкой направился ко мне. Платон хмуро посмотрел на него, потом махнул рукой, заранее, видно, зная, что собирается сказать тракторист, и оценивая это как ненужную пустяковину.

Тракторист подошел ко мне вплотную и выбросил пядерню. Мы взялись за руки, пожали, но тракторист не выпускал мои пальцы. Глаза его загадочно блестели. Он выдержал длинную паузу и наконец эффектно произнес:

— Попов Леонид Георгиевич!

В смысле произведенного впечатления он не просчитался.

— Как? Попов? И Георгиевич? — изумился я. — Так я же Валерий Георгиевич Попов!

Тракторист довольно улыбнулся и, ни слова больше не говоря (видимо, он сделал все, что хотел), еще раз тряхнул мне руку, сел в стеклянную свою кабину и урулил.

Единственный, на кого я мог выплеснуть свои эмоции, был Платон, хотя, судя по меланхолическому его выражению, особого сопереживания я от него не ждал.

— Попов!.. И — Георгиевич! — все же воскликнул радостно я.

— Да много тут всяких! — пренебрежительно произнес Платон (я подумал, что он имеет в виду нерадивого тракториста). — Што ж удивительного — родное ведь село.

Действительно... родное! — Я с умилением посмотрел вокруг, но ничего умилительного больше не заметил.

— Ты, чем филологией заниматься, — уже по-свойски предложил Платон, — лучше бы съездил в поле, памадор привез! Вон старые ящики у ограды валяются — загрузил бы!

— Мерзлых, что ли?

— Так сойдет... для скота... Через три дня вовсе сгниет.

Конечно, по абстрактным законам он не прав: помидоры не его... Но по здравому смыслу... А есть ли что-нибудь важнее его?

— Да чего-то машина моя барахлит! — проговорил я.

— А чего там у тебя с ней? — Тут он проявил интерес.

Мы подошли к моей машине (крыша и бока уже высохли), открыли и сели. Я повернул ключ зажигания, стартер крутился, завывал, но мотор не подхватывал. Мы подняли крышку, проверили бензин в карбюраторе, искру на свечах — искры не было... Почистили свечи, снова повторили — стартер крутился, мотор молчал!

— Ну, ясно все — электронное зажигание полетело у тебя! И зачем это только ставят его, за Западом гоняться?.. Это в наших-то условиях!

Платон вынес свой суровый приговор. Как будто сам он ездит на волах! У самого стоит «Нива»!

— А транзистор, что сторел, у нас тут за сто километров не сыщешь... Ну ладно уж, поспрошаю ради тебя! — подытожил Платон.

«Все ясно! Теперь он сможет держать меня в рабстве, сколько захочет!» — подумал я.

— Так, может, на моей съездишь? Ящики вон лежат! — как на самую важную деталь, он снова указал на сваленные ящики.

— Да смогу ли я... на вашей-то? — пробормотал я.

Платон вдруг не стал меня уговаривать, а отвлекся, вылез, пошел к воротам — к ним как раз подъезжала

мрачная закрытая машина. Она въехала во двор, и из нее вышли трое молчаливых, на чем-то сосредоточенных крепких ребят в черных комбинезонах. В руках они держали какие-то уздечки. Из отсека, где жили хряки, донеслись отчаянные, душераздирающие визги. Да, это пришел их последний день на земле, но откуда они-то заранее знали, что это выгладит именно так, если считать, что они живут на свете только первую свою жизнь?!

Один из приехавших отмахнул калитку, вошел к хрякам, загнал самого крупного в угол, затянул на нем уздечку и поволок — на скользком деревянном полу остались четыре колеи. Он добуксировал хряка до машины и кинул его в кузов. Второй стремительно проделал то же самое. Третий, самый молодой из них, замешкался. По отсеку с душераздирающим визгом металась два оставшихся борова.

— Какого... этого... или того? — спрашивал парень у Платона, сам, видимо, не в силах скрутить ни этого ни того.

Платон молча выхватил у него уздечку, напялил на одного из оставшихся, что был покрупнее, и стремительно отволол его в машину. Оставшийся боров визжал за четверых. Машина, покачиваясь, выехала.

Сцена эта длилась, наверное, несколько секунд, но произвела впечатление очень тяжелое. Даже железный Платон присел на секунду на крыльцо, и папироска в его пальцах дрожала.

Конечно, можно романтично мечтать, чтоб свиньи были живы и люди сыты, можно в ослепительно белом фраке кушать свинину на серебряном блюде, полностью отстранившись от того, как она здесь оказалась... Но честно ли это?

Я посмотрел на оставшегося хряка (который вдруг резко прервал свой визг, шлепнулся на пол и лежал неподвижно, словно разбитый параличом), потом повернулся к Платону.

— Ну ладно, съезжу... Где у вас ключ?

Платон снял с гвоздя на террасе ключ и молча протянул мне.

Я стал кидать в заднюю часть салона ящики.

— Доедешь, где мы спускались, — прокашливаясь, произнес он. — Там увидишь вдали будку, свернешь

туда... Там Николай. Думаю, договоритесь. На всякий бязкий — стеклянный пропуск возьми!

— Стеклянный? — не сразу сообразил я, потом, сообразив, пошел в дом, вынул из сумки бутылку.

Я спускался петлями вниз... Еду на чужой машине, за чужим кормом, для чужого хряка!.. Да, истончилась моя собственная жизнь!.. Но в данной ситуации, надо понимать — это самое полезное, что я могу сделать.

И вот я снова увидел с двух сторон бескрайнее помидорное поле, точнее — это были уже не помидоры!.. А что? Вдали, над крутым морским обрывом, я увидел и домик-будку. Но как проехать туда? Шла лишь узкая, гораздо уже машины, тропка... Что было делать? Я свернул туда, поехал... Замерзшие помидоры звонко лопались под шинами, впечатление было ужасное... словно едешь по цыплятам... Я старался ехать медленней, буд-то это что-то меняло.

Я подъехал к будке, заглянул внутрь. Там было темно, затхло. Никого не было. Приглядевшись, с удивлением увидел, что с дальнего конца поля быстро плывет над помидорными кустами белый, перевернутый кверху ножками стол. Потом разглядел под ним хрупкую фигурку. Она, слегка хромя, приблизилась... Худой, как мальчик, старичок с седой щетиной снял с головы стол, поставил. Отдышавшись, вдруг протянул руку:

— Поцелуев... Николай Петрович!.. Платона Самсоныча племянник?

Видно, слухи тут распространялись довольно быстро, хотя и не совсем точно.

— Да... сын... его друга.

Старичок умильно кивнул.

— А я на тот край поля ходил! Был там у нас... небольшой брифинг! — он довольно утер губы.

— Понятно, — проговорил я. — Вот Платон Самсонович, — я кивнул на пустые ящики, — просил передать...

Обращаться к сторожу с более конкретными требованиями все-таки было неловко.

— Ясно! — сказал он. Мы выкинули пустые ящики и загрузили до края заднего стекла салона полные, с помидорами. — Мерзлые! — пояснил он. — А так — нельзя!.. Нет, конечно, для начальства можно!.. Эти черные «Волги», как грачи, слетаются каждое лето — и доверху их загрузи. А об оплате, ясное дело, и речи нету! Глядишь,

иной раз — жир с него каплями каплет... Думаешь: ну дай ты червонец, не позорься!.. Никогда!.. А так-то — нельзя! нельзя!

Мы возмущенно с ним выпили водки.

— А что работает по-настоящему один Платон да дочь его Галя, великая труженица, с десятью старухами — это им неважно! Вот запретить — это они любят! — Старичок Поделуев раздухарился. Мы выпили еще. Провожая, он горячо жал мне руку, словно главному проводнику прогресса.

Зигзагами я выехал на дорогу. Я возмущенно ехал вдоль бескрайнего погубленного поля... Действительно — все нельзя, можно только самое ужасное: чтобы все вокруг погибало! И вполне логичным, хоть и противным завершением этой картины стал милицейский «газик», круто обогнавший меня, с неторопливо высунувшейся форменной рукой, помахивающей жезлом по направлению к обочине. Я злобно остановился. «Газик» некоторое время стоял безжизненно, потом из него показалась нога в сапоге, потом все тело — маленький румяный милиционер крайне медленно, совершенно не глядя в мою сторону, двинулся ко мне. Меняются города, климатические зоны, но одинаковость поведения одинаковых людей поразительна — климат почему-то совершенно не влияет на это! Эта милицейская медленная походка постоянна везде — именно от этой медленности, по их мнению, клиент должен заранее цепенеть и холодеть! Один только раз в жизни милиционер подошел к моей машине нормальной, быстрой человеческой походкой, и то, как выяснилось, он попросил меня довезти его до дома. Фараон (в данном случае это величественное слово полностью подходило к нему) наконец приблизился и сел рядом со мной, не произнеся ни звука. «Газик» перед нами медленно тронулся... Надо полагать, мне надлежало теперь следовать вслед за «газиком»... Новый хозяин моей жизни даже не счел нужным открыть рта!

Мы долго ехали лениво и как бы сонно. Вслед за «газиком» я въехал во дворик милиции. Хозяин мой вылез, потоптался, зевнул, потом тускло посмотрел на меня.

— Выгружай! — отрывисто скомандовал он.

Я посмотрел на него... Кого-то он мне колоссально напоминал!.. Но, как я смутно чувствовал, на ситуацию это не повлияет. Сгибаясь, словно я был уже каторжник, я

стал выгружать ящики из машины и складывать их штабелем.

Полосатой палкой — видимо, любимым своим на свете предметом — он пересчитал ящики сверху вниз.

— Ну что ж! — довольно усмехнулся он. — Мало тебе не будет!

— Так ведь мерзлые же! — вскричал я.

— А это уже никого не колышет! — ухмыльнулся он.

Я похолодел. В лице его я не видел ничего, кроме упоения властью и еще — любви к тем благам, которые с нею связаны. Я не обнаружил в его лице ничего, за что бы я мог зацепиться, что бы могло меня спасти. Все будет так, как он захочет, а хочет он так.

Мой ужас усилился еще более, когда он молча повернулся и пошел в здание — видимо, считал даже излишним приказывать: его мысли должны читаться и так! Человек явно был в упоении, а тому, кто находится в упоении, трудно и даже невозможно что-нибудь возразить.

Мы вошли в полутемное помещение и сели — он за стол, я на жесткую табуретку. Я почувствовал, что в эти вот секунды жизнь моя переходит в другое состояние. Беда, которая смутно предчувствовалась всегда, стала грозно проясняться.

Я лихорадочно вспоминал, какие впечатления у людей, знакомых и незнакомых, о жизни за колючей проволокой больше всего угнетали меня. Пожалуй что — это не нужда, не холод, не тяготы, хотя переносить их будет мучительно. Главное, что отвращало меня, — дух, победное торжество глупости, тупых устоев! Один мой знакомый, вернувшийся оттуда совершенно беззубым и сломленным, говорил мне, что именно эта торжествующая глупость есть самое невыносимое. Он рассказывал, например, что человек, оказавшийся в койке с весьма опытной девицей, которой, к его удивлению, не оказалось еще и семнадцати, — человек этот был всеми презираем, преследуем, избиваем: как же — он нарушил принятую мораль! Другой же, шофер такси, увидев на улице свою жену с каким-то мужчиной, въехал на тротуар, расплющил их и еще изувечил немало ни в чем не повинных людей... Этот в тех местах считался, наоборот, героем — так именно, по их законам, и следует вершить жизнь! Вот что самое жуткое там, и вот что мне уж точно будет не выдержать!

— Паспорт! — Милиционер скучающе протянул руку.

Страшные галлюцинации, что снятся и мерещатся всем нам, просто и буднично превращались в реальность. Неужели уже никогда больше я не смогу идти в ту сторону, в какую захочу, и столько времени, сколько захочу?

В теперешней жизни как-то все перепутано, неясно, где черное, где белое, иногда делаешь вопреки и чувствуешь, что делаешь верно, а иногда, вроде, и правильно, а тошнит... Как тут разберешься, где верх, где низ, где зло — и откуда ждать помощи. Неоткуда, похоже, ее ждать!

Я вспомнил вдруг давнее школьное утро, когда меня обвинили в курении и я должен был на следующее утро доказать, что это шел пар, а не дым. Я ведь был пионер, атеист — и в то же время как азартно я ждал, как верил, что какая-то помощь должна прийти! Как горячо я этим дышал — и выдыхал, кстати, горячую струю... Способен ли я на такое теперь?

Дежурный вдруг оцепенел с ручкой на весу. Я тоже застыл... я вдруг почувствовал... происходит!

Он вскинул на меня глаза... Ну что, что? — торопил его я. Но он молчал. Потом вдруг снял жесткую фуражку, перерезавшую лоб красной вмятиной, вытер пот... Потом перевернул протокол ко мне, чтобы я смог его прочитать. Чудо росло на моих глазах, легко отменяя привычное: задержавший дает посмотреть протокол задержанному, как бы советуется!

Я начал читать — и чуть не подпрыгнул:

«Одиннадцатого сентября сего года я, патрульный вязовского отдела милиции Попов Валерий Георгиевич, задержал Попова Валерия Георгиевича...»

Мы захохотали. Да, чудо было немудреным, но зачем мудреные-то чудеса в таком месте?

— Да-а... фокус! — Он тоже растрогался. Потом скомкал протокол. Потом расправил, положил в стол. — Ребятам эту хохму покажу — обхохочутся!

Не удержавшись, я подошел и чмокнул его — все же не часто бывает такое! В моей жизни в первый и, наверное, в последний раз.

— Но-но! — испуганно отстраняясь, рывкнул он.

Действительно... «при исполнении»! Пока чудо не растаяло, надо «таять» самому.

— Спасибо! — уже на пороге сказал я... Но — кому?!

Потом, покидая эти места — увы, на поезде, а не на



машине, и слегка уже приустав, я размышлял о происшедшем: а было ли что-то? Что же необыкновенного в том, что в этих местах, где бродили еще наши гены, встретился мой «буквальный» близнец?.. Да — по в какой момент!

Потом, уже ночью в вагоне, я думал: какой все-таки ехидный старикашка — этот всевышний! Зачем ему нужно было показывать свой светлый лик именно в кутузке, неужто не мог уж подобрать более симпатичной ситуации?

... Да нет, уже под утро понял я, все правильно! Чудеса не бывают неточными — и это точное. Я бы сам морщился от пошлости и ненатуральности, если бы, скажем, умильные пейзажи встречали меня на границе области сочными дарами. Я бы узлом завязался от стыда! А так, все правильно — получил помощь в несколько пронической, издевательской форме — в духе моего теперешнего характера! Не целлулоидного же мишку класть в изголовье моей постели?

А так, ясно, — он меня видит, причем именно меня, а не кого-то вообще!

... Но до этих благостных размышлений в поезде произошло немало мытарств.

Транзистор для моего электронного зажигания Платон, конечно же, не достал (да и мог ли и, главное, пытался ли достать?). Большой вопрос! И вообще все оставшееся время он был со мной крайне суров, даже не поблагодарил за гнилые помидоры, которые я добыл с таким трудом. Ну и правильно, наверное... А что бы я хотел? Чтобы он носил меня в сортир на руках? Я бы и сам не согласился!

Зато он охотно отбуксировал на своей «Ниве» мою колымагу до железнодорожной станции — это я, думаю, важнее сладких слов и слезливых объятий.

В товарном тупике по наклонным рельсам мы вкатили мой драндулет на открытую платформу. Распорядителем почему-то был заяка, от которого невозможно было даже добиться: точно ли в Ленинград пойдет эта платформа?

— В Л-ленинград, а к-куда же еще? — несколько неуверенно говорил он.

Как будто бы мало у нас городов!

Безуспешными были и мои попытки хоть как-то прикрыть машину каким-то брезентом — такие речи всеми

встречались просто с изумлением: что значит это слово — «брезент»?

— А они нарочно так сделали, щоб нихде ничего не було! — усмехнулся Платон. После чего, крепко пожав мне руку, он убыл.

Осталось ли у меня о нем плохое впечатление? Да я бы не сказал. Все-таки какой-то блеск разума в общем море хаоса его украшал.

Полоса безумия и бесчеловечности началась позже. Когда должна была поехать моя машина (на платформе), никто не знал. Да и двинется ли она отсюда вообще? Какая-то квитанция, размером с трамвайный билет, которую мне выдали вместо машины и уплаченных денег, беспокоила меня. Выдадут ли мне по ней машину? Не очень что-то похоже!

Билет для себя я достал лишь на послезавтра... Не возвращаться же на это время к Платону? Придется ночевать на вокзале. Но оказалось, что и эта фраза, как бы проникнутая унылым пессимизмом, на самом деле полна необыкновенной бодрости... Ночевать на вокзале? Ишь, чего захотел! Вечером, когда я пытался задремать на скамейке, я вдруг увидел, что под напором женщины в горделивой железнодорожной форме целые ряды пассажиров снимаются и уходят из зала. Может, наивно подумал я, она заботливо провожает их на поезд? Но такого уже не будет в нашей жизни никогда! Чем ближе она подходила, тем ясней по ее лицу я понимал, что она просто гонит людей!

— Но почему же? — воскликнул я, когда она «срезала» наш ряд.

— Позвольте не вступать с вами в полемику, — проговорила она. — Это вокзал! Учреждение, а не ночлежный дом! У себя же в учреждении вы не остаетесь ночевать?

Одна не особенно крупная женщина выгнала в ночь, на холод, несколько сот человек!

Новый, элегантный, стеклянный и, главное, абсолютно пустой и чистый вокзал сверкал перед нами, как хрустальная люстра. С дорожной свалки, из зарослей полыни мы смотрели на это сияние, как волки на костер, — и почти что выли. От холода, от комаров и, главное, от отчаяния! Неужели же теперь всегда будет только так?!

Часов в семь утра, потеряв все человеческое, мы, отталкивая друг друга, ломались в милостиво открытые

двери. Главное было — захватить кресло, «не заметив» или оттолкнув устремившуюся на это же место старушку. Когда наконец все, кто сумел, расселись по сиденьям и попытались погрузиться в сладкую дремоту, из кабинета вышла та же неумолимая женщина и начала, методично обходя ряды, поочередно встряхивать задремавших:

— Просыпайтесь! Спать на вокзале не полагается! Сидите, пожалуйста, прямо!

Я не отрываясь смотрел на нее: может, я все же заснул и это ужасный сон? Да нет... уж больно это похоже на нынешнюю реальность! Ну, а где же хотя бы дуновение разума, доброты? Неужели это исчезло навсегда и всевышний навсегда прекратил свою деятельность? Видно, так!

Все же, не выдержав, я вскочил (безнадежно, конечно, потеряв свое место!) и пошел куда-то по длинным служебным коридорам... Вот дверь с табличкой «Начальник вокзала». Может, он поймет или хотя бы что-то почувствует?!

— Ну подумайте сами, вы же интеллигентный человек, — что будет, если оставлять почевать? Тут же будут жить неделями!

— А выгонять в ночь на холод?!

— Таковы инструкции.

— Зачем все они? По-моему, достаточно лишь одной инструкции — не быть сволочью и идиотом!

... Это я лишь подумал, глядя в его оловянные глаза, но, конечно же, не сказал!

— А не скажете, как ваша фамилия? — вместо этого проговорил я.

— Она написана на дверях кабинета, — холодно (вопрос был характерен для неинтеллигентного посетителя!) произнес он и склонился над бумагами, в которых, видимо, было сказано, как окончательно довести все дело до ручки.

Я вышел и стал таращиться на дверь — никакой фамилии там не было! Было лишь написано «Начальник вокзала» — и все, больше ни буквы! Кто из нас сумасшедший — я или он?! Или это был способ избавиться от меня? Какое это имеет значение?.. Авдеев? Пучков? Какое это имеет значение?

Я брел по бесконечным служебным коридорам — вон, оказывается, сколько их тут?! И вдруг за полуоткрытой

казенной дверью я увидел рай, блаженство, мечту: в синеватом дрожащем свете дневных ламп там всюду были сложены матрасы — белые, с ржавыми потеками и синими полосами, они лежали кучами, поднимаясь до потолка, словно специальное ложе для изнеженной принцессы на горошине. Войти бы, взобраться на них, смежить веки и погрузиться в теплое блаженство... Нет?.. Ну разумеется — нет! Плотная женщина в синем халате увидела голодный мой взгляд и не поленилась пройти через всю комнату и хлопнуть дверью перед моим носом!

Все! — понял я. Это конец! Эти люди победили Е го и не просто указали на недопустимость, но и тщательно выкурили из мельчайших щелей всякий дух разума и добра!

Я снова брел мимо двери начальника. Безумная идея — зайти?.. Вдруг... опять он окажется однофамильцем?! Ну и что? Да и снова надеяться на это — уже наглость, о таком и мечтать-то некрасиво!

Я вышел в зал... Мое место, как, впрочем, и все остальные, было занято. Единственное, к чему можно было как-то прислониться, — это слегка отъехавший на подвижной консоли шершавый пожарный шланг, свернутый спиралью... Я направился к этой консоли, хотя, наверное, и это святыня, к которой простым смертным приближаться нельзя? Я все же приблизился — хотя бы мысленно подержаться...

Рядом с консолью на стене была присобачена маленькая табличка с ржаво-красной схемой пользования шлангом в случае чего, а под ней была надпись: «Ответственный за пожарную безопасность — начальник вокзала Каюкин Х. Ф.»

Вот, собственно, и все. Но и этого было достаточно. Я почувал, что всевышний, который не в силах уже ничего сделать против грубой, бессмысленной силы, захватившей мир, тихо стоит рядом со мной и усмехается.

... Я вдруг ясно представил себе свой последний час. Не дай бог знать этот год и месяц — нет ничего страшней этого знания... Но — час? Думаю, что в нынешней нашей жизни и он не принесет нам ничего необычного!

... Я вынырываю из океана боли — хоть за что-то, как за ветку над пропастью, зацепиться!.. Вот — за дребезжание тележки со шприцами, которую пожилая неуклюжая сестра ввозит в палату. Я слезу за ее долгими, но бес-

полезными приготовлениями и вдруг с надеждой — наверное, с последней надеждой! — выговариваю:

— Скажите... а как ваша фамилия?

Она с недоумением смотрит на меня: и этот — еще жаловаться?

— Пантелеюшкина... А что? — произносит она.

И я улыбаюсь.

## Содержание

Вместо предисловия . . . . .	5
------------------------------	---

### Сон, похожий на жизнь

Ошибка, которая нас погубит . . . . .	11
Наконец-то! . . . . .	15
Третьи будут первыми . . . . .	35
В городе Ю. . . . .	45
Жизнь удалась . . . . .	67

### По-нашему, по-водолазному

Первая хирургия . . . . .	195
Рыбья кровь . . . . .	210
Две поездки в Москву . . . . .	227
Боря-боец . . . . .	244
Любовь тигра . . . . .	265
Божья помощь . . . . .	290

*Валерий Георгиевич  
Попов*

*Праздник  
ахинеи*

**АЛЬБОМ  
«XX ВЕК»**

*Малая серия*

**Выпуск 2**

Редактор Д. Н. Каралис  
Технический редактор Л. Ю. Коровенко  
Корректор Л. В. Смирнова  
Художественный редактор Ю. Э. Яцкевич  
Ответственный за выпуск Д. Н. Каралис

Сдано в набор 20.12.90. Подписано в печать 4.04.91. Формат 84×108 1/32.  
Бумага офсетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л.  
17,22. Усл. кр.-отт. 17,22. Уч.-изд. л. 20,7. Тираж 40 000 экз. Заказ 1052/5.  
Цена 4 р. 50 к.

Издательство «Юридическая литература». 121069, Москва, Г-69, ул. Качалова, д. 14

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

**В 1991 г. издательство «Периодика» выпустит детективный роман в новом жанре:**

**Михаил Веллер, «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЙОРА ЗВЯГИНА».**

Увлекательность изложения и лихость сюжета не исчерпывают достоинств этой книги. Наука побеждать в жизни, возможность достижения любой цели, доказываемая как дважды два, — вот что составляет ее основу и главную привлекательность.

Центральный герой, отставной майор-десантник, а ныне врач «скорой помощи» Леонид Звягин — не столько даже супермен (хотя безусловно же супермен!), сколько добросовестный профессионал во всем, за что он берется. А берется он, по кипучей неумности натуры, за все: возмездие преступнику и излечение безнадежного, завоевание любви и обретение свободы, — и любые жизненные проблемы оказываются разрешимыми.

Будь умен и настойчив — и успех неизбежно придет!

**Михаил Веллер. «Приключения майора Звягина».**  
Издательство «Периодика», Таллинн, 1991 г.,  
368 стр. Тир. 100 тыс. экз.

Рассчитано на самый широкий круг читателей.

### **КНИГИ М. ВЕЛЛЕРА:**

«Хочу быть дворником», 1983 г.

«Кони на один перегон», 1984 г.

«Разбиватель сердец», 1988 г.

«Технология рассказа», 1989 г.

«Рандеву со знаменитостью», 1990 г.

«Что такое не везет и как с ним бороться», 1990 г.

«Хочу в Париж», 1991 г.



**Издательство «TERRA FANTASTICA»  
регионального хозрасчетного предприя-  
тия «КОМТЕХ» предлагает услуги по  
подготовке оригинал-макетов книг и жур-  
налов. Набор, верстка, корректура, фото-  
полимерные формы.**

**Быстро! Качественно! Надежно!**

*Ленинград, 196140, А/Я 22.*

*Тел. 567—17—73*

# «АЛЬБОМ» „XX ВЕК“»

*Малая серия*



Валерий Попов

Известный ленинградский прозаик Валерий Попов (род. в 1939 г.) принадлежит к «ленинградской школе», давшей литературе яркие имена: И. Бродского, С. Довлатова, А. Битова, Г. Горбовского, А. Житинского, А. Кушнера. . . И — Валерия Попова. В. Попов — автор десяти книг: пяти взрослых и пяти детских. Широко известны авторские сборники: «Южнее, чем прежде», «Нормальный ход», «Жизнь удалась», «Две поездки в Москву», «Новая Шехерезада». У книг В. Попова особая, счастливая судьба — ими «угощают» друзей и своих возлюбленных, спасают людей, впавших в отчаяние. Они заставляют нас удивляться фантазии автора, смеяться и грустить. «Праздник ахинеи» — последняя наиболее яркая книга популярного прозаика.